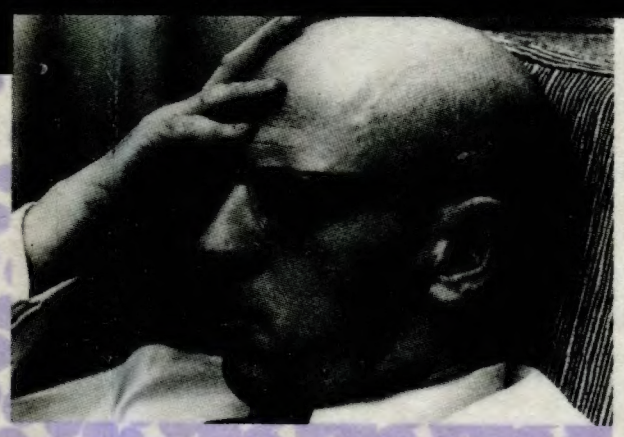
VISIT…

МИШЕЛЬ ФУКО

«НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ ОБЩЕСТВО»



МИШЕЛЬ ФУКО

«НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ ОБЩЕСТВО»

«НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ ОБЩЕСТВО»

MICHEL FOUCAULT

«IL FAUT DÉFENDRE LA SOCIÉTÉ»

Cours au
Collège de France
(1975-1976)

GALLIMARD

МИШЕЛЬ ФУКО

«НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ ОБЩЕСТВО»

Курс лекций,
прочитанных
в Коллеж де Франс
в 1975–1976 учебном году

Перевод с французского Е. А. Самарской

Санкт-Петербург
«Наука»
2005

УДК 316.6
ББК 88.52
Ф 94

Фуко М. Нужно защищать общество: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975—1976 учебном году. — СПб.: Наука, 2005. — 312 с.

ISBN 5-02-026848-8

Книга — публикация лекций Мишеля Фуко — знакомит читателя с интересными размышлениями ученого о природе власти в обществе. Фуко рассматривает соотношение власти и войны, анализируя формирование в Англии и Франции XVII—XVIII вв. особого типа историко-политического дискурса, согласно которому рождению государства предшествует реальная (а не идеальная, как у Гоббса) война. Автор резко противопоставляет историко-политический и философско-юридический дискурсы. Уже в аннотируемой книге он выражает сомнение в том, что характерное для войны бинарное отношение может служить матрицей власти, так как власть имеет многообразный характер, пронизывая все отношения в обществе.

Научное издание

Мишель Фуко

НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ ОБЩЕСТВО

Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975—1976 учебном году

Редактор издательства *Л. И. Сметанкина*
Художник *П. Палей*
Технический редактор *И. М. Кашеварова*

Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г.
Сдано в набор 12.07.05. Подписано к печати 7.11.05. Формат 60×84 $^{1}/_{16}$.
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 18.3.
Уч.-изд. л. 17. Тираж 2000 экз. Тип. зак. № 4327. С 223

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1
E-mail: main@nauka.nw.ru
Internet: www.nauka.nw.ru

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ISBN 5-02-026848-8
9 785020 268487

ТП 2003-II-№ 52
ISBN 5-02-026848-8 («Наука»)
ISBN 2-02-023169-7 («Gallimard», «Seuil»)

© Seuil/Gallimard, Fiévrier 1997
© Издательство «Наука», 2005
© Е. А. Самарская, перевод на русский язык, статья, 2005
© П. Палей, оформление, 2005

Генеалогия против истории

Настоящее издание содержит лекции Мишеля Фуко, прочитанные им в Коллеж де Франс в 1975—1976 годах. Хотя, скорее, не прочитанных, а проговоренных, поскольку Фуко на своих лекциях не придерживался написанных им текстов, а отдавался свободному течению своих мыслей. Так что читатель видит перед собой сейчас не текст Фуко, а его слово, распечатку, сделанную с магнитофонной записи его лекций, хотя и сверенному французскими издателями с рукописными вариантами лекций Фуко.

Курс «Нужно защищать общество» целиком посвящен вопросам власти, Фуко здесь выступает не столько как исследователь дискурсивных формаций, сколько как аналитик власти, ее форм, механизмов, техник и, конечно, дискурсов. Конкретно Фуко в данном курсе исследует дискурс «войны рас», то, как он появился впервые в новой истории в Англии XVII века, получил иные трактовку и социальное содержание во Франции XVIII века и какие изменения претерпел в течение XIX—XX веков, когда превратился в «государственный расизм».

Публикуемые лекции принадлежат к «генеалогическому» периоду в творчестве Фуко, поэтому, может быть, стоит предварительно уяснить некоторые принципы генеалогии, с помощью которых он исследует в данном курсе историческую динамику «власти — знания», власти и знания, на которое она опирается или с помощью которого некий коллективный субъект стремится овладеть властью.

Собственно, генеалогия (термин взят Фуко, по-видимому, у Ницше) в употреблении Фуко означает разрушение привычной

для нас концепции истории гегелевско-марксистского типа. Последняя предполагала необходимость выделения в истории определенных непрерывных линий развития, каковые могли быть заполнены разным содержанием: то ли это эволюция государства и истины (Гегель), то ли справедливости и свободы (Прудон), то ли развитие экономики, приводящее в конечном счете к социалистическому устройству общества. Заветное слово таких концепций истории — становление, генеалогия же Фуко направлена на исследование судьбы определенного дискурса и его носителей, оказавшихся на обочине общественной жизни (как французское дворянство XVIII века) и стремящихся снова оказаться у власти. Генеалогия исходит из представления о дискретности истории, о наличии в ней моментов разрыва связей, прерывности исторических линий. Поэтому для Фуко и в этот период сохраняет свое значение тезис, высказанный им в более ранней работе «Археология знания». «Некогда археология, — пишет Фуко, — дисциплина, изучавшая немые памятники, смутные следы, объекты вне ряда и вещи, затерянные в прошлом, тяготела к истории, обретая свой смысл в обосновании исторического дискурса; ныне же, напротив, история все более склоняется к археологии, к своего рода интроспективному описанию памятника».[1] Фуко тогда считал, что при исследовании истории мысли нужно разрушать длинные цепи, свидетельствующие якобы о прогрессе сознания, эти телеологии разума, разыскивая вместо этого «краткие очередности», каждая из которых обладает своим типом истории, не сводимым к модели развивающегося знания. Он не изменил своего мнения и в семидесятые годы, хотя цель его исследований стала несколько другой: он исследует не дискурсивные закономерности, а подвижность дискурсов в истории.

В связи со сказанным может возникнуть вопрос, откуда у Фуко, да и у многих других французских интеллектуалов, особенно левой ориентации, такая страсть к прерывному, в данном случае к разрывам в истории? Рискнем сделать предположение, что это связано, хотя может быть отчасти, с их разочарованием в марксизме и социализме, последний еще во времена Сартра представлялся им «другим» по отношению к капита-

---

[1] *Фуко М.* Археология знания. Киев, 1996. С. 11.

листической действительности. Но постепенно под влиянием ряда факторов (разоблачение преступлений сталинизма, сознание угроз, исходящих от тоталитарного советского государства, несоответствия между идеализированными представлениями о социализме и социалистической реальностью в странах Восточной Европы) социализм потерял привлекательность в глазах западных интеллектуалов, он перестал быть «другим», к которому они стремились, он стал скорее «тем же самым». Тут может быть сыграли свою роль теории «единого индустриального общества», разрабатывавшиеся в свое время У. Ростоу или Р. Ароном. И Фуко в предложенном вниманию читателей тексте тоже, хотя и подчеркивает одиозность фашистского и сталинского режимов, считает, что в их основе лежит ряд властных механизмов и институтов, воспринятых ими у капиталистических стран Запада. Поэтому западные интеллектуалы начали поиски теперь уже подлинно других ценностей, другого мира, совершенно другого по сравнению с обществом, в котором они жили. Интересно, как в этой связи Фуко оценивает диалектику. Маркс и Энгельс видели в ней беспощадное оружие, с помощью которого мог быть вынесен приговор существующему, обоснована неизбежность его гибели в результате борьбы его внутренних противоречий. С точки зрения Фуко, диалектика, напротив, выполняет функцию «усмирения» противоположностей, ибо диалектические противоположности не только борются друг с другом, но и в определенной степени оказываются едиными и должны быть таковыми, чтобы сохранилась непрерывная цепь исторического развития. Поэтому именно за пределами этой цепи, за пределами диалектической связи Фуко ищет подлинно иное, оно находится не только за их пределами, но и формируется только путем разрыва с ними.

Итак, первая особенность генеалогического подхода к истории — разрыв с представлением о непрерывности ее развития. Вторая заключается в отказе от универсалистских притязаний разума. Можно выделить два главных направления, по которым Фуко ведет критику разума. Одно из них представлено критикой эпохи Просвещения. Такую критику издавна вели и представители правых, и марксисты, хотя и с разных точек зрения. Критика Фуко имеет с ними частичное сходство,

но в целом она глубоко оригинальна. Просвещение он рассматривает как эпоху наложения дисциплины на знания, как эпоху, в которую происходила сортировка знаний, при этом одни из них были дисквалифицированы и отброшены за пределы наук, а другие подверглись классификации, иерархизации и были включены строго определенным образом в формировавшуюся тогда систему наук. Интерес Фуко сосредоточен на отброшенных, дисквалифицированных знаниях, которые либо в силу своего локального характера, либо недостаточной научности были исключены из системы наук.

Но разум вызывает критику со стороны Фуко еще по одной и весьма серьезной причине. А именно постольку, поскольку разум, точнее «философско-юридический разум», использовался для обоснования государственной власти (имеются в виду теории общественного договора, суверенитета и т. п.) и служил ей опорой при выполнении властных полномочий. Центральная государственная власть вообще выступает как олицетворение разума и подобно ему осуществляет подчинение локального универсальному, гетерогенного гомогенному, уничтожая то, что не поддается гомогенизации. М. Фуко всегда выступает защитником локального, и потому стремится выйти за пределы государственного разума к тому локальному, которое подвергается универсализации со стороны власти.

Двигаясь в этом направлении, Фуко делает два важных открытия, значимость которых для политической философии трудно переоценить. Он открывает две новых формы общественной власти: дисциплинарную власть и биовласть. Первая составляет как бы фундамент здания власти, верхние этажи которого занимает центральная государственная власть. Здесь государственное насилие в отношении граждан имеет скрытую форму, оно запрятано под оболочкой закона, права, зато ниже уровня центральной власти в обществе царит сила, действующая не от имени закона, а при опоре на правила внутреннего распорядка, характерные для таких институтов, как тюрьма, школа, армия, клиника. Такова дисциплинарная (или дисциплинирующая) власть, которая уравнивает индивидов, разделяет их, регистрирует и контролирует. Биовласть действует на другом уровне, она берет под свой контроль все население и обеспечивает ему социальную безопасность, при этом она опирается на по-

нятие «нормы». Итак, оборотной стороной государственного разума, закона и права оказывается сила, действующая посредством дисциплинарных принуждений и приведения к норме.

Может создаться впечатление, что Фуко довольно близок к Марксу как в своей критике договорных теорий возникновения государства, так и в трактовке государства как узаконенной формы насилия. Однако и в вопросе о государстве многое отделяет Фуко от Маркса: во-первых, согласно Марксу, область политического находится в зависимости от сферы экономических отношений, так что государственная власть оказывается выразительницей интересов экономически господствующего класса; во-вторых, Маркса интересовал прежде всего конфликт двух главных противоборствующих сил общества — буржуазии и пролетариата. И если буржуазия уже обладала властью, то пролетариат только стремился к ней. Таким образом, обоим классам были присущи государственные амбиции и стремление к универсализации общества, к его гомогенизации. Фуко же, как уже сказано выше, не приемлет универсалистских притязаний, проявляются ли они со стороны буржуазии или пролетариата или с какой-либо другой стороны.

Тут мы оказываемся перед третьей особенностью генеалогии Фуко, она вырастает из особой его трактовки понятия субъекта. В своем выступлении в феврале 1969 года во Французском философском обществе Фуко говорил о том, что не автор создает текст, а скорее текст формирует автора как свою функцию. Эти слова до сих пор вызывают у многих чувство протеста, мы привыкли думать, что автор раскрывается в тексте, что дискурсы составляют творение автора (шире, субъекта), а не наоборот, как заставляет нас думать Фуко. Можно вспомнить в этой связи и то, как в работе «Воля к знанию» Фуко нападает на распространенную в современных обществах процедуру «признания». В ее основе лежит предположение, что есть некий субъект со своей внутренней жизнью, эмоциями, мыслями и их-то и нужно обнаружить, а это необходимо в силу разных причин. Этого требует церковная исповедь, судебная власть добивается признания от преступников, наподобие их и литератор стремится проникнуть внутрь собственной души, чтобы почерпнуть в ней материал для своих произведений. Однако мнение о том, что Фуко отрицает «автора», «субъекта»,

ошибочно. Мысль Фуко иная, он выступает против субъекта как метафизической данности и доказывает, что субъект представляет собой сложное образование, он формируется потоком дискурсов, среди которых мы живем, а также, что особенно четко выражено в лекциях «Нужно защищать общество», его конституируют политическая или институциональная власть и его собственное сопротивление им.

Прослеживая историческую судьбу уже упоминавшегося дискурса «войны рас», Фуко выделяет социальные группы, которые использовали его в борьбе за власть. Он прямо говорит о том, что на основе дискурса «войны рас» складываются коллективные субъекты (в данном случае «расы»), которые одновременно оказываются и объектом нового исторического рассказа. В Англии представители третьего сословия, во Франции обедневшая аристократия в своем сопротивлении королевской власти открывали новые пласты истории, создавали историю своей «расы», тогда как раньше к истории обращалась только суверенная власть, доказывавшая с помощью исторических аргументов свое величие и свою непрерывность.

Не ограничиваясь идеей дуализма сталкивающихся в обществе в борьбе за власть сил, которая содержалась, например, в «Истории государства Франция», обработанной Буленвилье, Фуко переходит к доказательству того, что главная борьба в обществе разворачивается между властью и испытывающими ее воздействие группами населения и отдельными индивидами.

Здесь необходимо отметить, что Фуко настаивает особенно на реляционистском характере власти: где есть власть, есть и сопротивление ей. А поскольку власть в современных условиях (и если учесть такие ее формы, как дисциплинарная власть и биовласть) пронизывает все общество, распространяет свой контроль на каждого индивида и население в целом, то все и каждый в отдельности ей сопротивляются и противодействуют. Таким образом, общество оказывается местом действия многочисленных разнонаправленных воль. Но реляционизм власти означает не только это. Он также означает, что власть не локализуется в каком-то определенном месте, она всегда возникает там, где есть властное действие и противодействие ему, причем, каждый индивид является и носителем власти,

и тем, кто ее испытывает и сопротивляется ей. Властные отношения (и это еще одно открытие Фуко) формируются снизу, они рождаются во взаимоотношениях индивидов и групп, в рамках институтов и в каждой ячейке общества. Сторонники общественного самоуправления много лет настаивают на том, что власть должна формироваться снизу. Фуко констатирует, что именно так и обстоит дело в современных обществах: власть и ее механизмы формируются внизу, а затем они перенимаются глобальными, действующими в масштабе всего общества механизмами власти. Итак, согласно Фуко, власть имеет дисперсный характер, она рассеяна во всем обществе и представлена массой разнонаправленных воль, из которых каждая имеет свою стратегию, направленную на достижение победы. Такое понимание характера властных отношений со стороны Фуко, согласно которому сама динамика властных отношений формирует и власть, и сопротивляющихся ей субъектов, убеждает, что он вовсе не был сторонником смерти «автора», «субъекта», «человека». И он сам указал причину подобных заблуждений, когда признал, что он в своих ранних работах делал сильный акцент на роли власти в формировании индивидов, изучал техники власти и механизмы, которые она при этом использует. И тут же он выражает сожаление, что мало уделял внимания тем техникам, которые индивид применял к самому себе, тому, как он, участвуя во властных отношениях, преодолевает самого себя. Такие высказывания Фуко должны бы снять еще существующие предубеждения насчет негативизма Фуко в отношении понятия субъекта. Сторонникам подобных предубеждений стоит задуматься о словах Ж. Бодрийяра, который назвал Фуко «последним динозавром классической эры». Он при этом имел в виду оптимистическую веру Фуко в то, что каждый индивид способен ставить перед собой цели и добиваться их реализации. И кстати сказать, представление Фуко о власти как сети активных взаимоотношений разнонаправленных воль кажется выражением личности самого Фуко, его активной политической позиции. Может быть, поэтому он не замечает, что основная масса граждан в современных обществах политически пассивна и полностью подчиняется правилам, выработанным институтами, нормам социальной защиты, трудовой дисциплины и рекламным указаниям в потреблении.

В заключение хотелось бы сказать, что из всех упоминавшихся выше принципов генеалогического подхода Фуко к истории определяющая роль принадлежит принципу прерывности. Прерывность обнаруживается в исторической вертикали (разрывы основных магистралей истории), она обнаруживается и на социальной горизонтали (прерывность универсализма власти, точечность, дисперсность властных отношений), и в критике со стороны Фуко метафизического понимания субъекта, предполагающего его сущностную целостность (индивид, с точки зрения Фуко, существует в процессе постоянного самопреодоления и выстраивания себя с помощью определенных техник). Итак, сам принцип прерывности, многократно преобразуясь, в зависимости от сферы своего применения, ведет Фуко к созданию динамичного образа общества, пронизанного властными отношениями представляющего множество разнонаправленных воль, каждая из которых вооружена собственной стратегией борьбы за власть. Конечно, можно задаться вопросами о том, насколько аутентично такое представление об обществе и каков может быть результат точечных сопротивлений? Не появились ли представления о точечном характере общественной борьбы просто в результате исчезновения или количественного уменьшения такого крупного революционного субъекта, каким был на Западе с середины XIX века пролетариат? Не формируются ли в современных условиях новые силы сопротивления в лице определенных наций, рас, цивилизаций? Ответы на эти вопросы придется давать уже не Фуко, а, при опоре на его достижения в области теории власти, тем, кто является свидетелем новейших исторических процессов.

Е.А. Самарская

Вместо предисловия

Этой книгой открывается издание лекций Мишеля Фуко, прочитанных им в Коллеж де Франс.

Мишель Фуко преподавал в Коллеж де Франс с января 1971 г. и до своей смерти в июне 1984 г., исключение составляет 1977 г., когда он воспользовался годичным отпуском. Название его кафедры — «История систем мысли».

Она была создана 30 ноября 1969 г. по предложению Жюля Вюйемена по решению общего собрания профессоров Коллеж де Франс взамен кафедры «История философской мысли», которой до своей смерти руководил Жан Ипполит. То же общее собрание 12 апреля 1970 г. избрало Мишеля Фуко руководителем новой кафедры.[1] Ему тогда было 43 года.

Мишель Фуко прочитал вступительную лекцию 2 декабря 1970 г.[2]

Преподавание в Коллеж де Франс подчинялось особым правилам. Профессора были обязаны отводить на преподавательскую работу 26 часов в год (максимум половина времени могла быть употреблена на проведение семинаров[3]). Каждый

---

[1] М. Фуко закончил брошюру с обоснованием своей кандидатуры на должность руководителя кафедры словами: «Нужно предпринять анализ истории систем мысли» (см.: *Foucault M.* Titres et travaux // Dits et Écrits, 1954—1988 / Ed. par D. Defert et F. Ewald, collab. J. Lagrande. Paris: Gallimard, 1994. Vol. I. P. 846).

[2] Она была опубликована в издательстве «Галлимар» в марте 1971 г. под названием «Порядок дискурса».

[3] Что и делал Мишель Фуко до начала 1980-х годов.

год они должны были представлять результаты оригинального исследования, что вынуждало их постоянно обновлять содержание своего курса. Посещение лекций и семинаров было абсолютно свободным; оно не требовало ни записи, ни диплома. И профессор не мог никого из слушателей не допускать на них.[4] В Коллеж де Франс говорили, что профессора имеют не студентов, а слушателей.

Мишель Фуко проводил свои занятия по средам с начала января до конца марта. Потребовались две аудитории, чтобы вместить многочисленных слушателей, состоявших из студентов, преподавателей, соискателей, любопытных, в том числе многих иностранцев. Мишель Фуко часто жаловался на дистанцию между собой и своей «публикой», на недостаточное понимание, что затрудняло преподавание.[5] Он мечтал о семинаре, на котором была бы возможна настоящая коллективная работа. С этой целью он пробовал разные способы преподавания. В последние годы он оставлял много времени для ответов на вопросы слушателей.

Вот как журналист из «Нувель обсерватер» Жерар Петижан описал в 1975 г. общую атмосферу занятий: «Когда Фуко быстро, как перед прыжком в воду, входит в переполненную аудиторию, пробирается к своему стулу, отодвигает стоящие на столе магнитофоны, чтобы положить свои бумаги, снимает куртку, включает лампу и, не теряя времени, начинает лекцию. Голос у него сильный, энергичный, он разносится микрофонами и это единственная уступка модернизму в зале, едва освещенном светом, идущим из мраморных ниш. Было триста мест и пятьсот сгрудившихся человек, занимающих любые свободные места [...]. Никаких ораторских эффектов. Все ясно и очень действенно. Никакой импровизации. У Фуко есть двенадцать часов, чтобы публично представить результаты своих исследований за истекший год. Поэтому он максимально сжимает

---

[4] Это правило действует только в Коллеж де Франс.

[5] В 1976 г. в тщетной надежде уменьшить число слушателей Мишель Фуко изменил часы своих занятий, проходивших обычно во второй половине дня в 17 часов 45 минут, перенеся их на 9 часов утра. См. в этом томе начало его первой лекции от 7 января 1976 г.

материал и "заполняет поля", как делают корреспонденты, когда они уже использовали отведенное им в газете место, а много еще нужно сказать. 19 часов 15 минут. Фуко заканчивает. Студенты устремляются к его столу. Не для того чтобы ему что-то сказать, а чтобы выключить магнитофоны. Никаких вопросов. В толпе Фуко оказывается одинок». Сам Фуко так прокомментировал ситуацию: «Слушатели должны бы уметь дискутировать на темы, которые я предложил. Иногда, когда лекция не особенно удалась, достаточно было бы немногого, вопроса, чтобы все стало на место. Но такой вопрос никогда не был задан. Во Франции влияние группы выражается в том, что становится невозможна какая-либо реальная дискуссия. А так как нет обратной связи, лекции становятся похожи на театральное представление. Мое положение в восприятии сидящих здесь людей подобно положению актера или акробата. И когда я перестаю говорить, я ощущаю полное одиночество...».[6]

Свое преподавание Мишель Фуко строил в стиле исследования: он как бы проводил анализ для будущей книги, намечал области проблематизации, все выглядело скорее как приглашение, обращенное к потенциальным исследователям. Поэтому его лекции в Коллеж де Франс не повторяли опубликованных книг. Они не были и их наброском, даже если темы книг и курсов лекций совпадали. У них был собственный статус. Они содержали особый дискурс по сравнению с другими «философскими актами» Фуко. В них он преимущественно рассматривал вопросы генеалогии отношений между знанием и властью; именно эта тема — в отличие от доминировавшей у него ранее темы археологии дискурсивных формаций — будет с начала 1970-х годов определять его исследовательскую работу.[7]

Его лекции были отмечены печатью актуальности. Приходивший к нему слушатель был очарован не только рассказом,

---

[6] *Petitjean G.* Les Grands Prêtres de l'université française // Le Nouvel Observateur, 7 avril 1975.

[7] См. особенно в этой связи: *Foucault M.* Nietzsche, la généalogie, l'histoire // Dits et Écrits. Vol. II. P. 137.

который развивался от одной лекции к другой; он был очарован не только строгостью изложения; он находил в них также точку зрения на современность. Искусство Мишеля Фуко состояло в том, чтобы очертить современность с помощью истории. Он мог говорить о Ницше или об Аристотеле, о психиатрической экспертизе в XIX веке или о христианском пастырстве, однако слушатель всегда мог извлечь из этого определенный взгляд на настоящее и на современные события. Особенность лекций Мишеля Фуко состояла в необычном переплетении научной эрудиции, личной увлеченности и анализа современности.

* * *

Семидесятые годы были годами развития и совершенствования кассетных магнитофонов, стол Мишеля Фуко был ими завален. Поэтому сохранились лекции и некоторые семинары.

Настоящее издание представляет собой прежде всего распечатку записанной на магнитофон речи Мишеля Фуко, публично им произнесенной. Мы стремились передать ее читателям самым достоверным образом.[8] Мы хотели сохранить лекции такими, какими они были. Однако переход от устной речи к письменной предполагает вмешательство издателя: как минимум, нужно было расставить знаки препинания и разбить текст на параграфы. Наш принцип состоял в том, чтобы, насколько возможно, сохранить речь самого Фуко.

Издатели внесли только *необходимые* изменения, были устранены повторения и оговорки, прерванные фразы восстановлены и некорректные построения исправлены.

В тексте многоточием в квадратных скобках отмечены места, где запись не прослушивается. Когда фраза неясна, также в квадратных скобках дается соответствующее пояснение или добавление.

---

[8] Специально были использованы записи, осуществленные Жильбером Бурле и Жаком Лагранжем, хранящиеся в Коллеж де Франс и в библиотеке Сольшуара.

Звездочка внизу страницы указывает на то, что в письменных заметках Мишеля Фуко мысль была сформулирована иначе, чем в ходе лекции.

Цитаты проверсны, в примечаниях даны ссылки на использованные тексты. Справочный аппарат ограничивается прояснением темных мест, объяснением некоторых аллюзий и уточнением критических замечаний.

В целях облегчения чтения перед каждой лекцией дается ее краткое изложение с выделением главных смысловых линий.

Текст лекций сопровождается резюме, опубликованным в «Ежегоднике Коллеж дс Франс». Мишель Фуко писал их обычно в июне месяце, спустя некоторое время после окончания курса. Для него это была возможность рстроспективно прояснить свои замысел и цель. Резюме, написанное самим Фуко, является лучшей презентацией данной книги.

Каждый из томов изданных лекций заканчивается изложением «ситуации», написанной представитслями издательской группы: оно было задумано для ознакомления читателя с особенностями биографического, идеологического и политического контекста, в котором готовились лекции, для того чтобы вписать их в совокупность опубликованных работ Фуко и дать указания насчет их места в ней, в целом, чтобы облегчить читателю понимание лекций и предупредить возможность искажения смысла, которое могло бы произойти от незнания обстоятельств их разработки и озвучивания.

* * *

Издание лекций, прочитанных в Коллеж де Франс Мишелем Фуко, раскрывает новую сторону его «творчества».

Но их, собственно, нельзя рассматривать в качестве первой публикации неизданных ранес материалов, так как они воспроизводят то, что Мишель Фуко высказал уже публично и как бы тем самым опубликовал. Иначе обстоит дело с письменными текстами лекций, которые Мишель Фуко использовал во время занятий, они могут быть очень хорошо отработа-

ны самим Фуко, но не публикуются. Даниэль Дефер, владелец текстов Мишеля Фуко, позволил издателям ознакомиться с ними при подготовке к изданию устных вариантов лекций, за что они ему очень благодарны.

Издание лекций Мишеля Фуко, прочитанных им в Коллеж де Франс, было разрешено его наследниками, которые хотели тем самым удовлетворить многочисленные обращенные к ним просьбы, поступавшие к ним как из Франции, так и из-за границы. Их условием была тщательность в подготовке издания. Издатели стремились оправдать оказанное им доверие.

Франсуа Эвальд и Алессандро Фонтана

ЛЕКЦИИ 1975—1976 гг.

Лекция от 7 января 1976 г.

Что представляет собой данный курс? — Подчиненные знания. — Историческое знание о борьбе, генеалогии и научный дискурс. — Власть как ставка генеалогий. — Юридическая и экономическая концепции власти. — Репрессивная и военная власть. — Переформулирование афоризма Клаузевица.

Я хотел бы немного объяснить назначение этих курсов. Вы знаете, что институт, в котором находимся мы с вами, не является, строго говоря, учебным. Словом, каков бы не был замысел, когда он много лет назад создавался, в настоящее время Коллеж де Франс представляет собой своеобразную исследовательскую структуру: его деятельность оплачивают в исследовательских целях. И я думаю, что преподавательская деятельность в конечном счете не имела бы смысла, если бы ей не придали или не сообщили того оттенка, который я имею в виду, когда задаю себе вопрос: так как нам платят за исследования, то кто может их контролировать? Каким образом можно держать в курсе дела интерссующихся этим и тех, кто имеет некоторые причины следить за такими исследованиями? Как можно это организовать, если не с помощью преподавания, то есть путем публичной лекции, публичного отчета о проделанной работе, проводимого довольно регулярно? Я не считаю, таким образом, наши заседания по средам формой преподавательской деятельности, скорее, это своего рода публичные отчеты о работе, которую притом я провожу в соответствии с моими интересами. Поэтому я считаю очень важным для себя рассказать вам, что я примерно делаю, на каком этапе находится моя

работа, в каком направлении [...] она ведется; и поэтому же я в равной степени считаю вас совершенно свободными делать с моими сообщениями все, что пожелаете. Направление исследования, идеи, схемы, намстки, инструментарий: распоряжайтесь ими по собственному усмотрению. Самое большее, можно сказать, что это меня интересует, но в целом не касается. Не касается в той мере, в какой я не выдвигаю определенных требований по использованию предоставляемых мною материалов, интересует в той мере, в какой это соотносится, увязывается так или иначе с тем, что я делаю.

Учитывая сказанное, вы можете понять, что происходило при чтении лекций в предыдущие годы: вследствие своего рода инфляции, причины которой плохо понятны, мы пришли, как я думаю, к состоянию, когда дело было почти приостановлено. Вы были вынуждены приходить в четыре с половиной часа [...], и я оказывался перед аудиторией, состоящей из людей, с которыми, строго говоря, я не имел никакого контакта, так как часть, если не половина аудитории, вынуждена была переходить в другой зал, слушать через усилители то, что я говорил. Это даже не было собственно спектаклем — меня не было видно. Но все прекратилось по другой причине. Потому что для меня — скажу вам — необходимость проводить по средам каждый вечер в этом своего рода цирке было, можно сказать,.. настоящей пыткой, если выразиться сильно, скукой — если говорить мягче. Точнее, это было нечто промежуточное между двумя названными состояниями. В результате хорошо готовил лекции, уделяя им немало старания и внимания, и посвящал гораздо меньше времени собственно исследованиям, вещам одновременно интересным и немного противоречивым, которые я мог бы рассказать и которые поставили меня перед вопросом: смогу ли я в течение одного или полутора часов говорить об этом так, чтобы не слишком наскучить людям и чтобы в результате та добрая воля, которую они проявили, решившись приходить сюда так рано и короткое время слушать меня, была бы немного вознаграждена, и т. д. Посвятив таким размышлениям месяцы, я пришел к выводу, что если обосновывать мое присутствие здесь и даже ваше присутствие проведением исследования, работой, обновлением некоторых тем, выдвижением идей, то все это на деле не может служить воз-

награждением за [проделанный] труд. Положение, таким образом, оставалось неопределенным. Тогда я сказал себе: все-таки было бы неплохо, если бы в зале могли находиться тридцать или сорок человек, я мог бы рассказать им приблизительно о том, что я делал, и в то же время контактировать с ними, говорить, отвечать на вопросы и т. д., получить некоторую возможность обмена мыслями, что и предполагает нормальная практика исследования или преподавания. Но как это сделать? По существующим правилам я не могу устанавливать какие-то формальные условия допуска в этот зал. Тогда я принял самостоятельное решение, состоявшее в том, чтобы начинать лекции в девять с половиной часов утра, думая, как сказал вчера мой помощник, что студенты не смогут подниматься к девяти с половиной утра. Вы скажете, что это все же не очень справедливый критерий отбора: он разделяет тех, кто поднимается рано, и тех, кто не может этого сделать. Вы скажете, что это не слишком справедливый критерий отбора: кто поднимается и кто не поднимается. Те и другие. Но с другой стороны, поскольку всегда здесь имеются маленькие магнитофоны, аппараты для записи и так как мои лекции затем циркулируют — в одних случаях остаются в магнитофонной записи, в других — оказываются перепечатанными, иногда даже попадают в библиотеки, — поэтому я сказал себе: лекции всегда находятся в обращении. Стоит, следовательно, попытаться [...]. Извините меня за то, что заставил вас подняться слишком рано, и пусть извинят меня те, кто не смог прийти; это предпринято единственно для того, чтобы чуть-чуть придать нашим беседам и встречам по средам более нормальный вид исследования, работы, которая проделана и о которой представляется отчет с официальными и регулярными интервалами.

Итак, что я хотел бы вам рассказать в этом году? Именно то, о чем я уже сказал достаточно: то есть хотел бы попытаться завершить, в какой-то степени подвести итог серии исследований — в конце концов, исследование — это слово, которое употребляют по необходимости, но неясно, что оно действительно означает? — которые продолжались вот уже четыре или пять лет, практически с того времени, как я нахожусь здесь, и относительно которых я отдаю хорошо себе отчет, что они привели к нежелательным как для вас, так и для меня последствиям.

Это были близкие друг другу исследования, которые не увенчались созданием связного целого, имеющего логическое единство; они имели фрагментарный характер, причем каждый из фрагментов не только не получил своего завершения, но и не имел продолжения; рассеянные исследования и притом очень однообразные, которые развивались в одном и том же направлении, имели одинаковые темы и опирались на одни и те же понятия. Это маленькие заметки по истории уголовного судопроизводства; несколько глав, относящихся к развитию и институционализации психиатрии в XIX веке; заметки о софистике или о греческой монете; или об инквизиции в средние века; набросок из истории сексуальности или, во всяком случае, из истории изучения сексуальности при опоре на практику исповедания в XVII веке или о формах наблюдения за детской сексуальностью в XVIII—XIX веках; заметки о генезисе теории и знания об аномалии вместе со связанными с этим знанием техниками. Все это буксует, не продвигается вперед; все повторяется и не связывается друг с другом. По сути, речь идет об одном и том же и, однако, может быть, ни о чем; все вместе представляет собой плохо поддающуюся расшифровке путаницу, которой чужда какая-либо организация; короче, как говорится, этому нет конца.

Я мог бы вам сказать: в конце концов, это пути, по которым можно идти, неважно, куда они вели; было даже важно, чтобы они вовсе не были шагами в заранее определенном направлении; это наметки. Вам надлежит их продолжить или изменить; мне, в случае необходимости, нужно их продолжить или придать им другую форму. В итоге скоро увидим, вы или я, что можно сделать из этих фрагментов. Я поступал почти как кашалот, который сверху прыгает в воду, оставляя в ней маленький временный водоворот, и который позволяет, заставляет или хочет думать, или, может быть, на самом деле думает о себе, что внизу, там, где его больше не видно, там, где его больше никто не замечает и не контролирует, он продвигается по глубинной, связной и обдуманной траектории.

Вот почти такой была ситуация, как я ее воспринимаю; я не знаю, какой она была с вашей точки зрения. В конце концов, работа, которую я вам представил, имела одновременно фрагментарный, однообразный и прерывистый характер, во многом она

соответствовала бы тому, что могли бы назвать «лихорадочной медлительностью», которая особым образом поражает любителей библиотек, документов, справок, покрытой вековой пылью письменности, текстов, которые никогда не были прочитаны, книг, которые, будучи едва напечатаны, были заперты и потом дремали на полках и были извлечены только несколько веков спустя. Все это хорошо вписывается в деловую инерцию тех, кто исповедует знание ни о чем, род ненужного знания, богатство выскочки, внешние знаки которого, как вы хорошо знаете, расположены внизу страниц. Это импонировало бы всем тем, кто чувствует себя солидарным с одними из самых древних, вероятно, самых характерных для Запада тайных обществ; с одним из тех, на удивление прочных, неизвестных тайных обществ, возникших, как мне кажется, в античности и сформировавшихся в раннем христианстве, наверное в эпоху первых монастырей, в лесах, в обстановке нашествий и пожарищ. Я хочу говорить о большом, нежном и теплом франкмасонстве бесполезной эрудиции.

Но не только вкус к этому франкмасонству толкнул меня к тому, что я делал. Мне кажется, что работу, которая была проделана и переходила немного эмпирическим и случайным образом от вас ко мне и от меня к вам, можно было бы оправдать, сказав, что она довольно хорошо соответствует определенному, очень ограниченному периоду, тому, в котором мы живем десять или пятнадцать, максимум двадцать, последних лет, в нем можно выделить два феномена, если не действительно важных, то, по крайней мере, как мне кажется, довольно интересных. С одной стороны, указанный период характерен тем, что можно было бы назвать действенностью рассеянных и прерывистых наступлений. Я думаю о многих вещах, например о странной эффективности выступлений против института психиатрии, об очень в конечном счете локализованных дискурсах антипсихиатрии; дискурсах, относительно которых вы хорошо знаете, что они не были подкреплены никакой связной систематизацией и до сих пор ее не имеют, какими бы не были, какими бы не представали их референции. Я имею в виду изначальную референцию к экзистенциальному анализу[1] или современные референции, обращенные в основном к марксизму или к теории Райха.[2] Я думаю также о странной действенности

атак, которым подвергалась, например, мораль или традиционная сексуальная иерархия, атак, тоже обоснованных смутно и неопределенно, во всяком случае, очень неясно, Райхом и Маркузе.[3] Я думаю еще об эффективности атак на судебно-уголовный аппарат, некоторые из них очень отдаленно соотносились с общим и к тому же довольно сомнительным понятием «классовой юстиции», а другие едва ли более определенно были связаны по своей сути с анархизмом. Я также думаю, в частности, о влиянии такой вещи — я не осмеливаюсь даже сказать книги, — как «Анти-Эдип»,[4] которая практически не была и не является соотносимой с чем-либо другим, кроме собственной чудесной теоретической изобретательности; эта книга, или скорее явление, событие, повлияла даже на повседневную действительность, вызвала долгий непрерывавшийся говор, перетекающий от дивана к креслу.

Итак, я скажу следующее: вот уже десять или пятнадцать лет как широко распространились и все усиливаются критические отношения в определении вещей, институтов, практик, дискурсов; обнаружилась своего рода хрупкость общих основ, даже, может быть, особенно основ самых привычных, прочных и самых нам близких, касающихся нашего тела, повседневного поведения. Но в то время как открылись, с одной стороны, упомянутая хрупкость и, с другой стороны, удивительная действенность, ориентированные на частные локальные сферы жизни, открылось и нечто такое, что вначале невозможно было предвидеть: его можно было бы назвать подавляющим действием тоталитарных теорий, я хочу сказать, теорий обволакивающих и глобальных. Не то чтобы подобные теории не обеспечивали раньше и не обеспечивают сейчас почти постоянно полезные подходы к определенным сферам общественной жизни: это могут доказать марксизм и психоанализ. Но они, я думаю, полезны только при условии, что теоретическое единство их дискурсов поставлено под вопрос, во всяком случае оно перерезано, разодрано, разорвано в клочья, перевернуто, смещено, осмеяно, шаржировано, театрализовано и т. д. Фактически всякое понимание, остающееся в рамках тотальности, вызывало противодействие. Итак, если хотите, первая черта, первая особенность происшедшего за последние пятнадцать лет, заключается в локальном характере критики,

однако, я думаю, это не означает, что она имеет характер тупого, наивного или простоватого эмпиризма, либо рыхлого, приспособленческого эклектизма, впитывающего в себя любые теории, ни тем более несколько волюнтаристского аскетизма, который бы свидетельствовал об огромной бедности в теоретическом плане. Я думаю, что преимущественно локальный характер критики указывает на появление своего рода автономного, нецентрализованного теоретического производства, такого, которое не имеет для подтверждения своей ценности нужды в санкции со стороны общего знания.

Именно здесь мы подходим ко второй особенности процессов, происходивших в обществе в последнее время: она заключается в том, что, как мне кажется, локальная критика осуществляется посредством так называемого «обратного хода знания». Об этом феномене я могу сказать следующее: если верно, что в последние годы мы часто встречали, по крайней мере на поверхностном теоретическом уровне, высказывания типа «нет знанию, да жизни», «нет познанию, да реальному», «нет книгам, да деньгам»* и т. д., то, как мне кажется, за всеми этими высказываниями скрывалось явление, которое можно было бы назвать восстанием «подчиненных знаний». Под этим определением я понимаю две вещи. С одной стороны, совокупность исторических знаний, которые были похоронены, замаскированы под давлением функциональной связности или в силу формальных систематизаций, присущих господствующему знанию. Если говорить конкретно, при этом, конечно, не имеется в виду семиология жизни в приютах и не более того социология преступности, а предполагается появление исторического содержания, которое позволяло осуществлять действенную критику как в отношении института приютов, так и в отношении института тюрьмы. И это понятно, потому что только историческое содержание может позволить вновь обрести различные формы столкновений и борьбы, которые поистине оказались замаскированы функциональными построениями и систематизированными теориями. Итак, «подчиненные знания» представляют собой блоки исторического знания, которые

---

*В рукописном тексте лекции вместо слова «деньгам» значится «путешествиями».

присутствуют в замаскированном виде внутри функциональных и систематизированных теорий, которые критика могла выявить вновь, разумеется, с помощью эрудиции.

С другой стороны, под «подчиненными знаниями» я понимаю также другую, в некотором смысле совсем другую, вещь. Я понимаю под ними всю совокупность знаний, которые оказались дисквалифицированы по причине своей неконцептуальности, то есть как недостаточно разработанные знания: знания наивные, иерархически низшие, знания, находящиеся ниже требуемого уровня научности. И критика ведется именно благодаря восстановлению этих низших, неквалифицированных, даже дисквалифицированных знаний, знаний подвергнутого психиатрическому или другому лечению больного, санитара, знанию медика, но такому, которое по отношению к распространенному медицинскому знанию занимает маргинальное и параллельное положение, знанию преступника и т. д. — такое знание я назвал бы, если хотите, «знанием людей» (оно вовсе не является общим знанием или здравым смыслом, наоборот, это знание частичное, локальное, региональное, дифференциальное, в отношении него невозможно единодушное мнение и оно сохраняет свою значимость только в результате резкого разрыва с общераспространенным знанием — критика, повторю, осуществляется только благодаря новому появлению локальных знаний людей.

Вы мне скажете: странный парадокс виден в желании сгруппировать, соединить в одной и той же категории «подчиненных знаний», с одной стороны, скрупулезное, эрудированное, точное, техничное историческое знание, а с другой — локальные, единичные знания людей, которые не имеют общего значения и были в некотором роде, как земля, оставлены невозделанными, если не находились явно на обочине. Но, я думаю, что действительно именно в результате объединения похороненных знаний эрудитов и знаний, дисквалифицированных в силу научной иерархии, обрела свою основную силу критика дискурсов в последние пятнадцать лет. Действительно, о чем шла речь в том и другом случаях, в знании эрудитов и в дисквалифицированном знании, в обеих этих формах подчиненного или погребенного знания? Речь шла о знании истории борьбы. В них содержалось историческое знание о формах существо-

вавшей в прошлом борьбы. В специализированном знании эрудитов, как и в дисквалифицированном знании обычных людей, содержалась память о борьбе, которую на самом деле отбросили на обочину истории. Таким образом, я обрисовал то, что можно было бы назвать генеалогией, или, скорее, многочисленными генеалогическими исследованиями, которые представляют собой одновременно основанное на эрудиции новое открытие существовавшей в прошлом борьбы и необработанную память о ней; эти генеалогии как объединение знания эрудитов и знания людей были бы невозможны, нечего было бы и пытаться это сделать, если бы не одно условие: а именно, появление тирании глобальных дискурсов с их иерархией и со всеми привилегиями теоретического авангарда. Назовем, если хотите, «генеалогией» единство знания эрудитов и локальных воспоминаний, единство, которое позволяет конституировать историческое знание о борьбе и обосновать использование этого знания в современной тактике. Таким может быть, во всяком случае его нужно временно принять, определение генеалогий, которое я пытался найти вместе с вами в моих курсах последних лет.

Вы видите, что фактически в деятельности, которую можно назвать генеалогической, никоим образом не предполагается противопоставление абстрактного единства теории конкретной множественности фактов; никоим образом не предполагается дисквалификация спекулятивного с целью противопоставить ему в форме какого-то сциентизма строгость хорошо обоснованных знаний. Значит, не эмпиризм отличает генеалогический проект; тем более не позитивизм в обычном смысле слова. Фактически, речь идет о том, чтобы задействовать локальные, прерывистые, дисквалифицированные, незаконные знания для противостояния унитарной теоретической инстанции, которая претендовала бы на то, чтобы их отфильтровать, иерархизовать, организовать от имени настоящего знания, от имени прав науки, принадлежащей немногим. Генеалогии, таким образом, не являются позитивистским поворотом к форме, более внимательной к историческим деталям или более точной науки. Генеалогии как раз принадлежат к антинауке. Они не требуют какого-то особого права для невежества и незнания, не требуют также отказа от знания или выпячивания, демонстрации

престижа непосредственного опыта, еще не включенного в знание. Не об этом идет речь. Речь идет о восстании знаний. Не только против содержания, методов или понятий науки, речь прежде всего идет о восстании против последствий централизованной власти, которая связана с установлением и функционированием организованного научного дискурса в обществе, подобном нашему. И по сути неважно, реализуется ли эта институционализация научного дискурса в университете или, шире, в педагогическом аппарате, реализуется ли она в теоретико-коммерческой сети психоанализа или, как в случае марксизма, в политическом аппарате со всем к нему относящимся. Генеалогия должна вести борьбу именно против последствий власти так называемого научного дискурса.

Я скажу точнее или хотя бы понятнее для вас: вы знаете, что вот уже много лет, вероятно более века, многие спрашивали себя, является ли марксизм наукой. Можно было бы сказать, что тот же вопрос был поставлен и до сих пор остается в силе в отношении психоанализа или еще более остро стоит в отношении семиологии литературных текстов. Но на вопрос, «является или нет нечто наукой?» исследователи генеалогий ответили бы: «Действительно, чаще всего выдвигается упрек, что из марксизма или из психоанализа, или из чего-нибудь еще сделали науку. Но если и выдвигать возражение против марксизма, то в том, что он действительно мог бы быть наукой». Я могу сказать несколько иначе: прежде чем спрашивать, в какой мере марксизм или психоанализ, или что-нибудь другое сообразуется с повседневным течением научной практики, с правилами построения теории, с употребляемыми в науке понятиями, прежде чем ставить перед собой вопрос о формальном и структурном сходстве марксистского или психоаналитического дискурса с научным дискурсом, не нужно ли прежде всего спросить себя о том стремлении к власти, которая связана с претензией быть наукой? Не следует ли поставить следующие вопросы: «Какого типа знание хотите вы дисквалифицировать в тот момент, когда говорите от лица науки? Какого говорящего, размышляющего субъекта, какого субъекта опыта и знания хотите вы принизить в тот момент, когда говорите: “Мой дискурс является научным, и я сам являюсь ученым?” Какой теоретико-политический авангард хотите вы таким способом возвести на трон,

для того чтобы отделить от него все массовые, циркулирующие и прерывистые формы знания?». И я бы сказал: «Когда я вижу ваше стремление доказать, что марксизм является наукой, я, по правде говоря, не думаю, что вы в состоянии раз и навсегда доказать рациональную структуру марксизма и, следовательно, верифицируемость его тезисов. Я вижу, что вы в состоянии сделать другую вещь. А именно, придать марксистскому дискурсу и тем, кто его осуществляет, функции власти, которой Запад со средневековья наделял науку и ученых».

По сравнению с системой наук, определяющей включение знаний в свойственную науке иерархию власти, генеалогия могла бы рассматриваться как особый род исследования, направленного на освобождение исторических знаний и придание им независимости, в результате чего они оказались бы способны выстоять в борьбе против их угнетения со стороны унитарного, формального и научного теоретического дискурса. Возрождение локальных знаний — «меньших», как, возможно, сказал бы Делёз,[5] — в противовес научной иерархии знаний с присущими ей властными функциями — такова цель этих генеалогий, несущих с собой нарушение порядка и распад. В двух словах я сказал бы следующее: археология была методом анализа локальных дискурсивностей, а генеалогия, исходя из уже выявленных локальных дискурсивностей, способствует формированию освобожденных таким образом независимых знаний. Все это нужно для завершения общего замысла.

Вы видите, что все фрагменты исследования, все слова, которые одновременно перекрещиваются и где-то прерываются, и все, что я упрямо повторял в течение вот уже четырех или пяти лет, могли бы рассматриваться как элементы таких генеалогий, которые далеко не я один осуществлял на протяжении пятнадцати последних лет. Тогда возникает вопрос: почему не продолжить начатое, обладая такой красивой — и, вероятно, плохо поддающейся проверке — теорией прерывности?[6] Почему я не продолжаю и почему не предпринимаю еще раз того, что было проделано в отношении психиатрии, теории сексуальности и т. д.?

Верно, можно было бы это продолжить и до известной степени я буду пытаться продолжать, если не произойдет некоторых изменений в конъюнктуре, я хочу сказать, что в сравнении

с ситуацией, известной нам пять, десять или уже пятнадцать лет, обстановка скорее всего изменилась; борьба теперь имеет несколько иной характер. Вопрос заключается в том, существует ли еще соотношение сил, которое позволило бы нам поддерживать живыми эти лишенные смысла знания, бороться против их порабощения и использовать их? Какой силой они обладают? И потом, начиная с момента, когда таким образом освобождают фрагменты генеалогии, когда их выставляют в выгодном свете, когда вводят в обращение элементы знания, которое пытались обессмыслить, не создается ли рискованная ситуация в условиях которой упомянутые элементы снова будут закодированы, заново колонизованы унитарными дискурсами, которые, после того как вначале дисквалифицировали эти элементы, затем, когда они снова появились, их игнорировали, а теперь, может быть, готовы их аннексировать и включить в свой собственный дискурс и в свои собственные познавательные и властные действия? И вот когда мы хотим защитить эти освобожденные таким образом фрагменты, не выстраиваем ли мы сами, своими собственными руками тот унитарный дискурс, в котором мы, может быть в силу подвоха, походим на тех, кто нам говорит: «Все это очень мило, но к чему это годится? Для какого направления? Для какого единства?». Но пока не наступило определенное время, можно говорить: хорошо, продолжим, будем накапливать. Несмотря ни на что, не наступил еще момент, когда мы рискуем быть колонизованными. Я вам сказал сейчас, что эти генеалогические фрагменты могут быть заново закодированы; но можно было бы бросить вызов и сказать: «Пытайтесь!». Можно было бы, например, сказать: начиная с момента, когда были предприняты попытки создания антипсихиатрии или генеалогии психиатрических институтов, — тому теперь добрых пятнадцать лет — нашелся ли хоть один марксист, психоаналитик или психиатр, который захотел бы проанализировать сделанное нами в своих собственных терминах и показать, что эти генеалогии были ложны, плохо разработаны, плохо выстроены, плохо обоснованы? Фактически, разработанные фрагменты генеалогии окружены осторожным молчанием. Самое большее, им противопоставляют высказывания вроде тех, которые недавно довелось услышать от М. Жюкена:[7] «Все это очень

мило. Из этого следует, что советская психиатрия лучшая в мире». Я бы ответил: «Конечно, вы правы, советская психиатрия лучшая в мире и именно в этом ее можно упрекнуть». Может быть, молчание или, скорее, осторожность, с которыми представители унитарных наук подходят к генеалогии знаний, создают условия для продолжения нашей работы. Во всяком случае, по своему желанию можно было бы продолжить разработку генеалогических фрагментов, вкладывая в них подвохи, вопросы, вызовы. Но, вероятно, в тот момент, когда речь идет в конечном счете о борьбе — борьбе знаний против проявлений власти научного дискурса, — было бы слишком оптимистично видеть в молчании противника только свидетельство того, что он напуган. Согласно методологическому или тактическому принципу, который всегда нужно держать в уме, молчание противника является, возможно, зна́ком, что он уверен в себе. И я думаю, нужно действовать так, как если бы действительно он не был напуган. Итак, речь пойдет не о том, чтобы дать прочную и солидную теоретическую основу для всех разрозненных генеалогических исследований, — я ни в коем случае не хочу возложить на них род теоретической короны, которая должна их объединить, а о том, чтобы попытаться в будущих курсах и, по всей вероятности, начиная с этого года уточнить или определить ставку этого противостояния, этой борьбы, этого восстания знаний против научного дискурса, его знания и власти.

Вопрос всех генеалогий, как вы знаете и вряд ли есть необходимость это уточнять, заключается в следующем: что представляет собой та власть, агрессивность, сила, жесткость и абсурдность которой проявились в последние сорок лет, отмеченных также крушением нацизма и отступлением сталинизма? Что такое власть? Или, скорее, так как вопрос «Что такое власть?» имеет теоретический характер и мог бы быть поставлен лишь в конце большого исследования, что не соответствует моим целям, — задача состоит в определении устройства власти, в рассмотрении ее различных механизмов, способов их воздействия и взаимосвязей того, как и в каких масштабах они сказываются в столь разнообразных сферах. Grosso modo, я думаю, вопрос состоит в том, могут ли власть или власти быть выведенными из экономики?

Вот почему я ставлю этот вопрос и именно об этом хочу здесь говорить. Я никоим образом не собираюсь сглаживать бесчисленные, огромные различия между юридической (либеральной) концепцией политической власти, которую находим у философов XVIII века, и марксистской концепцией или, во всяком случае, некими ходячими штампами, которые выдают за марксистскую теорию, но несмотря на эти различия и именно благодаря им проявляется, мне кажется, нечто общее между ними. Это общее я назвал бы «экономизмом» в трактовке власти. Я хочу сказать следующее: в классической юридической концепции власти она рассматривалась как право, которым можно было бы обладать как благом и в силу этого иметь возможность его передавать или отчуждать, полностью или частично, посредством юридического акта или акта основания права — в данном случае неважно, происходило ли это посредством передачи права или на основе договора. Говоря конкретнее, власть — это то, чем обладает всякий индивид и что он мог бы полностью или частично уступить, чтобы создать власть, политический суверенитет. Конституирование политической власти, таким образом, осуществляется согласно теории на основе юридической процедуры, которую можно обозначить как договор. Следовательно, в ней просматривается связь между властью и благом, властью и богатством.

Другой вариант трактовки природы власти дает марксистская концепция, в ней как будто нет ничего похожего на либеральную точку зрения. Но в марксистской концепции есть нечто другое, что можно было бы назвать «экономической функциональностью» власти. Власть выполняет одновременно роль опоры для производственных отношений и осуществляет классовое господство, которое стало возможным благодаря развитию и особенностям присвоения производительных сил. Короче, политическая власть имела бы свою историческую основу в экономике. В целом, если хотите, в одном случае политическая власть обрела бы свою формальную модель в явлении обмена, в экономике обращения благ; в другом случае политическая власть имела бы в экономике свою историческую основу и принцип, определяющий ее конкретную форму и реальное функционирование.

Проблема наших исследований может, я думаю, быть разделена на части определенным образом. Во-первых, необходимо выяснить, всегда ли власть зависима от экономики? Всегда ли экономика формулирует ее и приводит в действие? Имеет ли по существу власть своим оправданием и целью служение экономике? Предназначена ли она к тому, чтобы двигать, укреплять, поддерживать, продлевать те отношения, которые характерны для данной экономики и важны для ее функционирования? Во-вторых, нужно ответить на вопрос, сформирована ли власть по образцу товара? Является ли власть вещью, которой обладают, которую приобретают, которую можно уступить в результате договора или под угрозой силы, которая отчуждается или восстанавливается, циркулирует, которая действует в одной области и избегает другой? Или, напротив, для анализа власти нужно попытаться задействовать разные подходы, даже если властные и экономические отношения сильно переплетены, даже если они всегда находятся в прочной связи друг с другом? В таком случае связь между экономикой и политикой нельзя было бы преобразить однозначно как функциональную субординацию или формальное сходство, она была бы чем-то таким, что еще нужно прояснить.

Если мы решаем провести анализ власти не с экономической точки зрения, то чем для этого мы располагаем? Можно, я думаю, сказать, что мы располагаем очень немногим. Мы располагаем прежде всего идеей, что власть не отдается, не обменивается, не возвращается назад, она всегда находится в действии и существует только в нем. Мы располагаем также другой идеей, согласно которой власть не является прежде всего опорой и поддержкой экономических отношений, главное состоит в том, что она олицетворяет силовое отношение. В таком случае возникают вопросы, точнее два вопроса: если власть находится в действии, то что из себя представляет это действие? В чем оно состоит? Какова его механика? На эти вопросы можно получить немедленный ответ, он присутствует в конечном счете во многих современных теориях: власть подавляет. Именно власть подавляет природу, инстинкты, класс, индивидов. Но определение власти как силы подавления не является изобретением современного дискурса. Первый это сказал Гегель, затем Фрейд, потом Райх.[8] Во всяком случае, определение власти

как органа репрессии это ее характеристика, почти гомеровская, сохранившаяся в современном словаре. В таком случае задаем себе вопрос: должен ли анализ власти быть прежде всего и в основном анализом механизмов репрессии?

Вывод из сказанного может выглядеть следующим образом: если власть сама по себе представляет полагание и развертывание силовых отношений, то не нужно ли, вместо того чтобы анализировать ее в терминах уступки, договора, отчуждения или в функциональном аспекте как силу, поддерживающую производственные отношения, проанализировать ее в терминах борьбы, столкновения или войны? Так мы получаем первую гипотезу — механизм власти сводится в основном и главном к репрессии — и вторую гипотезу — власть это война, война, продолженная другими средствами. Здесь мы сталкиваемся с тезисом Клаузевица[9] и могли бы сказать, что политика это война, продолженная другими средствами. Такое утверждение имело бы три последствия. Прежде всего следующее: существующие в обществе, подобном нашему, властные отношения связаны в своей основе с некоторым соотношением сил, установившимся в исторически определенный момент в войне и с помощью войны. И если правда, что политическая власть останавливает войну, устанавливает или пытается установить мир в гражданском обществе, это происходит не для того, чтобы ликвидировать последствия войны или устранить неравновесие, проявившееся в последней военной битве. Согласно этой гипотезе, политическая власть, ведя своего рода тайную войну, берется надолго вписать это соотношение сил в институты, в экономическое неравенство, в язык, в соотношение тех или иных слоев населения. Таким образом, переформулированный нами афоризм Клаузевица имеет прежде всего такой смысл: политика это война, в которой используются другие средства; то есть политика это санкция и продолжение продемонстрированного в войне неравновесия сил. Но переформулирование афоризма Клаузевица означает еще кое-что, а именно, что происходящие внутри «гражданского мира» политическая борьба, столкновения по поводу власти, с властью, за власть, изменения в соотношении сил — усиление одной стороны, ниспровержение другой и т. д. — не должны интерпретироваться только как формы продолжения войны. Нужно было бы их

толковать как эпизоды, фрагменты, перемещения самих военных действий. Если это так, то нам бы всегда преподносили только историю одной и той же войны, даже когда описывали историю мира и его институтов.

Переформулирование афоризма Клаузевица означало бы еще третье: последнее решение может исходить только от войны, то есть от соотношения сил, когда армии должны будут выступить в качестве судей. Концом политики могла бы стать последняя битва, то есть последняя битва остановила бы наконец функционирование власти как непрерывной войны.

Таким образом, вы видите, что начиная с момента, когда мы пытаемся при анализе власти освободиться от экономистских схем, мы сразу оказываемся перед двумя мощными гипотезами: во-первых, можно видеть смысл власти в репрессии — это гипотеза, которую я бы для удобства назвал гипотезой Райха, — и во-вторых, можно видеть его в воинственных столкновениях сил — это гипотеза, которую я бы также для удобства назвал гипотезой Ницше. Обе гипотезы не являются непримиримыми, напротив, они даже кажутся довольно правдоподобно соединимыми: в конце концов, не являются ли репрессии политическим следствием войны, подобно тому как в классической теории политического права угнетение было злоупотреблением властью на юридическом уровне?

Итак, в рамках анализа власти можно было бы противопоставить друг другу две большие теоретические системы. Наиболее старую из них можно найти у философов XVIII века, она содержит понятие власти как данного от рождения права, которое можно уступить в целях конституирования суверенитета, и рассматривает договор как матрицу политической власти. Конституированная таким образом власть может превратиться в угнетающую, если она выходит за рамки собственных полномочий, то есть выходит за пределы договора. Границей подобной власти-договора или, скорее, выходом ее за собственные границы является угнетение. В другой системе, напротив, политическая власть рассматривается не в соответствии со схемой договор-угнетение, а в соответствии со схемой война-репрессии. И в данном случае репрессии — не то, чем было угнетение в договорной системе, то есть злоупотребление, а, напротив, простое следствие и продолжение отношений господства. Реп-

рессия является не чем иным, как приведением в действие вечных силовых отношений внутри того псевдомира, который представляет собой просто результат непрерывной войны. Таким образом, есть две схемы анализа власти: договор-угнетение, это, если хотите, юридическая схема, и война-репрессии (или господство-репрессии), в рамках которой уместна не противоположность законного и незаконного, как в предыдущей схеме, а противоположность борьбы и подавления.

Понятно, что все, о чем я вам говорил в предшествующие годы, вписывается в схему война-репрессии. Именно эту схему я пытался использовать. Однако по мере работы с ней я был вынужден ее пересмотреть; во-первых, конечно, потому, что для применения к той массе проблем, которые я пытался решать, она была еще недостаточно разработана — я бы даже сказал, что она совершенно не была разработана, — и, во-вторых, также потому, что, как мне кажется, оба эти понятия — «репрессия» и «война» — должны быть перетолкованы, а в итоге, может быть, вообще отвергнуты. Во всяком случае, нужно поближе рассмотреть понятия «репрессия» и «война», или, если хотите, рассмотреть ту гипотезу, согласно которой механизмы власти были бы по существу механизмами репрессии, и ту, по которой за функционирующей политической властью по сути дела скрывается и грохочет война.

Скажу без хвастовства, что я давно не доверял понятию «репрессия» и пытался вам показать именно в связи с генеалогиями, о которых недавно говорил, в связи с историей уголовного права, психиатрической власти, контроля над детской сексуальностью и т. д., что во всех случаях власть приводила в действие другие механизмы, а не репрессии. Я не могу продолжать, не проведя анализа этого понятия, не собрав почти все, что, вероятно немного бессвязно, я могу сказать по этому поводу. Вследствие этого, ближайшая или, возможно, две ближайшие лекции будут посвящены критике понятия «репрессия», я попытаюсь показать, как и почему это столь употребимое теперь при характеристике механизмов и последствий власти понятие «репрессия» совершенно для этой цели непригодно.[10]

Но основная часть лекций будет посвящена другой проблеме — войне. Я хотел бы попытаться рассмотреть, в какой мере бинарная схема войны, борьбы, столкновения сил может

эффективно служить для трактовки основы гражданского общества, быть одновременно принципом и движущей силой политической власти. Точно ли о войне нужно говорить при анализе функционирования власти? Употребимы ли здесь понятия «тактика», «стратегия», «соотношение сил»? В какой мере могут ее характеризовать? Является ли власть просто войной, осуществляемой не оружием и битвами, а другими средствами? Содержится ли какая-то доля истины в популярной, хотя и относительно недавно возникшей, идее о необходимости защиты общества со стороны власти, верно ли, что общество организовано в своей политической структуре таким образом, чтобы некоторые могли защищаться от других, или защищать свое господство от восстания других, или, еще проще, защищать свою победу и увековечивать ее, навязывая другим состояние подчинения?

Итак, схема курса этого года будет следующей: сначала одна или две лекции будут посвящены рассмотрению понятия «репрессия»; затем я начну [трактовать] — и, вероятно, продолжу в последующие годы, я этого еще не знаю, — проблему войны в гражданском обществе. Я могу точно сказать, что начну подробнее рассматривать работы тех, кого считают теоретиками войны в гражданском обществе и которые совершенно, по моему мнению, ими не являются, то есть Макиавелли и Гоббса. Затем я попытаюсь проанализировать теорию войны как исторического принципа функционирования власти в связи с проблемой расы, так как именно бинаризм рас дал, в первый раз на Западе, возможность проанализировать политическую власть как форму войны. И я попытаюсь довести анализ до того момента, когда расовая и классовая формы борьбы становятся в конце XIX века двумя великими схемами, с помощью которых [пытаются] обнаружить феномен войны и силовых отношений внутри политического общества.

Примечания

[1] Здесь Мишель Фуко имеет в виду то движение в психиатрии (определяемого поочередно как «антропо-феноменология», или Daseinanalyse), представители которого искали новые концептуаль-

ные подходы в философии Гуссерля и Хайдеггера. М. Фуко интересовался этим с первых своих работ (ср. «Болезнь и существование» в работе: Maladie mentale et Personnalité. Paris: Presses universitaires de France, 1954. Chap. IV; «Введение» к кн.: *Binswanger L.* Le Rêve et l'Existence. Paris: Desclée de Brouwer, 1954; «Психология с 1850 по 1950» в кн.: *Weber A., Huisman D.* Tableau de la philosophie contemporaine. Paris: Fischbacher, 1957; « Психологические исследования» в кн.: Des chercheurs s'interrogent, études présentées par J.-E. Morère. Paris: PUF, 1957; три последние текста опубликованы в подготовленном Д. Дефером и Ф. Эвальдом в сотрудничестве с Ж. Лагранжем издании: Dits et Écrits, 1954—1988. Paris: Gallimard (Bibliothèque des sciences humaines, 1994, 4 vol.; I: 1954—1969; II: 1970—1975, III: 1976—1979; IV: 1980—1988; см. I, N 1,2,3) и снова к этому вернулся в последние годы (см.: Colloqui con Foucault. Salerno, 1981; во французском переводе: Dits et Écrits, IV, N 281).

[2] О В. Райхе см.: Die Funktion des Orgasmus; zur Psychopathologie und zur Soziologie des Geschlechtslebens. Wien: Internationaler psychoanalytischer Verlag, 1927 (французский перевод: La Fonction de l'orgasme. Paris: L'Arche, 1971); Der Einbruch der Sexualmoral. Berlin: Verlag für Sexualpolitik, 1932 (французский перевод: L'Irruption de la morale sexuelle. Paris: Payot, 1971); Charakteranalyse. Wien: Selbstverlag des Verfassers, 1933 (французский перевод: L'Analyse caractérielle. Paris: Payot, 1971); Massenpsychologie des Faschismus; zur Sexualökonomie der politischen Reaktion und zur proletarischen Sexualpolitik. Copenhagen; Prag; Zürich: Verlag für Sexualpolitik, 1933 (французский перевод: La Psychologie de masse du fascisme. Paris: Payot, 1974); Die Sexualität im Kulturkampf. Copenhagen: Sexpol Verlag, 1936.

[3] Мишель Фуко, понятно, имеет здесь в виду Г. Маркузе, автора книг: Eros and Civilisation: A philosophical inquiry into Freud. Boston: Ma., Beacon Press, 1955 (французский перевод: Éros et Civilisation. Paris: Seuil, 1971) и One-dimensional Man: Studies in the ideology of advanced industrial society. Boston: Ma., Beacon Press: 1964 (французский перевод: L'Homme unidimensionnel. Paris: Seuil, 1970).

[4] *Deleuze G., Guattari F.* L'Anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie. Paris: Éd. de Minuit, 1972. Следует напомнить, что М. Фуко развивал эту интерпретацию *Анти-Эдипа* как о «книге-событии» в предисловии к ее английскому изданию (Anti-Oedipus. New York: Viking Press, 1977; см. французский перевод этого предисловия: Dits et Écrits. III, N 189).

[5] Понятия «меньшего» и «меньшинства» — скорее единичных событий, чем индивидуальных существ, скорее индивидуации через

«бытие-в-мире», чем через субстанциальность — были разработаны Ж. Делёзом совместно с Ф. Гваттари. См. их работу: Kafka. Pour une littérature mineure (Paris: Éd. de Minuit, 1975), вновь развиты Делёзом в статье «Философия и меньшинство» (Critique, février 1978) и затем особенно в книге: *Deleuze G., Guattari F.* Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie. Paris: Éd. de Minuit, 1980. «Меньшинство» связано также с понятием «молекулярный», разработанным Ф. Гваттари в работе: Psychanalyse et Transversalité. Essai d'analyse institutionnelle (Paris: Maspero, 1972), смысл которого может быть выражен понятиями «становление» и «интенсивности».

[6] М. Фуко имеет здесь в виду споры, которые начались особенно после публикации: «Слова и вещи. Археология гуманитарных наук» (первое французское издание вышло в Париже в издательстве Галлимар в 1966 г., первое русское издание — в 1994 г. в Санкт-Петербурге) в связи с понятием *эпистемы* и статусом прерывности. Всем критикам М. Фуко ответил серией теоретических и методологических разъяснений (особенно в «Ответе на один вопрос», Esprit, mai 1968, p. 850—874, и в «Ответе Кружку эпистемологии», Cahiers pour l'analyse, 9, 1968, p. 9—40: в Dits et Écrits, I, N 58—59), вновь появившихся затем в «Археологии знания» (французское издание вышло в Париже в издательстве Галлимар в 1969 г., русское — в Киеве в 1996 г.).

[7] В ту эпоху депутат от Французской коммунистической партии.

[8] Ср. *Hegel G.W.F.* Grundlinien der Philosophie des Rechts. Berlin, 1821, N 182—340 (французский перевод: Principes de la philosophie du droit. Paris: Vrin, 1975); *Freud S.* Das Unbewussten: в Internationale Zeitschrift für ärtzliche Psychoanalyse. 1915. Vol. 3 (4) и (5); и Die Zukunft einer Illusion. Leipzig; Wien; Zürich: Internationaler Psychoanalitischer Verlag, 1927 (французский перевод: L'Avenir d'une illusion. Paris: Denoël, 1932; переиздано Paris: PUF, 1995). Относительно Райха см. *выше*, прим. 2.

[9] М. Фуко намекает на хорошо известную формулировку принципа Карла фон Клаузевица (Vom Kriege. Liv. I, chap. I, N XXIV в Hinterlassene Werke. Bd 1—2—3. Berlin, 1832; французский перевод: De la guerre. Paris: Éd. de Minuit, 1955), согласно которому «Война есть только продолжение политики другими средствами»; она «не только политический акт, но и подлинное орудие политики, продолжение политических отношений, проведение их другими средствами». *Клаузевиц К.* О войне. М., 1994. С. 5—56.

[10] Обещание не было выполнено. Тем не менее существует вставленная в рукопись лекция о «репрессии», прочитанная, вероятно, в иностранном университете. Вопрос снова будет рассмотрен Фуко в работе: La Volonté de savoir. Paris: Gallimard, 1976 (русский перевод см. в кн.: *Фуко М.* Воля к истине. М., 1996).

Лекция от 14 января 1976 г.

Война и власть. — Философия и границы власти. — Право и королевская власть. — Закон, господство и подчинение. — Аналитика власти: вопросы метода. — Теория суверенитета. — Дисциплинарная власть. — Правило и норма.

В этот год я хотел бы начать, но только начать, комплекс исследований о войне как возможном принципе анализа властных отношений: действительно ли в области явлений, связанных с войной, в военной модели, в области борьбы или разных форм борьбы можно найти принцип осмысления и анализа политической власти, которая таким образом могла бы быть расшифрована в терминах войны, борьбы, столкновения? Поэтому я хотел бы в силу необходимости начать с анализа института войны: как он реально и действенно функционирует в истории наших обществ начиная с XVII века и до наших дней.

Вплоть до настоящего времени в течение пяти последних лет мы в целом рассматривали различные формы дисциплины; в последующие пять лет предполагается рассмотреть войну, борьбу, армию. Я хотел бы теперь подвести итог тому, о чем пытался говорить в курсах предыдущих лет, это мне позволит выиграть время для моих исследований о войне, которые не очень продвинулись, и, возможно, это будет полезно для тех, кто не прослушал моих курсов предыдущих лет. Во всяком случае, мне и самому хотелось бы подвести итог исследований предыдущих лет.

С 1970 по 1971 г. я пытался рассматривать власть с точки зрения того, «как» она осуществляется. Это «как» подталки-

вает к изучению механизмов власти с двух сторон: во-первых, с точки зрения их связи с правом, которое формально ограничивает власть, и, во-вторых, с точки зрения истины, которой эта власть вооружена и которая в свою очередь ее поддерживает. Итак, существует треугольник: власть, право, истина. Вкратце скажем следующее: существует, я думаю, традиционный вопрос политической философии, который формулируется так: как дискурс об истине или, проще, как философия, понимаемая преимущественно как дискурс об истине, может обозначить правовые границы власти? Это традиционный вопрос. Однако тот вопрос, который бы я хотел поставить, лежит глубже, он тесно связан с фактами в отличие от традиционного благородного философского вопроса. Меня занимает такая проблема: каковы те правила, которые власть на законном основании приводит в действие, чтобы произвести дискурс об истине? Или иначе: власть какого типа способна производить дискурс об истине, который в обществе, подобном нашему, имеет столь глубокие последствия?

Я хочу сказать, что в обществе, подобном нашему, — а в конечном счете в любом обществе — многочисленные властные отношения проникают в общественный организм, характеризуют его и конституируют; они не могут ни распасться, ни установиться, ни функционировать без производства, накопления, обращения, функционирования подходящего дискурса. Нет власти без рационального использования дискурса об истине, который проявляется во власти, исходит от власти и действует посредством нее. Под влиянием власти мы обречены на производство истины и можем использовать власть только с помощью производства истины. Это верно для всякого общества, но я думаю, что в нашем обществе отношения между властью, правом и истиной выстраиваются очень своеобразно.

Для того чтобы просто выразить даже не механизм отношений между властью, правом и истиной, а интенсивность и постоянство их взаимосвязей, скажем следующее: мы вынуждены вырабатывать истину с помощью власти, она требует истины и в своем функционировании нуждается в ней; мы должны говорить истину, мы вынуждены, мы осуждены признать

истину или найти ее. Власть не перестает вопрошать, опрашивать нас; она не перестает расследовать, регистрировать; она институционализирует исследование истины, она его профессионализирует, вознаграждает. Мы должны производить истину так, как в конечном счете должны производить богатства, и мы должны производить истину, чтобы производить богатства. И в то же время мы также подчинены истине в том смысле, что она творит закон; с помощью истинного дискурса, по крайней мере частично, принимается решение; он несет с собой действие власти, подталкивает ее к нему. В итоге нас судят, осуждают, классифицируют, принуждают к выполнению задач, обрекают на определенный тип жизни и смерти под влиянием истинных дискурсов, которые ведут к специфическим воздействиям власти. Таким образом, мы имеем принципы права, механизмы власти и власть истинных дискурсов. Или еще: принципы власти и власть истинных дискурсов. Это почти вся намеченная мною область исследования, которое я, как мне известно, осуществил частично и с большими отклонениями.

Я хотел бы теперь сказать несколько слов об этом исследовании. А именно о том, каким общим принципом я руководствовался, каковы были мои императивные тезисы или методологические правила? Мне казалось, что, говоря об общем принципе взаимоотношений права и власти, нельзя забывать, что в западных обществах начиная со средневековья юридическая мысль разрабатывалась в основном вблизи королевской власти. Именно по требованию королевской власти, в ее пользу, в целях создания ее орудия или ее обоснования разрабатывалось юридическое здание наших обществ. На Западе право — это форма королевского управления. Должно быть, весь мир знает невероятную, прославленную роль юристов в организации королевской власти, этот факт всеми затвержен и многократно пережеван. Не нужно забывать, что возрождение римского права к середине средневековья было значительным событием, в связи с которым и исходя из которого перестроилась распавшаяся после падения Римской империи юридическая система, оно явилось одним из технических инструментов установления авторитарной, административной и в конечном счете абсолютной монархической власти. Таким образом, юридическая система формировалась вблизи королевской

особы, по требованию королевской власти и ради ее пользы. Когда в последующие века юридическая система начала ускользать из-под королевского контроля, когда она обернулась против королевской власти, тогда постоянно стал возникать вопрос о границах этой власти, о ее прерогативах. Иначе говоря, я думаю, что центральной фигурой во всей западной юридической системе является король. Именно о короле, о его правах, о его власти, о потенциальных границах его власти идет речь в западной юридической системе, во всяком случае, это явно проступает в общей ее организации. Служили ли юристы королю или были его противниками, в любом случае всегда в серьезных юридических построениях обсуждался вопрос о королевской власти.

Он рассматривался двояко: либо речь шла о том, чтобы показать, на какую юридическую основу опиралась королевская власть, как монарх поистине стал живым воплощением суверенитета, каким образом его власть, даже абсолютная, оказывалась точь в точь адекватна основному праву; либо, напротив, речь шла о том, как нужно ограничить власть суверена, каким положениям права нужно ее подчинить, в каких границах должна функционировать его власть, чтобы она сохраняла свою законность. Теория права, по существу, играет начиная со средневековья роль подтверждения законности власти: главная, центральная проблема, вокруг которой организуется вся теория права, это проблема верховной власти. Сказать, что она является центральной проблемой права в западных обществах, значит признать, что дискурс и техника права в основном имели задачу уменьшить или замаскировать скрытый во власти факт господства и показать вместо него две вещи: с одной стороны, законные права суверена и, с другой стороны, узаконенную обязанность повиновения. Система права целиком подстроена под короля, то есть она в конечном счете скрывает факт господства и его следствия.

Когда я в предшествующие годы затрагивал различные предметы, то ставил перед собой в основном цель изменить привычный ход анализа, который начиная со средневековья присущ дискурсу о праве в целом. В противовес ему я пытался вскрыть одновременно тайный и все же явный факт господства, а затем, исходя из этого, показать не только то, как право

оказывается вообще инструментом этого господства — это ясно само собой, — а то, как, до какой границы и в какой форме право (говоря о праве, я думаю не только о законе, но о совокупности структур, институтов, правил, в которых используется право) влечет за собой и приводит в действие отношения не суверенитета, а господства. И под господством я имею в виду не грубый факт безраздельного господства одного лица над другими или одной группы над другой, а многочисленные формы господства, могущие существовать внутри общества: значит, не господство короля, которое играло центральную роль в государстве, а господство, существующее во взаимных отношениях субъектов; не господство верховной власти в ее единственности, а существующие многочисленные формы подчинения, которые действуют внутри социального организма.

Система права и судебная власть являются постоянными носителями отношений господства, многообразных технических форм подчинения. Нужно видеть, что право, как я думаю, не столько устанавливает законность, сколько приводит в действие различные процедуры подчинения. Таким образом, для меня вопрос заключался в том, чтобы обойти, избежать центральной для права проблемы верховной власти и повиновения ей индивидов и вместо нее выдвинуть проблему господства и подчинения. В этой связи требовались некоторые методологические предосторожности, чтобы обойти проторенный путь юридического анализа, свернуть с него.

Первое из упомянутых методологических правил состояло в том, чтобы не ограничиваться анализом упорядоченных и законных форм центральной власти, ее общих механизмов и совокупных последствий. Я хотел, напротив, рассматривать власть там, где она достигает своих границ, своих последних очертаний, там, где она становится капиллярной; то есть нужно рассматривать власть в ее региональных, локальных формах и институтах, особенно там, где власть, выходя за рамки организующих и ограничивающих ее положений права, функционирует по ту сторону права, воплощается в институтах, обретает форму благодаря разным техническим приемам и использует материальные, потенциально даже насильственные инструменты вмешательства. Один пример, если угодно: вместо того чтобы стремиться узнать, где и как верховная власть,

ставшая объектом философского рассмотрения в монархическом или демократическом праве, получает возможность наказывать, я стремился показать, как фактически наказание, власть наказывать обретает форму в некотором числе локальных, региональных, материальных институтов, независимо от того, идет ли речь о казни или о заключении в тюрьму, все происходит одновременно в институциональном, физическом, регламентированном и насильственном мире фактических структур наказания. Иначе говоря, нужно было ухватить власть на краю ее все менее юридического функционирования; таково было первое правило.

Второе правило состояло в том, чтобы проводить анализ власти не на уровне ее намерения или решения, рассматривать ее не с внутренней стороны, не задаваться вопросом (который я считаю тупиковым и безвыходным), кто обладает властью? Кто находится во главе? К чему стремится тот, кто имеет власть? Изучать власть нужно, напротив, там, где ее интенция — если она имеется — оказывается воплощена в реальных и действенных формах практики; изучать власть нужно, так сказать, с ее внешней стороны, там, где она находится в прямом и непосредственном отношении с тем, что предварительно можно обозначить как ее объект, мишень, ее область применения, иначе говоря, там, куда она внедряется и где осуществляет свое реальное воздействие. Таким образом, важно не то́, почему некоторые хотят господствовать? К чему́ они стремятся? Какова́ их общая стратегия? Важно другое: каким образом все осуществляется в определенный момент на уровне процедур подчинения, или во время тех постоянных и непрерывных процессов, которые подчиняют тела, управляют жестами, определяют формы поведения. Другими словами, скорее, чем спрашивать себя о том, как суверен оказался наверху, нужно стараться узнать, как мало-помалу, постепенно, реально, материально конституируются субъекты, субъект из множества тел, сил, энергий, материй, желаний, мыслей и т. п. Понять материальную инстанцию подчинения в качестве силы, конституирующей субъекты, это, если хотите, прямая противоположность того, что Гоббс хотел осуществить в *Левиафане*[1], и, я думаю, этого хотят все юристы, когда ставят перед собой вопрос о том, как, отправляясь от множества индивидов и воль, можно сформировать

единую волю и единый организм. Вспомните схему *Левиафана*[2]: согласно ей Левиафан, этот сфабрикованный человек, является только коагуляцией некоторого числа отдельных индивидуальностей, которые оказываются объединенными с помощью определенного числа конститутивных элементов государства. Но в центре или, скорее, во главе государства существует конституирующее его нечто, это верховная власть, о которой Гоббс говорит, что она составляет душу Левиафана. Итак, прежде чем ставить проблему центральной души, нужно бы, я думаю, попытаться — что я пытался сделать — изучить многочисленные периферические тела, которые под воздействием власти конституировались как субъекты.

Третье методологическое правило: не надо рассматривать власть как феномен сплошного и однородного господства — господства одного индивида над другими, одной группы над другими, одного класса над другими; нужно осознавать, что власть, если только ее не рассматривать сверху и издалека, не разделяется между теми, кто ее имеет и ею исключительно обладает, и теми, кто ее не имеет и ей подчиняется. Я думаю, что власть должна анализироваться как то, что находится в движении, или, скорее, как то, что функционирует только в форме сети. Она никогда не локализуется здесь или там, она никогда не находится в руках некоторых, она никогда не присваивается как богатство или благо. Власть функционирует. Власть существует как сеть, и в этой сети индивиды не только двигаются, они постоянно находятся в положении тех, кто испытывает на себе власть, и тех, кто ее практикует. Они никогда не являются инертной мишенью власти или согласными с ней, они всегда являются ее посредником. Иначе говоря, власть переносится индивидами, она не накладывается на них.

Не нужно, я думаю, видеть в индивиде своего рода элементарную частицу, простейший атом, многообразную и инертную материю, к которым власть применяется, на которые воздействует, подчиняя себе индивидов или ломая их. На деле одно из первых следствий применения власти заключается в том, что она ведет к конституированию и идентификации индивидов из тел, жестов, речей, желаний. То есть индивид не является визави власти; он, как я думаю, один из первых ее результатов. Индивид есть результат власти, и в то же время, в той же

мере, в какой он является ее результатом, он является и ее посредником: власть переносится с помощью индивида, которого она создала.

Четвертое положение из числа методологических предосторожностей основывается на убеждении, что мой тезис «власть осуществляется, циркулирует, имеет форму сети», может быть, верен лишь до некоторой степени. Можно также сказать: «у нас у всех имеется внутри фашизм» и еще глобальнее: «мы все заключаем в своем теле власть». И власть — по крайней мере в какой-то части — переносится или передвигается с помощью нашего тела. Действительно, все это можно сказать; но я не думаю, что исходя из этого можно сделать такое заключение насчет власти, будто она, если хотите, хорошо разделена, представляет самую разделенную вещь в мире: она является таковой только до определенной степени. Это не похоже на демократическое или анархическое распределение власти между людьми. Я хочу сказать следующее: мне кажется, что, главное, — и таково было бы четвертое методологическое правило — не нужно применять своего рода дедукцию в отношении власти и рассматривать ее как движение из центра вплоть до ее распространения внизу, стараясь увидеть, в какой мере она воспроизводится, продолжается вплоть до самых атомистических элементов общества. Я думаю, что, напротив, надлежало бы — нужно следовать этой методологической предосторожности — проделать восходящий анализ власти, то есть исходя из бесконечно малых организмов, которые имеют свою историю, свой путь, свои собственные технику и тактику, увидеть затем, как эти механизмы власти, имеющие свою прочность и, в некотором роде, свою собственную технологию, при помощи все более общих механизмов и форм глобального господства были и еще теперь оказываются окруженными, колонизованными, использованными, согнутыми, трансформированными, перемещенными, увеличенными и т. д. Не глобальное господство разделяется на множество направлений и отражается вплоть до низов. Я думаю, что нужно анализировать способ, каким образом на самых низких уровнях действуют феномены, техника, процедуры власти; нужно показать, как эти процедуры перемещаются, увеличиваются, модифицируются, но особенно, как они блокируются, аннексируются

глобальными феноменами и как самые высокие власти или экономические интересы могут включаться в игру властных технологий, одновременно относительно автономных и бесконечно малых.

Чтобы это было более ясно, рассмотрим пример отношения общества к безумию. Можно было бы сказать, и это был бы нисходящий анализ, которому, я думаю, не следует доверять: буржуазия стала начиная с конца XVI века и в XVII веке господствующим классом. Как можно вывести из этого практику интернирования психически больных? Дедукцию всегда можно осуществить, она всегда легка и именно в этом я ее упрекаю. Действительно, легко можно показать, что, поскольку психически больной бесполезен для индустриального производства, считается нужным от него освободиться. Если хотите, можно бы было сделать то же самое не в отношении психически больного, а в отношении детской сексуальности — это уже сделали некоторые, в какой-то степени Вильгельм Райх,[3] несомненно Раймут Райх,[4] — и спросить: как можно понять репрессии в отношении детской сексуальности, отправляясь от факта буржуазного господства? Все просто, человеческое тело стало по сути дела начиная с XVII века производительной силой, в XVIII веке все формы расходов, бесполезные для производства, негодные для становления производительных сил, все формы расходов, продемонстрировавшие таким образом бесполезность, были изгнаны, исключены, пресечены. Такие дедукции всегда возможны; они одновременно истинны и ложны. По существу, они слишком легки и всегда можно вывести противоположное заключение, а именно исходя из принципа классового господства буржуазии сделать вывод, что контроль над сексуальностью, и в частности над детской сексуальностью, стал абсолютно нежелательным; напротив, обнаружилась потребность в сексуальном обучении, в сексуальной дрессировке, в ранней сексуальности, поскольку все же с помощью сексуальности восстанавливается рабочая сила, а как мы знаем, по крайней мере в начале XIX века, господствовало мнение, согласно которому рабочая сила должна увеличиваться до бесконечности: чем больше бы имелось рабочей силы, тем более полно и правильно могла бы функционировать система капиталистического производства.

Я думаю, что многое можно вывести из общего феномена классового господства буржуазии, но мне кажется, что делать нужно другое, а именно уяснить, как исторически, начиная снизу, могли действовать механизмы контроля с целью исключения безумия, подавления, запрета сексуальности; каким потребностям соответствовали на уровне семьи, непосредственного окружения, маленькой ячейки или на самых низовых уровнях общества феномены репрессии и исключения, в которых использовались определенные инструменты и просматривалась определенная логика, показать, кто тут действовал, и искать его не в лице буржуазии вообще, а в лице реальных агентов, какими могли быть ближайшее окружение, семья, родители, врачи, полиция на самом низшем уровне и т. д.; показать также, как эти механизмы власти в определенный момент в конкретной ситуации, несколько трансформируясь, становились экономически выгодными и политически полезными. И я думаю, можно легко доказать — именно это я хотел сделать раньше, — что глубокая потребность буржуазии и интерес системы в конечном счете заключаются не в изгнании безумных или в наблюдении за детской мастурбацией и в запрете ее, для буржуазной системы, повторю, могло быть выгодно как раз обратное; зато она пробуждает интерес не к факту изгнания, а к технике и к самой процедуре изгнания, что и является областью фактического действия системы. Именно механизмы изгнания, аппарат наблюдения, способы воздействия на сексуальность, безумие, преступность, все это, то есть микромеханика власти, для буржуазии представляло интерес, именно этим буржуазия интересовалась начиная с определенного момента.

Нужно еще сказать следующее: поскольку понятия «буржуазия» и «интерес буржуазии» не имеют реального содержания, по крайней мере для поставленных здесь проблем, необходимо признать, что на деле не существовало буржуазии, которая думала бы, что безумные должны быть изгнаны или что детская сексуальность должна быть подавлена, но механизмы изгнания безумных, механизмы наблюдения за детской сексуальностью начиная с некоторого момента и в силу некоторых причин, которые еще нуждаются в изучении, обеспечили определенную экономическую выгоду, обнаружили определенную политическую пользу и сразу оказались полностью

колонизованы и поддержаны глобальными механизмами и в конечном счете всей государственной системой. И именно зацепившись за них, исходя из этой техники власти и раскрывая ее экономическую выгоду и связанную с ней политическую пользу в определенном контексте и в силу определенных причин можно понять, каким образом на деле эти механизмы становятся частью целого. Иначе говоря, буржуазия абсолютно равнодушна к душевнобольным, но начиная с XIX века и благодаря, как уже сказано, некоторым трансформациям процедуры их изгнания выявили, обнаружили, политичсскую пользу, потенциально даже некоторую экономичсскую выгоду, что укрепило систему и позволило ей в целом функционировать. Буржуазия интересуется не душевнобольными, а направленной на них властью; буржуазия интересуется не сексуальностью ребенка, а контролирующей ее системой власти. Буржуазия в целом не интересуется преступниками, их наказанием и их реадаптацией, которые с экономической точки зрения не имеют большого интереса. Зато совокупность механизмов, с помощью которых преступник контролируется, преследуется, наказывается, исправляется, имеет для буржуазии интерес в рамках общей экономико-политической системы. Такова четвертая предосторожность, четвертое методологическое правило, которое я хотел соблюсти.

Пятое правило: очень возможно, что глобальные механизмы власти сопровождаются идеологическим производством. Существуют, например, идеология воспитания, идеология монархической власти, идеология парламентской демократии и т. д. Но я не думаю, что внизу или на границах действия власти формируется идеология. Все обстоит и намного проще, и, я думаю, намного сложнее. Скорее, там формируются эффективные инструменты образования и накопления знания, методы наблюдения, техника регистрации, процедуры расследования и поиска, аппараты проверки, то есть действие глубинных механизмов власти не может обойтись без создания, организации и использования знания или, скорее, аппаратов знания, которые не являются ее идеологическим сопровождением или идеологическим построением.

В качестве резюме изложения этих пяти методологических правил я скажу следующее: вместо того чтобы направлять иссле-

дование власти на юридическое строение верховной власти, на государственные аппараты, на сопровождающие их идеологии, надо ориентировать анализ власти на ситуацию господства (а не суверенитета), на материальные механизмы господства, на формы подчинения, на связи и формы использования локальных систем этого подчинения и, наконец, на системы знания.

В целом нужно освободиться от модели Левиафана, модели искусственного человека, робота, в равной мере созданного из разных частей и унитарного, который включает в себя всех реальных индивидов и в котором граждане олицетворяют тело, а верховная власть воплощает душу. Нужно изучать власть вне модели Левиафана, вне области, ограниченной юридической суверенностью и институтом государства; речь идет об анализе, исходящем из техники и тактики господства. Вот то методологическое направление, какому, я думаю, нужно следовать и какому я пытался следовать в тех разнообразных изысканиях, которые мы проводили в предшествующие годы в отношении власти в области психиатрии, в отношении детской сексуальности, системы наказания и т. д.

Итак, в результате описания сферы власти и рассмотрения необходимых при ее исследовании методологических принципов, стал, я думаю, просматриваться крупный исторический факт, который должен нас, наконец, ввести немного в проблему, о которой я хотел начать говорить. Факт заключается в следующем: юридическо-политическая теория суверенитета, от которой нужно освободиться ради успешного анализа власти, ведет начало от средневековья; она означает возрождение римского права; она конституировалась в связи с идеями монархии и монарха. И я думаю, что исторически теория суверенитета — большая ловушка, в которую можно попасть при анализе власти, — выполняла четыре роли.

Во-первых, она соотносилась с существующим механизмом власти феодальной монархии. Во-вторых, она использовалась как инструмент в процессе создания великих административных монархий и была формой их обоснования. Затем начиная с XVI века, уже в момент религиозных войн, теория суверенитета служила оружием как для одного лагеря, так и для другого, ее использовали с разными целями, например

для ограничения или, напротив, для укрепления королевской власти. Ее можно встретить у католических монархистов или у протестантских антимонархистов; у протестантских монархистов и у людей более или менее либеральных; можно встретить ее также у католиков — сторонников цареубийства или изменения династии. Теорию суверенитета используют аристократы и парламентарии, представители королевской власти и последние феодалы. Короче, она была важным инструментом политической и теоретической борьбы по вопросам власти в XVI и XVII веках. Наконец, в XVIII веке все та же самая теория суверенитета, выстроенная на основе римского права, встречается у Руссо и его современников, но уже в другой, четвертой, роли: речь теперь идет о конструировании — в противовес авторитарным или абсолютным административным монархиям альтернативной модели парламентской демократии. И именно эту роль она также выполняет в момент революции.

Если проследить названные роли теории суверенитета, можно, мне кажется, заметить, что пока существовало общество феодального типа проблемы, подлежащие рассмотрению с ее помощью, касались фактически общей механики власти, способа ее функционирования как на самых высоких, так и на самых низких уровнях. Иначе говоря, влияние верховной власти, понималось ли оно широко или узко, в итоге охватывало всю целостность социального организма. И фактически способ функционирования власти мог быть описан, во всяком случае в основном, в рамках отношений между сувереном и лицом зависимым.

Однако в XVII и XVIII веках происходит важное изменение, а именно, появляется — нужно бы сказать изобретается — новая механика власти с особыми процедурами, с новыми инструментами, с абсолютно иным и совершенно, я думаю, несовместимым с отношениями суверенитета устройством. В условиях новой власти регистрируются не столько земли и их ресурсы, сколько люди и их действия. Она соотносится скорее с людьми, временем и трудом, чем с благами и богатством. Этот тип власти осуществляется путем непрерывного контроля, а не того контроля, который производился ранее в ходе сбора налогов и хронических долговых обязательств. Такой тип власти предполагает, скорее, плотную сеть материального принуждения,

чем физическое существование суверена, и определяет новую экономическую политику власти, принцип которой состоит в том, чтобы заставить увеличиваться как силу подчиненных, так и силу, а также способность к действию тех, кому они подчиняются.

Мне кажется, что такой тип власти в точности противостоит, пункт за пунктом, той механике власти, которую описывала и стремилась упорядочить теория суверенитета. Последняя связана с формой власти, которая гораздо более распространялась на землю и ее ресурсы, чем на людей и на их дела. Она имела отношение к перемещению и присвоению властью благ и богатства, а не времени и труда. Она позволяла перевести на юридический язык как возникающие время от времени, так и постоянные обязательства по уплате налогов, вместо того чтобы выработать формы непрерывного контроля; эта теория позволяла основать власть, центром и опорой которой является физическое существование суверена, а не непрерывные и постоянные системы наблюдения. Теория суверенитета позволяла, если хотите, основать абсолютную власть, требующую больших издержек, ей была чужда мысль о создании власти с минимумом издержек и максимумом эффективности. Итак, новый тип власти, который совсем нельзя описать с помощью понятий, заимствованных из теории суверенитета, составляет, я думаю, одно из великих изобретений буржуазного общества. Указанный тип власти был одним из главных инструментов утверждения индустриального капитализма и соответствующего ему типа общества. Это не власть суверена, она чужда форме суверенитета, это «дисциплинирующая» власть. Ее невозможно описать, обосновать в терминах теории суверенитета, она полностью отлична от нее и должна бы непосредственно вести к исчезновению развитой юридической теории суверенитета. Однако фактически последняя не только продолжала существовать, если хотите, как идеология права, но она использовалась при создании юридических кодексов, которые вырабатывались в Европе в XIX веке на основе наполеоновских кодексов.[5] Почему теория суверенитета оказалась так устойчива в качестве идеологии и принципа при создании систем юридических кодексов?

Я думаю, это произошло в силу двух причин. С одной стороны, теория суверенитета в XVIII веке и еще в XIX была оружием критики, направленным против монархии и всех препятствий, которые могли противостоять развитию дисциплинированного общества. Но с другой стороны, эта теория и созданные на ее основе юридические кодексы позволяли наложить на дисциплинарные механизмы систему права и таким путем замаскировать их методы, сгладить в дисциплине черты господства и техники господства и, наконец, гарантировать каждому через суверенитет государства его собственные суверенные права. Иначе говоря, юридические системы, будь то теории или кодексы, позволили осуществить демократизацию суверенитета, утвердить государственное право, основанное на коллективной суверенности в тот самый момент и в той мере, в какой возникали в обществе механизмы дисциплинарного принуждения, можно даже сказать, что их возникновение послужило причиной демократизации суверенитета. Более сжато можно бы сказать следующее: с тех пор как дисциплинарные принуждения стали одновременно использоваться в качестве механизмов господства и преподноситься в качестве эффективного употребления власти нужно было, чтобы в юридическом устройстве присутствовала в виде юридических кодексов заново возрожденная и завершенная теория суверенитета.

Таким образом, в современных обществах, с XIX века и до наших дней, существуют, с одной стороны, законодательство, дискурс, система государственного права, основанная на принципе суверенитета общества и делегирования каждым его суверенной воли государству; с другой стороны — разветвленная сеть дисциплинарных принуждений, фактически обеспечивающая связь внутри общества. Но эта сеть ни в коем случае не может быть обоснована с помощью права, последнее, однако, является его необходимым сопровождением. Суверенное право и дисциплинарные механизмы — именно в этих двух областях, я думаю, функционирует власть. Но они столь гетерогенны, что никоим образом невозможно совместить их друг с другом. В современных обществах власть осуществляется во взаимодействии этих гетерогенных начал — государственного права и многообразной механики дисциплины, через это взаимодействие и исходя из него. Это не значит, что, с одной стороны, существует многословная и ясная система права, основанная

на суверенитете, а с другой — темные и немые механизмы дисциплины, которые действуют в глубине общества, в тени, и составляют молчаливое подземелье большой механики власти. Фактически формы дисциплины имеют собственный дискурс. Они сами, в силу только что изложенных мною причин, являются творцами систем знания и многочисленных областей познания. Они чрезвычайно изобретательны в формировании системы учености и познаний, выступают носителями дискурса, но такого, который не может быть дискурсом права, юридическим дискурсом. Дискурс дисциплины чужд дискурсу закона; он чужд дискурсу порядка как результата суверенной воли. Формы дисциплины выступают, таким образом, носителями дискурса порядка, но не юридического порядка, исходящего из суверенитета, а дискурса естественного порядка, то есть нормы. Они определяют не кодекс закона, а кодекс нормализации, и обязательно связаны с теорией, но не права, а гуманитарных наук. Поэтому для многообразных форм дисциплины юриспруденцией служит знание, вырабатываемое в клиниках.

В итоге отмечу, что в курсах последних лет я вовсе не хотел показать, каким образом в передовую систему точных наук потихоньку включается недостоверное, сложное, запутанное знание о человеческом поведении: не в силу прогресса рационального знания точных наук конституируются мало-помалу гуманитарные науки. Я думаю, что процесс, сделавший возможным дискурс гуманитарных наук, представляет собой рядоположение или, скорее, столкновение двух совершенно различных типов дискурса: с одной стороны, дискурса права, в центре которого находится идея суверенитета, и, с другой стороны, дискурса принудительной дисциплины. Что власть в наши дни осуществляется одновременно при посредстве права и техники дисциплины, что дискурсы, порожденные дисциплиной, вторгаются в область права, что способы нормализации все более и более колонизуют сферу закона — все это, я думаю, может объяснить глобальное функционирование того, что я бы назвал «обществом нормализации».

Точнее, я хочу сказать следующее: нормализация, дисциплинарные нормализации все чаще спотыкаются о юридическую систему суверенитета; все более отчетливо проявляется их несовместимость друг с другом; все необходимее становится арбитражный дискурс, своего рода власть и знание, которое

представлялось бы нейтральным в силу его научной сакрализации. И именно распространение в обществе медицинских учреждений и медицинского знания свидетельствует некоторым образом о том, как, я не хочу сказать сочетаются, но как ограничивают друг друга или обмениваются, или постоянно сталкиваются дисциплинарная механика и правовой принцип. Развитие медицины, общая медикализация поведения, образов действий, дискурсов, желаний и т. д. происходят в области, где должны встретиться два гетерогенные пространства дисциплины и суверенитета.

Вот почему в борьбе против узурпации власти со стороны дисциплинарных механизмов, против подъема связанной с научным знанием власти мы в современных условиях располагаем одним, по-видимому прочным, средством, а именно, обращением или возвратом к праву, выстроенному на принципе суверенитета, основанному на этом старом принципе. В результате когда хочется что-то противопоставить разным формам дисциплины и всем связанным с ними последствиям знания и власти, то что конкретно делают? Что делают в жизни? Что делают профсоюз чиновников или другие подобные институты? Что они делают, если не обращаются именно к этому праву, этому славному, формальному буржуазному праву, каким в действительности является право суверенитета? Но я думаю, что это своего рода узкое место, что нельзя бесконечно поступать таким образом: вовсе не обращением к суверенитету в противовес дисциплине можно было бы ограничить действия дисциплинирующей власти.

Суверенитет и дисциплина — законодательство, право суверенности и дисциплинарные механизмы — фактически являются двумя безусловно определяющими частями общих механизмов власти в нашем обществе. По правде говоря, чтобы бороться против дисциплины или, скорее, против дисциплинарной власти, а также в поисках недисциплинарной власти следовало бы обращаться вовсе не к старому праву суверенитета; обращаться следовало бы к новому, так сказать антидисциплинарному праву, которое было бы в то же время свободно от принципа суверенитета.

И именно здесь мы приближаемся к понятию «репрессия», о котором я вам, может быть, расскажу в следующий раз, если

только при этом не повторю вещи, уже сказанные, и не перейду тотчас к вопросам, касающимся войны. Если бы я имел желание и смелость, я бы рассказал вам о понятии «репрессия», которое, как я в самом деле думаю, в том смысле, в каком его обычно употребляют, имеет двойное неудобство, так как оно неявно соотносится с теорией суверенитета или теорией суверенных прав индивида и в тоже время использует психологическое знание, заимствованное у гуманитарных наук, то есть у дискурсов и практик, которые принадлежат к дисциплинарной области. Я думаю, что понятие «репрессия» является еще понятием юридически-дисциплинарным, какой бы критический смысл ему не придавали; и поэтому оно оказывается изначально заражено, испорчено, разложено в силу двойной, включенной в него юридической и дисциплинарной референции к суверенитету и к нормализации. Я вам расскажу о репрессии в ближайшее время, если не перейду к проблеме войны.

Примечания

[1] *Hobbes Th.* Leviathan, or the Matter, Forme and Power of a Common-Wealth, Ecclesiasticall and Civill. London, 1651 (французский перевод: Léviathan. Traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la république ecclésiastique et civil. Paris: Sirey, 1971). Латинский перевод текста, который был фактически его новой версией, появился в Амстердаме в 1668 г.

[2] М. Фуко делает здесь намек на знаменитый фронтиспис издания «Левиафана», так называемого head edition (см. прим. 1), появившегося у Эндрю Крука, фронтиспис, на котором изображено «тело» государства, составленное из его подданных, а голова представляет суверена, который в одной руке держит шпагу, а в другой — жезл. Наверху основные атрибуты двух властей — гражданской и церковной.

[3] *Reich W.* Der Einbruch der Sexualmoral. Op. cit.

[4] *Reich R.* Sexualität und Klassenkamp; zur Abwehr repressiver Entsublimierung. Frankfurt a. Main: Verlag Neue Kritik, 1968 (французский перевод: Sexualité et Lutte de classes. Paris: Maspero, 1969).

[5] Речь идет о «наполеоновских кодексах»: Гражданском кодексе (1804 г.), уголовно-процессуальном кодексе (1808 г.) и Уголовном кодексе (1810 г.).

Лекция от 21 января 1976 г.

Теория суверенитета и механизмы господства. — Война как принципы анализа властных отношений. — Бинарная структура общества. — Историко-политический дискурс, дискурс вечной войны. — Диалектика и ее кодификации. — Дискурс расовой борьбы и его превращения.

В последний раз мы распрощались с теорией суверенитета, поскольку она может или могла представляться методом анализа властных отношений. Я хотел вам показать, что юридическая модель суверенитета не была, по моему мнению, приспособлена к конкретному анализу многообразных отношений власти. Мне на самом деле кажется, если резюмировать все это в нескольких словах, точнее в трех положениях, что теория суверенитета обязательно ведет к возникновению того, что я бы назвал движением по кругу, движением от субъекта к субъекту, она свидетельствует о том, как субъект, рассматриваемый в качестве индивида, естественным путем (от природы) наделенного правами, способностями и т. д., может и должен стать субъектом, но на этот раз понимаемым в качестве подчиненного элемента в системе власти. Итак, во-первых, теория суверенитета рассматривает отношение субъекта к субъекту, она устанавливает политическое отношение субъекта к субъекту. Второй момент политической теории суверенитета связан изначально с тем, что она выделяет множественность властей, которые не являются властями в политическом смысле слова, а представляют просто способности, возможности, силы, она может их конституировать в качестве властей в политическом смысле слова только при условии, что между возможностями

и властями будет установлено прочное и основополагающее единство, единство власти. Неважно, будет ли это единство воплощено в образе монарха или государства; важно, что в нем берут начало различные формы, аспекты, механизмы и институты власти. Множественность властей, толкуемых в качестве политических властей, может быть установлена и может функционировать только исходя из единства власти, основанной на теории суверенитета. Наконец, в-третьих, теория суверенитета показывает, стремится показать, каким образом власть может основываться не на законе в точном смысле слова, а на некоей фундаментальной легитимности, более фундаментальной, чем все законы, которая является своего рода основоположением для всех законов и делает возможным функционирование различных законов в качестве таковых. Иначе говоря, теория суверенитета предполагает кругообразное движение от субъекта к субъекту, кругообразность власти и властей, кругообразность законности и закона. Можно сказать, что так или иначе — и, очевидно, в соответствии с различными теоретическими схемами, в которых она развивается, — теория суверенитета исходит из понятия субъекта; она служит для обоснования сущностного единства власти и применяется всегда в сфере, предваряющей появление закона. Таким образом, мы имеем троицу «первоначал»: стремление субъекта к подчинению, основание единства власти и уважение к законности. Субъект, единство власти и закон — таковы, я думаю, основные элементы теории суверенитета, одновременно ей данные и с ее помощью обосновываемые. Мой план — но я его сейчас оставляю — состоял в том, чтобы показать вам, каким образом понятие «репрессия», которым пользовались при политико-психологическом анализе в течение трех или уже почти четырех веков, хотя понятие «репрессия» кажется скорее заимствованным из фрейдизма или из фрейдо-марксизма, фактически служило составной частью расшифровки власти, которая основывалась на принципе суверенитета. Но это привело бы нас к тому, чтобы вернуться к вещам уже сказанным, поэтому я сделаю это в конце года, если останется время.

Общий проект предшествующих лет и этого года состоял в том, чтобы разомкнуть круг и освободить анализ власти от этого

предварительного условия троичности субъекта, единства и закона и заставить проявиться не столько эту основу суверенитета, сколько то, что я назвал бы отношениями или механизмами господства. Вместо того чтобы выводить власть из суверенитета, прежде нужно было бы с помощью исторических и эмпирических исследований раскрыть отношения власти, механизмы господства. Когда речь заходит о теории и формах господства, а не о теории суверенитета, то имеется в виду следующее: во-первых, нужно исходить не из субъекта (или даже субъектов) и не из тех элементов, которые бы предваряли отношения господства и которые можно было бы локализовать, а из самого отношения власти, отношения господства в его фактических, реальных проявлениях, показывая, как само это отношение определяет связанные с ним элементы. Таким образом, не стоит спрашивать у субъектов, как, почему, во имя какого права они позволяют поработить себя, а нужно показать, как эти кабальные отношения в реальности создают субъектов. Во-вторых, нужно выделить отношения господства и оценить их во всем многообразии, различии, специфике или взаимообратимости: не следует поэтому искать особый род суверенитета, выступающий в качестве источника разных властей; напротив, нужно показать, как различные механизмы господства опираются друг на друга, отсылают друг к другу, в некоторых случаях усиливают друг друга и сближаются, в других случаях — отрицают и стремятся уничтожить друг друга. Я, конечно, не хочу сказать, что нельзя или невозможно распознать или описать глобальные механизмы власти. Но я думаю, что последние всегда функционируют на базе более конкретных систем господства. Можно, конечно, точно описать школьный механизм или совокупность механизмов обучения в определенном обществе, но я думаю, что можно их эффективно проанализировать, только если не видеть в них глобального единства, не пытаться прямо вывести их из чего-то вроде государственного единства суверенитета, только если смотреть, как они действуют, опираются друг на друга, как этот механизм определяет некоторые глобальные стратегии, только если исходить из многообразия форм подчинения (ребенка взрослому, потомства родителям, несведущего ученому, ученика учителю, семьи администрации и т. д.). Таковы механизмы и устройство господ-

ства, составляющие реальную основу глобального механизма, который конституирует школу. Итак, следует рассматривать структуры власти как глобальные стратегии, которые пересекают локальные формы тактики господства и используют их.

Наконец, в-третьих, следует пояснить, что значит фраза о необходимости отношения господства выделять раньше, чем истоки суверенитета: она означает, что не надо пытаться проследить отношения господства в свете основополагающей легитимности, а надо, напротив, искать обеспечивающие их технические инструменты. Итак, если резюмировать сказанное не с тем, чтобы закрыть вопрос, по крайней мере пока, а чтобы сделать его немного яснее, скажем: прежде чем рассматривать исходную троичность закона, единства и субъекта — это делает из суверенной воли источник власти и основу институтов, нужно, я думаю, исходить из троичности соответствующих техник, из их гетерогенности и вытекающих из них форм подчинения, что делает из способов господства реальную сеть отношений власти и основу глобальных механизмов власти. Главная тема — не генезис суверена, а производство субъектов. Но если ясно, что именно изучение отношений господства прокладывает путь к анализу власти, то возникает вопрос, как можно осуществить анализ отношений господства? Если верно, что именно не суверенитет, а господство или, вернее, формы господства, устройство господства в целом нужно изучать, то как можно двигаться вперед по этому пути исследования отношений господства? Могут ли отношения господства вновь привести к понятию соотношения сил или удовлетвориться им? Могут ли и каким образом силовые отношения сводятся к отношениям, складывающимся во время войны?

Вот какой предварительный вопрос я хотел бы немного рассмотреть в этом году: может ли война реально иметь значение для анализа властных отношений и служить матрицей техники господства? Вы мне скажете, что нельзя изначально смешивать рассматриваемое соотношение сил с отношениями воюющих сторон. Но можно смотреть на войну как на своего рода экстремальный случай, поскольку война представляется просто сферой максимального напряжения, обнаженности силовых отношений. Является ли в основе своей властное отношение отношением столкновения, борьбы насмерть, войны?

Следует ли понимать и рассматривать мир, порядок, власть, спокойную систему субординаций, государство, государственные механизмы, законы как своего рода первичную и постоянную войну? Именно этот вопрос я хотел бы сразу поставить, признавая при этом и значение других вопросов, которые нужно ставить и которые я попытаюсь рассмотреть в последующие годы, из них можно для ориентировки просто назвать следующие: может ли и должен ли в реальности факт войны считаться первым при объяснении других отношений (отношений неравенства, асимметрии, разделения труда, эксплуатации и т. д.)? Могут ли и должны ли феномены антагонизма, соперничества, противостояния, борьбы между индивидами или группами, классами быть снова перегруппированы в соответствии с тем общим механизмом и той общей формой, какой является война? И еще: могут ли понятия, связанные с тем, что называли в XVIII, XIX веках искусством войны (стратегия, тактика и т. д.), служить сами по себе подходящим и достаточным инструментарием для анализа отношений власти? Можно и нужно бы также спросить себя: являются ли военные институты и связанная с ними практика — говоря в целом, все способы, которые используются при ведении войны, — являются ли они, непосредственно или опосредованно, прямо или косвенно, ядром политических институтов? Наконец, первый вопрос, который я хотел бы изучить в этом году, заключается в следующем: как, с какого времени и почему начали чувствовать или думать, что за отношениями власти и в них скрывается именно война? С какого времени, как, почему вообразили, что своего рода непрерывная борьба составляет мир и что в конечном счете гражданское устройство — в своей основе, сути, основных механизмах — является типом борьбы? Кто вообразил, будто гражданский порядок тождествен битве? Кто разглядел войну сквозь мир; кто искал в грязи битв принцип разумного устройства государства, его институтов и его истории?

Именно этот вопрос я постараюсь немного разобрать на ближайших лекциях и, может быть, вплоть до конца этого года. По сути, можно бы поставить вопрос очень просто и, прежде всего так, как я его сам для себя сформулировал: «Кому по существу пришла идея перевернуть принцип Клаузевица, кто

сказал: очень возможно, что война это политика, проводимая другими средствами, но является ли политика войной, проводимой другими средствами?». Однако, я думаю, проблема состоит не столько в том, чтобы знать, кто перевернул принцип Клаузевица, сколько в том, чтобы знать, каков был принцип, который перевернул сам Клаузевиц, или, скорее, кто сформулировал принцип, который Клаузевиц перевернул, когда сказал: «Но в конечном счете война есть просто продолжение политики». Фактически, я думаю — и попытаюсь это доказать, — что принцип, согласно которому политика это война, продолженная другими средствами, существовал задолго до Клаузевица, а он просто перевернул подобие одновременно смутного и точного тезиса, который имел хождение начиная с XVII и XVIII веков.

Таким образом, политика это война, продолженная другими средствами. В этом тезисе — в самом его существовании задолго до Клаузевица — заключен род исторического парадокса. Действительно, схематично и несколько огрубленно можно сказать, что вместе с ростом и развитием государств в течение всего средневековья и на пороге современной эпохи мы наблюдали, как происходила очень заметная, явная эволюция практических форм и институтов войны, что можно охарактеризовать следующим образом: военные институты и соответствующая им практика все более и более концентрируются в руках центральной власти; мало-помалу устанавливается порядок, при котором на деле и по праву только государственная власть могла начинать войну и манипулировать инструментами войны: происходит, следовательно, этатизация войны. В силу этой этатизации одновременно оказываются уничтожены в обществе отношения между людьми, отношения между группами, которые можно было бы назвать повседневной войной, фактически «частной войной».

Все более войны, военная практика, военные институты начинают в некотором роде существовать только на границах, на внешних границах между большими государственными объединсниями как эффективное и грозное соотношение сил между государствами. И мало-помалу социальный организм оказывается целиком очищенным от этих агрессивных отношений, которые во времена средневековья существовали непосредственно внутри него.

В силу этатизации, в силу того, что война оказывалась деятельностью, осуществляемой за пределами государства, она становилась профессиональным делом тщательно отобранного и подлежащего контролю военного аппарата. Происходило, грубо говоря, становление армии, института, которого, по сути, не было в качестве такового в средние века. Только в конце средневековья можно видеть возникновение государства, наделенного военными институтами, пришедшими на смену повседневной, глобальной практике войны и обществу, пронизанному военными отношениями. К этой эволюции нужно будет вернуться; но я думаю, что можно согласиться с этой точкой зрения, приняв ее, по крайней мере, в качестве первой исторической гипотезы.

Однако где же парадокс? Парадокс возникает в момент отмеченной трансформации (или, может быть, вскоре после нее). Когда война была изгнана к границам государства, государства централизованного и одновременно вытесненного к границам, тогда возник особый, странный и новый дискурс. Новый, прежде всего, потому, что, я думаю, это был первый историко-политический дискурс об обществе и он очень отличался от до того привычного философско-юридического дискурса. Вновь появившийся историко-политический дискурс оказывается в то же время дискурсом о войне, понятой как постоянное социальное отношение, как неустранимая основа всех отношений и всех институтов власти. Но какова дата рождения историко-политического дискурса о войне как основе социальных отношений? Очень симптоматично — я попытаюсь это показать, — что он появился после окончания гражданских и религиозных войн XVI века. Он появился вовсе не как результат констатации или анализа гражданских войн XVI века. Зато он уже был если не конституирован, то, по крайней мере, ясно сформулирован в начале английских великих политических битв XVII века, в момент Английской буржуазной революции. Затем он появился во Франции в конце XVII века, в конце царствования Людовика XIV, в других политических битвах, можно сказать, в арьергардных битвах французской аристократии против установления великой абсолютной и административной монархии. Как вы видите, дискурс этот был явно двусмысленным, так как, с одной стороны, в Англии он служил одним из инструментов борьбы, полемики и политической органи-

зации буржуазных, мелкобуржуазных и в особых случаях народных объединений против абсолютной монархии. Он был также дискурсом аристократическим, направленным против той же самой монархии. Поэтому его носители имели часто никому не известные и в то же время очень разные имена, в Англии это были люди типа Эдварда Коука[1] или Джона Лилберна[2], представителей народных движений; во Франции он в равной мере связан с именами вроде Буленвилье,[3] Фрере[4] или дворянина Центрального Французского Массива, называвшего себя графом д'Эстеном.[5] Он был воспринят потом Сийесом[6], а также Буонарроти[7], Огюстеном Тьерри[8] или Куртс.[9] И в конце концов его можно встретить у биологов-расистов, у сторонников евгеники и прочих в конце XIX века. Это был усложненный, ученый, эрудированный дискурс, которого придерживались люди, привыкшие к пыли библиотек, но в то же время, как вы увидите, его, несомненно, придерживались многие безымянные представители народа. Каково было содержание этого дискурса? Я думаю, он состоял в следующем: в противовес философско-юридической теории в нем утверждалось, что политическая власть не возникает в результате прекращения войны. Принцип организации, юридической структуры власти, государств, монархий, обществ не возникает лишь тогда, когда прекращается бряцание оружия. Войну нельзя заклясть. Можно сказать наверняка, что война способствовала рождению государств: право, мир, законы замешаны на крови и грязи военных баталий. Речь идет не о воображаемых баталиях, о соперничестве, как склонны представлять дело философы и юристы: жестокость государственного правления не представляет собой теоретически выведенный постулат. Закон не рождается из природы, возле источников, посещаемых первыми пастухами; закон рождается из реальных битв, побед, убийств, завоеваний, которые имеют свою дату и своего ужасного героя; закон рождается из сожженных городов, опустошенных земель; закон рождается из агонии невинных младенцев, убиваемых при свете дня.

Но это не означает, что общество, закон и государство воплощают собой как бы состояние перемирия, заключенного в ходе войны или появившегося в результате победы. Закон — не способ перемирия, ибо в присутствии закона война продолжает

свирепствовать внутри всех, даже самых упорядоченных механизмов власти. Именно война является движущим стимулом институтов и порядка: даже малейшие проявления мира скрыто порождены войной. Иначе говоря, нужно раскрыть в мире присутствие войны: война — сам шифр мира. Таким образом, мы все находимся в состоянии войны по отношению друг к другу; фронт войны постоянно пронизывает все общество, и именно он определяет нашу принадлежность к тому или иному лагерю. Нет никого, кто оставался бы нейтральным. Поневоле каждый является противником другого. Структура общества оказывается бинарной. И вы увидите, как проявляется здесь нечто очень важное, к чему я попытаюсь позже вернуться. Описанию общества, как большой пирамиды, которое было дано в средние века или в философско-политических теориях, тому знаменитому образу организма или человеческого тела, которое дает Гоббс, или еще той, значимой для Франции (и до некоторой степени для ряда стран Европы) трехчленной (с тремя уровнями) организации, которая будет определять некоторые дискурсы и, во всяком случае, большинство институтов, всему этому противопоставляется — совсем не в первый раз, но в первый раз с такой точной нацеленностью на историю — бинарная концепция общества. Есть две группы, две категории индивидов, две противостоящие друг другу армии. И как раз тогда, когда нас с помощью умолчания, иллюзий, лжи пытаются уверить в существовании трехчленной структуры, пирамиды субординаций или организма, когда нас путем лжи пытаются уверить, что социальный организм управляется то ли природной необходимостью, то ли функциональными требованиями, нужно вновь увидеть, что в обществе продолжается война со всеми ее случайностями и перипетиями. Но почему нужно видеть в обществе войну? Потому что эта старая война [...] имеет перманентный характер. Мы в самом деле большие знатоки баталий, потому что война не закончена, решающие бои еще впереди, решающая битва за нами. Это значит, что наши враги продолжают нам угрожать и мы не можем завершить войну перемирием и восстановлением порядка, так как реальным завершением может стать только победа.

Вот первая, еще очень расплывчатая характеристика анализируемого дискурса. Я думаю, что достаточно сказанного,

чтобы понять его значение: он в западном обществе со времен средневековья является первым строго историко-политическим дискурсом. Прежде всего в силу того, что субъект этого дискурса — тот, кто говорит «я» или «мы», — не может и даже не стремится стать на позицию юриста или философа, то есть универсального субъекта, схватывающего общество в целом или нейтрального. Субъект историко-политического дискурса, который говорит, высказывает истину, рассказывает историю, к кому возвращается память, вынужден принять ту или другую сторону: он борется, у него есть противники, он действует ради определенной победы. Конечно, он придерживается дискурса права, он заставляет ценить право, он его требует. Но он требует и заставляет ценить «свои» права — «наши права», как он говорит: это права особые, несущие сильный отпечаток собственности, завоевания, победы, его натуры. Это право его семьи или расы, право его верховенства или первенства, право победоносных завоеваний и недавних или тысячелетней давности захватов. В любом случае это право укоренено в истории и не имеет отношения к юридической универсальности. И если субъект, говорящий о праве (или, скорее, о своих правах), говорит об истине, то эта истина также не является универсальной философской истиной. Этот дискурс о всеобщей войне, пытающийся раскрыть борьбу, происходящую в ситуации мира, имеет цель выразить всю совокупность событий как битву и воссоздать глобальный ход войны. Но он не становится в силу этого тотальным или нейтральным дискурсом; он всегда оказывается дискурсом перспективы. Он выражает целостность, только смутно ее замечая, проникая в нее, он заменяет ее своим собственным видением. То есть истина может раскрыться, только исходя из борьбы, искомой победы, в некотором роде на пределе выживания самого говорящего субъекта.

Подобный дискурс устанавливает глубокую связь между силой и истиной. Это также означает, что связь истины и мира, истины и нейтральности, ее близость к той срединной позиции, относительно которой Жан-Пьер Вернан[10] показал, насколько она была значима для греческой философии, эта связь начиная, по крайней мере, с некоторого момента прекращается. В таком дискурсе истина проявляется тем лучше, чем четче она выражает позицию в борьбе. Именно принадлежность дискурса к опреде-

ленному лагерю, что можно обозначить как позицию, смещенную по отношению к центру, позволяет раскрыть истину, разоблачить иллюзии и заблуждения, с помощью которых враги заставляют вас верить в то, что вы находитесь в упорядоченном и мирном обществе. «Чем более я отдаляюсь от центра, тем лучше вижу истину; чем более я делаю акцент на силовых отношениях, чем более я борюсь, тем более эффективно раскрывается передо мной истина, она раскрывается в ситуации борьбы, выживания или победы.» И наоборот, если силовые отношения помогают раскрыть истину, истина в свою очередь ведет к действию и она в конечном счете отыскивается в той мере, в какой может быть эффективным оружием в столкновении сил. Либо истина дает силу, либо она выводит из равновесия, увеличивает асимметрию и заставляет в конце концов победу склониться на какую-то одну сторону: истина прибавляет силу в той же мере, в какой она постигается, только исходя из соотношения сил. Сущностная принадлежность истины к силовым отношениям, к асимметрии, к децентрализации, к борьбе, к войне вписана в сам тип подобного дискурса. В нем содержится глубокое сомнение в отношении мирной универсальности, если не глубокое пренебрежение к ней, к той универсальности, которая всегда может, как это было в греческой философии, войти в философско-юридический дискурс.

Итак, имеется историко-политический дискурс — и именно поэтому он исторически укоренен и политически децентрирован, — который претендует на обладание истиной и правом, исходя из силовых отношений и с целью развития самих этих отношений, причем в результате говорящий субъект — субъект, говорящий о праве и ищущий истину, отлучается от юридически-философской универсальности. Роль того, кто говорит, не является ролью законодателя или философа, стоящего между борющимися лагерями, сторонника мира или перемирия, о такой позиции уже мечтал Солон и еще мечтал Кант[11]. Здесь речь идет совсем не о том, чтобы встать между противниками, оказаться в центре или над ними, предложить каждому общий закон и основать примиряющий всех порядок. Речь идет скорее о том, чтобы показать право, пораженное асимметрией, указать связь истины с силой, выявить истину-оружие и особое право. Субъекта, который говорит, я не назвал бы даже

полемизирующим, это воюющий субъект. Такова одна из важных особенностей характеризуемого дискурса, которая, вероятно, уже разрушает практиковавшийся в течение тысячелетий, более чем в одном тысячелетии, дискурс об истине и законе.

Вторая особенность этого дискурса состоит в том, что он перевертывает ценности, нарушает равновесие, меняет традиционные полюса интеллекта и постулирует необходимость объяснения снизу, призывает к этому. Но взгляд снизу, разумеется, не является ясным и простым. Объяснение, начинающее снизу, отталкивается от самого смутного, темного, неупорядоченного, подверженного случайностям; и то, что должно служить принципом объяснения общества и его видимого порядка, представляет собой смесь насилия, страстей, ненависти, гнева, злобы, горечи; это также тьма случайностей, совпадений, незначительных обстоятельств, которые приводят к поражению и обеспечивают победу. Подобный дискурс по существу обращается к немногословному богу баталий, чтобы объяснить долгие периоды порядка, труда, мира, справедливости. Именно ярость лежит в основе спокойствия и порядка.

Что это означает для исследования истории?* Прежде всего необходимость внимания к грубым фактам, их можно было бы уже назвать физико-биологическими: это физическая мощь, сила, энергия, размножение расы, слабость другого и т. д.; кроме того, это ряд случайностей, совпадений как условие поражений, побед, крушения или успеха восстаний, удачи или неудачи объединений или союзов; наконец, это связь психологических и моральных элементов (храбрость, страх, презрение, ненависть, забвение и т. д.). Согласно данному дискурсу, именно взаимодействие физических сил, страстей и случайностей составляет постоянную основу истории и разных обществ. И именно на основе сил, случайностей и страстей, всей этой массы и ее темного и иногда кровавого шевеления, выстраивается нечто хрупкое и поверхностное, возрастающая рациональность расчетов, стратегий, хитростей; рациональность технических приемов, служащих для удержания победы, для того, чтобы, по видимости, заставить замолчать войну, чтобы сохранить или изменить соотношение сил. Подобная рациональность, по мере

---

*В рукописи после слова «истории» стоит «и права».

того как ее носители подымаются наверх и по мере того как она развивается, становится по сути все более и более абстрактной, все более и более хрупкой и иллюзорной и все более связанной с хитростью и злобой тех, у кого больше нет надобности, чтобы вести открытую борьбу, так как он является победителем и ему благоприятствуют отношения господства.

Таким образом, эта объяснительная схема строится по восходящей линии, которая указывает на ценности, весьма, как я думаю, нетрадиционные. Внизу эта линия связана с глубинной и постоянной иррациональностью, иррациональностью грубой и обнаженной, но в ней коренится истина; и затем, в выше расположенных ее частях возникает хрупкая, непостоянная рациональность, всегда компромиссная и связанная с иллюзией и посредственностью. Разум — это область химеры, хитрости, ничтожества; по другую сторону или на другом конце линии существует элементарная грубость: совокупность поступков, действий, страстей, циничная и обнаженная ярость; здесь царит грубость, но она связана с истиной. Итак, истина связана с неразумием и грубостью; зато разум предрасположен к химерам и к посредственности: следовательно, все оказывается противоположным ранее существовавшему дискурсу о праве и истории. Объяснительная схема последнего состояла в том, чтобы отделить глубинную, постоянную, по своей сущности связанную со справедливостью и благом рациональность от всех поверхностных и насильственных актов, базирующихся на заблуждении. Это означало полное изменение точек отсчета при объяснении закона и истории.

Третья особенность того типа дискурса, который я хотел бы немного проанализировать в этом году, заключается, как вы видите, в том, что он целиком развивается в историческом измерении. Он разворачивается в истории, которая не имеет никаких краев, окончаний, границ. В таком дискурсе история не рассматривается как тусклая размытая данность, которую нужно заново организовать на основе некоторого числа стабильных и основополагающих принципов; его задачей не является осуждение несправедливых правительств, злоупотреблений и насилий в ходе сопоставления их с некоей идеальной схемой (говорит ли она о естественном законе, воле Бога, основополагающих принципах и т. д.). Напротив, он ориентирован на то, чтобы за формами установленной справедливости,

навязанного порядка, принятых институтов обнаружить и описать забытое прошлое реальных битв, действительных побед, поражений, которые, может быть, до того были замаскированы, но наложили все же глубокую печать на настоящее. Речь идет о том, чтобы вновь увидеть кровавую основу действующих кодексов, а не о том, чтобы обнаружить за мимолетностью истории абсолютность права: нужно не сопоставлять относительность истории с абсолютностью закона или истины, а вновь обрести за стабильностью права бесконечность истории, за формулой закона — крики войны, за равновесием справедливости — асимметрию сил. Рассматриваемый дискурс принадлежит к области исторического, которую нельзя даже назвать областью относительного, ибо она не находится в связи с чем-то абсолютным, история — это бесконечность, которая в некотором роде лишена относительности, бесконечность вечного ее растворения в механизмах и событиях, олицетворяющих силу, власть и войну.

Вы мне скажете — и в этом, я думаю, еще одна причина значимости рассматриваемого дискурса, — что это, конечно, удручающий и мрачный дискурс, предназначенный, может быть, для ностальгирующих аристократов или посетителей библиотек. Действительно, с самого начала и вплоть до более поздних периодов, в XIX и даже еще в XX веках, он опирался на традиционные мифические формы и часто в них содержался. В нем одновременно совмещались утонченные знания и мифы, не скажу грубые, но фундаментальные, тяжеловесные и перегруженные историческими символами. В конечном счете становится понятно, как подобный дискурс мог сочетаться (и вы увидите, как он фактически сочетался) с большими мифологическими темами: [ушедшая эпоха великих предков, неизбежность новых времен и тысячелетние реванши, образование нового королевства, которое изгладит воспоминание о прежних поражениях].[12] В этих мифах говорится о том, как великие победы гигантов были мало-помалу забыты и вовсе скрыты; как наступили сумерки богов; как герои были ранены или убиты, а короли засыпали в недоступных пещерах. В них также присутствует тема о правах и владениях первой расы, поруганной хитроумными захватчиками; тема тайной войны, которая продолжается; тема заговора, который должен быть возобновлен с целью возрождения войны и изгнания захватчиков

или врагов; тема славной битвы, которая наступит утром завтрашнего дня и изменит, наконец, соотношение сил, и побежденные, зависимость которых продолжалась веками, станут победителями, не щадящими никого. Во времена средневековья и еще позже беспрестанно возрождалась связанная с этой темой вечной войны великая надежда на день реванша, ожидание императора минувших дней, *dux novus*, нового вождя, нового руководителя, нового *Фюрера*; идея пятой монархии, или третьей империи, или третьего *Рейха*, который одновременно будет и зверем из Апокалипсиса, и спасителем бедных. Это и возвращение Александра, сгинувшего в Индии; и столь долго ожидавшееся в Англии возвращение Эдуарда Исповедника; и Карл Великий, упокоившийся в своей гробнице, который пробудится, чтобы начать справедливую войну; и два Фридриха, Барбаросса и Фридрих II, которые дожидаются в пещерах возрождения своих народов и своих империй; и король Португалии, затерявшийся в песках Африки, который вернется для новой битвы, для новой войны и на этот раз для окончательной победы.

Итак, дискурс вечной войны не является только грустным изобретением нескольких интеллектуалов, которые долго находились на обочине. Мне кажется, что в обход великих философско-юридических систем этот дискурс прочно объединяет со знанием, принадлежащем иногда аристократам по происхождению, великие мифические импульсы, а также страсть народного реваншизма. В общем, этот дискурс является, может быть, первым исключительно историко-политическим дискурсом Запада в противоположность философско-юридическому дискурсу; он представляет дискурс, в котором истина явно выступает как оружие для победы только одной из борющихся сторон. Это дискурс мрачно-критический, но и в большой мере мифический: дискурс горечи [...] и самых безумных надежд. Он, таким образом, чужд великой традиции философско-юридических дискурсов. Для философов и юристов он неизбежно остается внешним, чужим. Это даже не дискурс противника, так как они не дискутируют с ним. Такой принудительно дисквалифицированный дискурс можно и нужно держать на расстоянии именно потому, что его уничтожение является предварительным условием внедрения — сам процесс борьбы меж противниками, над ними — справедливого и пра-

вильного дискурса. Во всяком случае, дискурс, о котором я говорю, пристрастный дискурс войны и истории, мог фигурировать в греческую эпоху в форме хитроумного софистического дискурса. И всегда он может быть разоблачен как дискурс пристрастного и наивного историка, дискурс ожесточенного политика, лишенного владений аристократа или как дискурс, выдвигающий необоснованные требования.

Однако этот дискурс, находящийся по существу в структурном отношении на обочине дискурса философов и юристов, начал, я думаю, свою карьеру или, возможно, новую карьеру на Западе в очень специфических условиях — между концом XVI века и серединой XVII века в ситуации двойной, народной и аристократической, борьбы с королевской властью. Исходя из этого, я думаю, что он широко распространился и что его распространение, вплоть до конца XIX века и в XX веке, было значительным и быстрым. Но не следовало бы думать, что диалектика представляет собой философское преобразование этого дискурса. Диалектика может на первый взгляд показаться дискурсом универсального и исторического развития противоречия и войны. Но я думаю, что она фактически вовсе не имеет силы его философского узаконения. Мне, напротив, кажется, что она скорее выполняла функцию захвата и перемещения рассматриваемого дискурса в старую область философско-юридического дискурса. По сути диалектика превращает борьбу, войну и столкновения в логику или так называемую логику противоречия; она их включает в двойной процесс развития тотального знания и обновления рациональности, которая одновременно является целевой, но связанной с сущностью вещей и во всяком случае необратимой. Наконец, диалектика прослеживает на основе рассмотрения всей истории и образование универсального субъекта, связной истины, права, в котором все партикулярности получили бы свое законное место. Гегелевская диалектика и, я думаю, все следующие за ней должны быть поняты — это я попытаюсь вам показать — как колонизация и авторитарное усмирение с помощью философии и права историко-политического дискурса, который был одновременно констатацией, провозглашением и практикой социальной войны. Диалектика колонизовала историко-политический дискурс, который самостоятельно развивался в Европе в течение веков, иногда приобретая громкое звучание, но часто в безвестности, иногда с помощью эрудиции, а иногда

вырастая из крови. Диалектика — это усмирение с помощью философии и, может быть, политического порядка горького и пристрастного дискурса глубинной войны. Вот в таких общих рамках я намерен немного рассмотреть в этом году историю этого дискурса.

Я хотел бы теперь сказать вам, как следует проводить это исследование и до какого пункта. Сначала надо устранить некоторое число ложных сопоставлений, употребляемых обычно при характеристике историко-политического дискурса. Ибо, как только начинают думать об отношении власть—война, власть—силовые отношения, то на ум тотчас приходят два имени: Макиавелли и Гоббс. Я хотел бы вам показать, что рассматриваемый дискурс не имеет с ними ничего общего, что фактически историко-политический дискурс не является и не может быть политическим дискурсом государя[13] и, конечно, дискурсом абсолютного суверенитета; что подобный дискурс может рассматривать государя только как иллюзию, инструмент, или еще лучше, как врага. По сути этот дискурс отрубает голову королю, во всех случаях освобождается от суверена и разоблачает его. Устранив эти фальшивые сближения, я хотел бы остановиться на вопросе о появлении этого дискурса. Мне кажется, что нужно попытаться отнести его к XVII веку, когда сформировались его важные черты. Прежде всего отмечу, что рождение этого дискурса происходило в двух местах: с одной стороны, он появляется примерно к 1630 г. в предреволюционной и революционной Англии в народных или мелкобуржуазных требованиях, это дискурс пуритан, дискурс левеллеров. Потом мы его находим пятьдесят лет спустя на противоположном берегу, во Франции в конце царствования Людовика XIV, где он также оказывается дискурсом борьбы против короля, выражением горечи аристократов. И затем, что важно, начиная с этой эпохи, то есть с XVII века, можно видеть, как идея, согласно которой война составляет постоянную основу истории, обретает четкую форму: война, которая ведется под видимостью порядка и мира, которая действует в нашем обществе и разделяет его надвое, это, по сути, война рас. Очень рано можно заметить те основные элементы, которые обусловливают войну и содействуют ее сохранению, продолжению и развитию: это этнические, языковые различия; различия в силе, мощи, энергии и насилии; различия в жестокости и варварстве; это

в целом завоевание и порабощение одной расы другой. Общество в основе своей держится на двух расах. Это и есть сформулированная начиная с XVII века идея, согласно которой общество всецело охвачено столкновением рас, она послужила матрицей всех будущих форм, с помощью которых позже будут выражать природу и механизмы социальной войны.

Отправляясь от теории рас или, скорее, от теории войны рас, я хотел бы проследить ее историю в эпоху французской революции и особенно в начале XIX века, когда она была развита Огюстеном Тьерри и Амадеем Тьерри, и посмотреть, какие два изменения она претерпела. С одной стороны, она примет открыто биологическую форму, что произойдет к тому же задолго до Дарвина при использовании дискурса, понятий, языка материалистической анатомо-физиологии. Она будет также опираться на филологию, в результате произойдет рождение расовой теории в историко-биологическом смысле слова. Эта теория еще очень двусмысленная, почти как в XVII веке, она основывается, во-первых, на национальных движениях в Европе и на борьбе национальностей против больших государственных систем (в основном, австрийской и русской); а во-вторых — на политике европейской колонизации. Вот первая трансформация — биологическая — теории постоянной борьбы и борьбы рас. Вторая трансформация произойдет в связи с выдвижением большой темы и соответствующей теории социальной войны, которая будет направлена на затушевание расового конфликта и выдвижение на первый план классовой борьбы. Таким образом, наблюдается существенное разветвление дискурса, которое я попытаюсь воссоздать путем анализа того, как представлены виды социальной борьбы в теории диалектики и тема столкновения рас в теории эволюционизма и борьбы за жизнь. Прослеживая особенно вторую из указанных ветвей — трансформацию в биологическом духе, — я попытаюсь показать все развитие биолого-социального расизма, выдвинув идею (которая является абсолютно новой и заставит дискурс функционировать совершенно иначе) о том, что, по сути, другая раса на самом деле не пришла откуда-то, она не является носительницей победы и установления господства в определенный период, она постоянно и непрерывно проникает в социальный организм или, скорее, она постоянно создается в социальной системе и из нее. Иначе говоря, то, что мы

воспринимаем как полярность, как бинарную структуру общества, не является столкновением двух внешних друг другу рас; это раздвоение одной и той же расы на сверхрасу и недорасу. Или можно еще сказать так: это повторное появление внутри расы ее собственного прошлого. Короче, проявление в самой расе ее оборотной и скрытой стороны.

Теперь мы можем сформулировать такое фундаментальное заключение: дискурс борьбы рас, который в момент своего появления и начала функционирования в XVII веке был, по существу, инструментом борьбы для противостоящих лагерей, оказывается в центре и становится дискурсом власти, власти центра, власти централизованной и централизующей; дискурсом борьбы, которая ведется не между двумя расами, а внутри данной расы как подлинной и единственной, борьбы тех, кто держит власть в своих руках и определяет норму, против тех, кто формируется через отношение к этой норме и представляет столько опасностей для биологического генотипа. В это время можно наблюдать все биолого-расистские дискурсы о вырождении, а также все институты, которые заставляют функционировать внутри общества дискурс борьбы рас, включающий принцип вытеснения, сегрегации и в конечном счете нормализации общества. Поэтому дискурс, историю которого я хотел вам описать, вынужден отказаться от основной исходной формулировки, гласившей: «Мы должны защищаться против наших врагов, потому что фактически государственный аппарат, закон, структуры власти не только не защищают нас от врагов, а становятся инструментами, с помощью которых наши враги нас преследуют и порабощают». Такой дискурс теперь исчезает. Больше не говорят: «Мы защищаемся от общества», а говорят: «Мы защищаем общество от всех биологических опасностей другой расы, этой под-расы, контр-расы, которую мы, вопреки себе, создаем.». В таком случае расистская тематика превращается из инструмента борьбы одной социальной группы против другой в оружие глобальной стратегии социального консерватизма. Появляется, что парадоксально по отношению к конечным целям и первой форме того дискурса, о котором я вам рассказывал, государственный расизм: расизм, который общество использует внутри себя самого, в отношении своих собственных элементов, своих собственных порождений; внутренний расизм, расизм постоянного очищения, который является од-

ним из основных элементов социальной нормализации. Поэтому в этот год я хотел бы немножечко рассмотреть историю дискурса борьбы и войны рас, начиная с XVII века и доводя его до появления государственного расизма в начале XX века.

Примечания

[1] Основные труды Е. Коука следующие: A Book of Entries. London, 1614; Commentaries on Littleton. London, 1628; A Treatise of Bail and Mainprise. London, 1635; Institutes of the Laws of England. London, I, 1628; II, 1642; III—IV, 1644; Reports. London, I—XI, 1600—1615; XII, 1656; XIII, 1659. О Коуке см. *ниже*, лекция от 4 февраля.

[2] О Дж. Лилберне см. там же.

[3] О Х. де Буленвилье см. *ниже*, лекции от 11, 18 и 25 февраля.

[4] Бóльшая часть работ Н. Фрере впервые была опубликована в «Мемуарах Академии наук». Потом они были собраны в «Полное собрание сочинений». Париж, 1796—1799. 20 томов. См. среди прочих: «De l'origine des Français et de leur établissement dans la Gaule» (t. V); «Recherches histoiriques sur les mœurs et le gouvernement des Français, dans les divers temps de la monarchie» (t. VI); «Réflexions sur l'étude des anciennes histoires et sur le degré de certitude de leurs preuves» (t. VI); «Vues générales sur l'origine et sur le mélange des anciennes nations et sur la manière d'en étudier l'histoire» (t. XVIII); «Observations sur les Mérovingiens» (t. XX). О Фрере см. *ниже*, лекция от 18 февраля.

[5] Joachim comte d'Estaing. Dissertation sur la noblesse d'extraction et sur les origines des fiefs, des surnoms et des armoiries. Paris,1690.

[6] М. Фуко в своей лекции от 10 марта (*ниже*) опирался в основном на работу Э.Ж. Сийеса «Что такое третье сословие?», ч. 1, 1789 (см. переиздания этого текста: Париж, PUF,1982 и Фламмарион, 1988).

[7] См. *Buonarroti F.* Conspiration pour l'égalité, dite de Babeuf, suivie du procès auquel elle donna lieu et des pièces justificatives. Bruxelles, 1828. 2 vol. (русское издание: *Буонарроти Ф.* Заговор во имя равенства. Т. 1—2. М., 1963).

[8] Исторические работы О. Тьерри, к которым М. Фуко обращается особенно в лекции от 10 марта (*ниже*): Vues des révolutions d'Angleterre. Paris, 1817; Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands, de ses causes et de ses suites jusqu à nos jours. Paris, 1825 (русское издание: История завоевания Англии нормандцами, с изложением причин и последствий этого завоевания вплоть до наших дней. СПб., 1859;

Lettres sur l'histoire de France pour servir d'introduction à l'étude de cette histoire. Paris, 1827; Dix ans d'études historiques. Paris, 1834; Récits des temps mérovingiens, précédés de Considérations sur l'histoire de France. Paris, 1840; Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du Tiers-État. Paris, 1853.

[9] О В.А. Курте де л'Исль см. особенно: La Science politique fondée sur la science de l'homme. Paris, 1837.

[10] См. *Vernant J.-P.* Les Origines de la pensée grecque. Paris: PUF, 1965 (особенно главы VII и VIII); Mythe et Pensée chez les Grecs. Études de psychologie historique. Paris: La Découverte, 1965 (особенно главы III, IV, VII); Mythe et Société en Grèce ancienne. Paris: Seuil, 1974; *Vernan J.-P., Vidal-Naquet P.* Mythe et Tragédie en Grèce ancienne. Paris: La Découverte, 1972 (особенно главу III).

[11] Что касается Солона (см. особенно фрагмент 16, изд. Диль), мы отсылаем к анализу «меры», который М. Фуко дал в лекции в Коллеж де Франс в 1970—1971 гг., посвященной «Воле к знанию». Относительно Канта мы ограничимся отсылкой к «What Is Enlightenment?», «Qu'est-ce que les Lumières?» (в: Dits et Écrits, IV, N 339 и 351) и к его лекции от 27 мая 1978 г. во Французском философском обществе, опубликованной под названием «Что такое критика?» (Bulletin de la Société française de Philosophie. 1990. Avr.-juin. P. 35—63). О Канте см.: «Zum ewigen Frieden; ein philosophischer Enwurf». (Königsberg, 1795; см. особенно второе издание 1796 г.) : Werke in zwölf Bänden. Frankfurt a. Main: Insel Verlag, 1968. Vol. XI. P. 191—251; Der Streit der Fakultäten in drei Abschnitten. (Königsberg,1798), ibid., p. 261—393 (французский перевод: Projet de paix perpétuelle et Le Conflit des facultés. В: *Kant E.* Œuvres philosophiques. Paris: Gallimard / Bibliotheque de la Pléiade, vol. III, 1986). Фуко располагал полным собранием сочинений Канта в издании Эрнста Кассирера (Берлин: Бруно Кассирер, 1912—1922) и томом Эрнста Кассирера: Kants Leben und Lehre (Berlin, 1921).

[12] По Заключению к Курсу 1975—1976 гг. в Коллеж де Франс (в: Dits et Écrits, III, N 187 и др.).

[13] О Макиавелли см. в Курсе 1977—1978 в Коллеж де Франс: «Безопасность, территория и население». Лекция от 1 февраля 1978 г. («Система 'правления'»); см. также «'Omnes et singulatim': Toward a Criticism of Political Reason» (1981 г.) и «The Political Technology of Individuals» (1982 г.) (в: Dits et Écrits, III, N 239; IV, N 291 и 364).

[14] Об Огюстене Тьерри см. *выше*, прим. 8. Из трудов Амедея Тьерри см.: История галлов от самых давних времен до полного подчинения Галлии римскому господству. Париж, 1828; История Галлии во времена римской администрации. Париж, 1840—1847.

Лекция от 28 января 1976 г.

Исторический дискурс и его сторонники. — Контристория борьбы рас. — Римская история и история библейская. — Революционный дискурс. — Зарождение и трансформации расизма. — Чистота расы и государственный расизм: нацистская и советская трансформации.

Вы могли подумать, что в последний раз я принялся за историю и прославление расистского дискурса. Вы не совсем ошиблись, за одним исключением: я хотел прославить и исследовать вовсе не расистский дискурс, а, скорее, дискурс расовых войн и борьбы. Я думаю, что нужно сохранить выражение «расизм» или «расистский дискурс» применительно к тому, что было в своей основе только особой и локализованной формой большого дискурса о войне или о борьбе рас. По правде говоря, расистский дискурс был в любом случае только эпизодом, одной фазой, поворотом, повторением в конце XIX века дискурса о войне рас, повторением уже векового к этому времени дискурса в социобиологических терминах и, по существу, в интересах социального консерватизма, а иногда в целях колониального господства. Я это говорю с тем, чтобы выявить одновременно и связь, и различие между расистским дискурсом и дискурсом войны рас, я хотел прославить именно дискурс расовой войны. Прославить в том смысле, что я хотел бы вам показать, как, по крайней мере в течение некоторого времени, то есть вплоть до конца XIX века, вплоть до момента, когда он превратился в расистский дискурс, дискурс войны рас функционировал как контристория. Сегодня я хотел бы вам рассказать о функции контристории.

Мне кажется возможным сказать, вероятно, немного поспешно или схематично, но в целом по существу довольно верно, что исторический дискурс, дискурс историков, который состоял в рассказе об истории, долгое время оставался таким, каким он был, должно быть, в античности и еще в средневековье: он был приближен к ритуалам власти. Исторический дискурс можно было бы понять как род письменной или устной церемонии, целями которой в действительности должны быть оправдание власти и одновременно ее укрепление. В самом деле, традиционная функция истории, начиная с первых римских аналитиков[1] и позднее, вплоть до средневековья и, может быть, до XVII века и еще позже, состояла в том, чтобы говорить о праве власти и усиливать ее славу. Ее роль была двойной: с одной стороны, говоря об истории, истории королей, сильных мира сего, суверенов и об их победах (или, возможно, об их временных поражениях), имели в виду юридически прикрепить людей к власти, которая своим существованием подтверждает всю законность и историческую непрерывность, преемственность: привязать таким образом юридически людей к непрерывающейся власти и с помощью этой непрерывности. С другой стороны, их хотят ослепить крепостью ее славы, на деле едва поддерживаемой, ее высшими образцами и ее подвигами. Ярмо закона и блеск славы являются, как мне кажется, двумя гранями исторического дискурса, направленного на укрепление власти. История, так же как ритуалы, святыни, церемонии, легенды, является оператором, интенсификатором власти.

Можно отыскать двойную функцию исторического дискурса в трех традиционных его проявлениях в средние века. Представители его генеалогической ветви рассказывали о древности королевств, прославляли великих предков, отыскивали подвиги героических основателей империй и династий. Задача такой генеалогии состояла в доказательстве, что величие событий или людей прошлого может явиться порукой ценности настоящего, может превратить его ничтожность и будничность в нечто также героическое и справедливое. Генеалогическая линия истории, которую мы встречаем по существу в исторических рассказах о древних королевствах, о великих предках, предполагает повествование о древности права и тем самым доказательство непрерывного характера права суверена, а вследствие этого неискоренимости его силы и в настоящем;

и наконец, она стремится к укреплению власти королей и владык всей той славой, которая им предшествовала. Великие короли создают таким образом право последующих суверенов и переносят свой блеск на ничтожных своих потомков. Вот что можно было бы назвать генеалогической функцией исторического рассказа.

История выполняет также функцию памяти, которую можно обнаружить не в рассказах о древности и не в надежде на воскрешение старых королей и героев, а, напротив, в летописях и хрониках, которые пишутся день за днем, год за годом, регистрируя ход самой истории. Постоянная фиксация исторических событий летописцами тоже служит укреплению власти. Она также представляет своеобразный ритуал власти: она показывает, что деяния суверенов и королей никогда не являются ничтожными, бесполезными или мелкими, никогда не оказываются недостойными повествования. Все, что они делают, может и заслуживает быть рассказано и об этом нужно постоянно помнить, значит, малейший факт из королевской жизни, поступок короля можно и нужно превратить в сияние и подвиг; в то же время каждое его решение записывается и служит законом для подчиненных, оно обязательно и для его преемников. Таким образом, история помнит и в силу этого она вписывает поступки в дискурс, который удерживает и закрепляет малейшие факты в виде монумента, увековечивая их и делая из них своего рода безграничное настоящее. Наконец, третья функция истории, служащей для укрепления власти, заключается в том, что она вводит в обращение примеры для подражания. Пример — это живой или воскресший закон; он позволяет судить настоящее, подчинять его закону, более сильному, чем тот, который функционирует в настоящем. Пример — это своего рода слава, производящая закон, это закон, функционирующий в блеске имени. Именно увязывая закон и блеск имени, пример обретает силу и действует как точка опоры, как элемент, с помощью которых власть оказывается укрепленной.

В целом мне кажется, что различные формы истории, практиковавшиеся одинаково успешно и в условиях римской цивилизации, и в средневековых обществах, имеют две функции: привязывать и ослеплять, подчинять, заставляя признать обязанности и показывая славу силы. Итак, эти две функции очень

точно соответствуют двум аспектам власти, представленной в религиях, ритуалах, мифах, римских и вообще индоевропейских легендах. В индоевропейских представлениях о власти[2] всегда присутствуют два постоянно взаимосвязанных аспекта, два лика власти. С одной стороны, аспект юридический: власть привязывает с помощью принуждения, клятвы, обязательства, закона, и, с другой стороны, власть несет в себе магическую функцию, роль, магическую действенность: власть ослепляет, власть сковывает. Юпитер, в высшей степени представительный бог власти, бог первого ранга, выполняющий первейшую роль в индоевропейской тройственности, одновременно выступает и как бог связи, и как бог молнии. Итак, я думаю, что история, какой она была еще в средние века, с ее изысканиями в области древности, с ведущимися изо дня в день хрониками, с ее собранием запущенных в обращение примеров, постоянно порождает представление о власти, которое является не просто ее образом, а процедурой ее укрепления. История — это дискурс власти, дискурс обязанностей, с помощью которых власть подчиняет; это также дискурс сияния, с его помощью власть ослепляет, терроризирует, удерживает. Короче, связывая и удерживая, власть оказывается создателем и гарантом порядка; история, определенно, представляет дискурс, с помощью которого две обеспечивающие порядок функции укрепляются и становятся более действенными. Следовательно, вообще можно сказать, что история вплоть даже до наших времен была историей верховной власти, историей, разворачивающейся в измерении власти и в зависимости от нее. Это история «юпитеровская». В этом смысле история, существовавшая в средние века, была еще прямым продолжением римской истории, как ее излагали римляне, истории Тита Ливия[3] или первых летописцев. И не только из-за самой формы рассказа, не только по причине того, что историки средних веков никогда не видели различий, прерывности, разрывов между римской историей и своей, рассказываемой ими. Связь между историей, создававшейся в средние века, и историей, существовавшей в римском обществе, была еще глубже, поскольку исторический рассказ римлян, как и история в средние века, имел определенную политическую функцию, он служил именно ритуалом укрепления суверенной власти.

Такова, я думаю, хотя и очерченная грубо, основа, отправляясь от которой можно пытаться установить и охарактеризовать новую форму дискурса, который появляется как раз в самом конце средневековья, по правде говоря, даже в XVI и в начале XVII века. Исторический дискурс перестает быть дискурсом верховной власти, даже дискурсом расы, а становится дискурсом рас, их столкновения, борьбы, захватывающей нации и законы. В силу этого, я думаю, история становится абсолютно противоположна истории суверенитета, какой она была до того. Это первая познанная Западом неримская, антиримская история. Почему в сопоставлении с тем ритуалом суверенитета, о котором я вам только что говорил, она является неримской историей и даже контристорией? В силу определенных причин, которые, я думаю, легко выявляются. Прежде всего потому, что в этой истории рас и постоянного их столкновения, не обращая внимания на законы, проявляется или, скорее, исчезает скрытое отождествление народа с его монархом, нации с ее сувереном, которое установила история верховной власти, история властей. Отныне в новом типе дискурса и исторической практики власть больше не является связующим началом единства города, нации, государства. Власть получает особую функцию: она не связываст, она служит. И постулат, что история сильных мира сего *наверняка* включает историю маленьких людей, постулат, что история сильных развивается вместе с историей слабых, постепенно заменяется принципом гетерогенности: история одних не является историей других. Теперь обнаруживается или, во всяком случае, утверждается, что история побежденных после битвы при Гастингсе саксов не является историей победивших в той же битве нормандцев. Становится возможным понять, что победа одних оборачивается поражением других. Поэтому победу франков и Хлодвига, наоборот, можно интерпретировать как поражение галлоримлян, их закабаление и рабство. Все, что с точки зрения власти является правом, законом или обязанностью, новый дискурс способен, если встать на другую сторону, представить как злоупотребление, насилие, вымогательство. В результате крупные земельные владения феодалов и требуемые ими повинности могут предстать и могут быть разоблачены как акты насилия, конфискаций, грабежа, военной дани, насильно взи-

маемой с подчиненных народов. Вследствие этого великая форма всеобщего долга, силу которого укрепляла история, воспевая славу суверена, разрушается и закон, напротив, воспринимают как двуликую действительность: триумф одних оказывается подчинением других.

История, которая оборачивается в таком случае историей борьбы рас, олицетворяет контристорию. Но я думаю, что она является ею также в силу другого и еще более важного обстоятельства. Действительно, контристория не только способствует разложению единства суверенного принуждающего закона, она сверх того разрушает непрерывающийся свет славы. Она показывает, что свет славы — это знаменитое орудие власти — не только укрепляет, солидаризирует, сплачивает все общество и тем самым поддерживает порядок, он разделяет, освещает одну часть общества, а другую его часть оставляет в тени или даже в ночи. Родившаяся вместе с идеей борьбы рас контристория хочет говорить именно об этой теневой стороне, отталкиваясь от нее. Она хочет быть дискурсом тех, кто не имеет славы, или тех, кто ее потерял и находится, может быть временно, но, несомненно, надолго, в области темноты и безмолвия. Это превращает указанный дискурс — в отличие от непрерывной песни, увековечивающей власть, укрепляющей ее указанием на ее древность и генеалогию, — во внезапно вторгшуюся речь, в воззвание: «Мы не имеем за собой непрерывности, великой и славной генеалогии, с помощью которой закон и власть свидетельствуют о своих силе и блеске. Мы находимся в тени, мы не имеем прав и славы, и поэтому мы берем слово и начинаем рассказывать нашу историю.». Такая речь приближает этот тип дискурса не к поиску великой непрерывающейся, издавна существующей юриспруденции власти, а к своего рода пророческому разрыву. Поэтому новый дискурс оказывается близок к некоторым эпическим или мифическим, или религиозным формам, в которых, вместо рассказов о незапятнанной и незатуманенной славе суверена, говорится, напротив, о несчастье предков, о высылках и рабстве. Он ориентирован не столько на победы, сколько на поражения, вследствие которых люди надолго сгибаются, так что им остается ждать земли обетованной или осуществления старых обещаний, которые на деле восстановят и прежние права, и потерянную славу.

Вместе с новым дискурсом войны рас вырисовывается нечто, что приближается скорее к мифически-религиозной истории евреев, чем к политико-легендарной истории римлян. Мы оказываемся скорее на стороне Библии, чем на стороне Тита Ливия, скорее ближе к еврейско-библейской позиции, чем к позиции летописца, который день за днем ведет рассказ об истории и непрерывающейся славе власти. Я думаю, не нужно вообще никогда забывать, что Библия, начиная по меньшей мере со второй половины средних веков, была тем великим творением, в котором соединялись религиозные, моральные, политические возражения против власти королей и деспотизма церкви. Библия, как, впрочем, и частые обращения к библейским текстам, в большинстве случаев оказывалась возражением, критикой, дискурсом оппозиции. Иерусалим в средние века всегда служил для противостояния всем воскрешениям Вавилона; он всегда служил оружием против вечного Рима, Рима Цезарей, проливавшего на аренах кровь праведников. В средние века Иерусалим означал религиозное и политическое противостояния. Библия была оружием обездоленных и восставших, она была словом, которое подымается против закона и славы: против несправедливого закона королей и против безупречной славы Церкви. Поэтому мне не кажется удивительным, что в конце средневековья, в эпоху Реформации и Английской буржуазной революции, возник тип истории, в точности противоположной истории суверенов и королей — римской истории, — и что новая история опиралась на библейскую форму великого пророчества и обещания.

Таким образом, появившийся в тот момент исторический дискурс может рассматриваться как контристория, противоположная римской истории, в силу следующего соображения: функция памяти в новом историческом дискурсе совершенно изменила смысл. В истории римского типа память должна была по существу служить для увековечения определенных событий, то есть служить поддержкой закона и орудием постоянного усиления сияния существующей власти. Напротив, вновь появившаяся история хотела обнажить нечто, что было спрятано и спрятано не только потому, что им пренебрегали, но и потому, что его тщательно, обдуманно и злобно извращали и маскировали. По сути, новая история хотела показать, что

власть, всемогущие лица, короли, законы скрывали факт своего происхождения из случайностей и несправедливости баталий. Поэтому Вильгельм Завоеватель на деле не желал носить имя Завоевателя, ибо хотел всех заставить верить в то, что права, которыми он пользовался, акты насилия, которые он осуществил в отношении Англии, не были правами победителя. Он хотел казаться преемником законной династии, скрыть свое звание победителя, совсем как Хлодвиг, который прогуливался с грамотой, чтобы уверить всех, что своей королевской властью он обязан признанию некоего римского Цезаря. Несправедливые и представляющие интересы лишь отдельных слоев короли пытались заставить всех ценить себя, представляя себя защитниками блага всех; они хотели, чтобы говорили об их победах, но не хотели, чтобы стало известно, что их победы были поражением других, они предпочитали говорить о «нашем поражении». Таким образом, история выполнит свою роль, если покажет, что законы обманывают, короли маскируются, власть распространяет иллюзии, а историки лгут. Такая история была бы не историей непрерывности, а историей разрывов, разоблачения тайн, обнаружения хитрости, нового приобретения извращенного или спрятанного знания. Она была бы расшифровкой скрытой за семью печатями истины.

Наконец, я думаю, что история борьбы рас, появившаяся в XVI—XVII веках, является контристорией и в другом, одновременно более простом и элементарном, но и более значительном смысле. Дело в том, что далеко не будучи ритуалом, внутренне присущим практике, росту, усилению власти, история теперь оказывается не только критикой власти, но и атакой, и требованием. Власть несправедлива не потому, что она не следует своим самым высоким образцам, а просто потому, что она не наша. В этом смысле можно сказать, что новая история, как и старая, много говорит о праве в перипетиях времен. Но речь в ней идет не о том, чтобы основать величие и преемственность власти, всегда сохранявшей свои права, или показать, что власть находится там, где она есть, и что она всегда была там, где она теперь существует. Речь идет о том, чтобы потребовать непризнанных прав, то есть объявить войну с требованием прав. Исторический дискурс римского типа усмиряет общество, оправдывает власть, устанавливает поря-

док — или порядок трех сословий, — который конституирует общество. Напротив, дискурс, о котором я вам говорю, тот, который развился в конце XVI века и который можно назвать историческим дискурсом библейского типа, разделяет общество и говорит о справедливом праве только затем, чтобы объявить войну законам.

Я хотел бы теперь подвести итог и сформулировать определенный вывод. Нельзя ли сказать, что вплоть до конца средневековья и, может быть, еще позже существовала история— исторический дискурс и историческая практика, — которая была одним из крупных дискурсивных ритуалов верховной власти, последняя с его помощью появилась и конституировалась как унитарная, законная, беспрерывная и неопровержимая власть? Этой истории стала противостоять другая: контристория, история мрачного рабства, упадка, история пророчества и обета, история тайного знания, которое следовало вновь найти и разгадать, наконец, история обоюдного требования прав и войны. История римского типа была в основном вписана в индоевропейскую систему представления о власти и ее функционировании; она, несомненно, была связана с организацией трех сословий, выше которых находился суверен, и, следовательно, она была тесно связана с некоторой областью объектов и некоторым типом персонажей — с легендами о героях и королях, потому что она была двойным, магическим и юридическим, дискурсом о верховной власти. Такая история римского типа и с индоевропейскими функциями оказалась потеснена историей библейского, почти древнееврейского типа, которая с конца средневековья была дискурсом восстания и пророчества, знанием о необходимости резко поменять порядок вещей и призыв к этому. Новый дискурс связан уже не с тройственной социальной структурой, как исторический дискурс индоевропейских обществ, а с бинарным восприятием деления общества и людей: с одной стороны — одни, с другой — другие, неправые и праведники, хозяева и зависимые от них, богатые и бедные, могущественные и бессильные, захватчики земель и те, кто дрожит перед ними, деспоты и недовольный народ, те кто признает существующий закон, и те, кто стремится к будущему.

Именно в пору средневековья Петрарка поставил вопрос, который я нахожу удивительным и, во всяком случае, глубоким.

Он сказал: «Есть ли что-нибудь в истории, что не служило бы к восхвалению Рима?»[4]. Я думаю, что одним этим вопросом он сразу обрисовал историю в той форме, в какой она действительно существовала не только в римском, но и в том средневековом обществе, к которому принадлежал сам Петрарка. Через несколько веков после Петрарки появилась, родилась на Западе история, которая заключала в себе нечто иное, чем восхваление Рима, история, в которой речь, напротив, шла о том, чтобы разоблачить Рим как новый Вавилон, и о том, чтобы потребовать от Рима утерянные права Иерусалима. Родилась совсем другая форма истории, совсем другой исторический дискурс. Можно было бы сказать, что эта история является началом конца индоевропейской историчности, под этим я имею в виду определенный индоевропейский способ говорить об истории и воспринимать ее. В крайнем случае можно было бы сказать, что, когда рождается значительный дискурс об истории борьбы рас, античность заканчивается — под античностью я имею в виду то сознание непрерывности, которое переняло от античности средневековье. Средневековье, наверняка, игнорировало то, что оно было средневековьем. Но оно также игнорировало, если можно так сказать, то, что оно не было больше античностью. Рим еще присутствовал, функционировал в форме постоянного и актуального настоящего внутри средневековья. Рим еще воспринимался разделенным на тысячу дорог, пересекавших Европу, но все эти дороги считались ведущими в Рим. Не нужно забывать, что все политические, национальные (или преднациональные) истории, тогда писавшиеся, всегда брали в качестве отправной точки определенный троянский миф. Все европейские нации вели свое происхождение от времени падения Трои. Это означало, что все европейские нации, государства, все монархии претендовали быть сестрами Рима. Именно поэтому французская монархия считалась происходящей от Франка, английская монархия — от некоего Брута. Каждая из больших династий находила себе из числа сыновей Приама предков, которые обеспечивали ей генеалогическую родственную связь с древним Римом. И еще в XV веке султан Константинополя писал венецианскому дожу: «Но почему мы должны вести войну, ведь мы братья? Турки, как хорошо известно, вышли из пламени Трои и являются также потомками

Приама. Турки, как хорошо известно, являются потомками Турка, сына Приама, как Эней и как Франк.». Рим, стало быть, присутствует в сердцевине исторического сознания средневековья, и нет разрыва между Римом и теми бесчисленными королевствами, которые появились начиная с V—VI веков.

Таким образом, дискурс борьбы рас привел к разрыву, который выпроводил в другой мир то, что с тех пор стало восприниматься как античность: так появилось до того непризнанное сознание разрыва. Европейское сознание оказывается обращено на события, которые ранее воспринимались только как смутные превратности, глубоко не задевавшие великого единства, великой законности, великой ослепляющей силы Рима. Вырисовываются события, составлявшие подлинное начало европейских государств — начало кровавое, связанное с завоеванием: это нашествие франков, нашествия нормандцев. Появляется нечто, что индивидуализируется как «средние века» (и нужно ждать начала XVIII века, чтобы историческое сознание выделило тот феномен, который будет назван феодализмом). Появляются новые персонажи — франки, галлы, кельты; появляются также более масштабные персонажи — люди севера и юга; появляются господствующие и подчиненные, победители и побежденные. Именно они теперь попадают в центр исторического дискурса и их взаимоотношения составляют отныне главную точку отсчета. У Европы появляются воспоминания и предки, генеалогию которых она до того никогда не разрабатывала. Она принимает бинарное деление, которое до того игнорировала. Одновременно с помощью дискурса о борьбе рас и призыва к ее воскрешению конституируется совсем другое историческое сознание. В таком случае можно отождествить появление дискурсов о войне рас с совершенно другой организацией времени в сознании, практике и в самой политике Европы. Исходя из этого я хотел бы сделать некоторые замечания.

Во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что ошибочно было бы рассматривать дискурс борьбы рас принадлежащим целиком и на законном основании угнетенным слоям; ошибочно считать, что он был по существу, по крайней мере вначале, дискурсом порабощенных, дискурсом народа, историей, затребованной народом и говорящей через народ. Действительно,

нужно сейчас хорошо понять, что этот дискурс был наделен большой силой к распространению, большой способностью к метаморфозам, своего рода стратегической поливалентностью. Правда, его можно было наблюдать, может быть, прежде всего в эсхатологических темах или в мифах, которые сопровождали народные движения во второй половине средних веков. Но нужно заметить, что он очень скоро — тотчас — обнаружится в форме исторического познания, популярного романа или космобиологических спекуляций. Он долго был дискурсом оппозиции, различных групп оппозиции; он был, переходя очень быстро из одного состояния в другое, инструментом критики и борьбы против власти, будучи разделен, однако, между разными врагами этой власти или различными формами оппозиции к ней. Мы действительно видим, как он в различных формах обслуживает радикальную английскую мысль в период революции XVII века, а несколько лет спустя в едва измененном виде его будет использовать французская аристократическая реакция в борьбе против власти Людовика XIV. В начале XIX века он наверняка повлиял на постреволюционный проект — создать, наконец, историю, главным субъектом которой был бы народ.[5] Но несколько лет спустя вы его увидите на службе у тех, кто порочил колонизованные подрасы. Итак, ясна мобильность, поливалентность этого дискурса: его появление в конце средневековья не наложило на него достаточно заметного отпечатка, в силу чего он мог бы политически функционировать только в одном направлении.

Во-вторых, ясно, что в дискурсе, где стоит вопрос о войне рас и где термин «раса» появляется довольно рано, само слово «раса» не привязано к устойчивому биологическому смыслу. Между тем это слово не является совершенно неопределенным. В конечном счете оно обозначает некоторое историко-политическое расслоение, конечно, широкое и относительно устойчивое. Можно сказать, что в этом дискурсе действительно речь идет о двух расах, так как историю конструируют из двух групп, которые происходят из разных регионов; двух групп, которые не имеют, по крайней мере вначале, одного и того же языка и часто общей религии; двух групп, которые сформировали единство и политическое целое только ценой войн, нашествий, завоеваний, баталий, побед и поражений, короче, насилия; тут

мы видим связь, установленную только путем войны. Наконец, можно сказать, что есть две расы, если имеются две группы, которые, несмотря на их совместное проживание, не смешались по причине различий, асимметрий, преград, имеющих основу в привилегиях, обычаях и правах, в распределении богатств и в способе осуществления власти.

В-третьих, следует считать признанным существование двух больших морфологий, двух систем принципов, двух политических функций исторического дискурса. С одной стороны, римская история верховной власти, с другой — библейская история порабощения и изгнаний. Я не думаю, что различие между этими двумя историями было бы в точности различием между официальным дискурсом и, скажем, дискурсом неотесанным*, дискурсом, столь связанным с политическими императивами, что он оказывается не способным произвести знание. Фактически история, которая ставит перед собой задачи раскрыть тайны власти и ее демистифицировать, вырабатывает по меньшей мере столько же знания, сколько его вырабатывает история, стремящаяся укрепить великую непрерывающуюся законность власти. Я бы даже сказал, что большие разблокировки, то есть самые плодотворные моменты для конституирования исторического знания в Европе, почти можно приурочить к периодам своего рода взаимодействия, столкновения между историей верховной власти и историей войны рас: например, это происходило в начале XVII века в Англии, когда дискурс, повествующий о нашествиях и большой несправедливости нормандцев в борьбе с саксами, стал воздействовать на совсем другую историческую работу, которую юристы, монархически настроенные, были склонны предпринять, чтобы доказать непрекращающуюся историю королевской власти в Англии. Подобное перекрещивание двух исторических типов знания привело к бурному росту всего знания. Таким же образом, когда в конце XVII и в начале XVIII века французская знать стала изображать свою генеалогию не в виде непрерывной линии, а, напротив, в форме разрыва, утраты некогда приобретенных привилегий, которые она желала теперь возвратить,

---

*В рукописи вместо «официального» и «неотесанного» стоит «ученого» и «наивного».

все исторические изыскания в этом духе переплетались с историографией французской монархии, которую конституировал, заставил конституировать Людовик XIV; из этого возникло еще одно необыкновенное расширение исторического знания. И в начале XIX века можно отметить плодотворный момент: тогда дискурс народной истории, порабощения и закабаления народов, история галлов и франков, крестьян и третьего сословия, начал переплетаться с юридической историей режимов власти. Итак, можно зафиксировать, что в результате столкновения между историей верховной власти и историей борьбы рас происходит их постоянное взаимодействие и расширение области знания, его содержания.

И последнее: по причине этих взаимодействий или несмотря на них, я хочу встать именно на сторону библейской истории, во всяком случае, на стороне истории-требования, истории-восстания находится революционный дискурс — дискурс Англии XVII века и Франции и Европы — XIX века. Революционный дискурс, который пронизывает всю политику и всю западную историю вот уже более двух веков и который вдобавок по своему происхождению и содержанию в конечном счете очень загадочен, я думаю, не может быть отделен от появления и существования практики контристории. В конце концов, что бы могли означать, чем бы могли быть революционная идея и революционный проект без обнаружения асимметрий, нарушений равновесия, несправедливости и насилий, которые существуют вопреки законному порядку, в его глубине, с его помощью и благодаря ему? Чем были бы идея, практика, чем был бы проект революции без рассмотрения действительной войны, которая происходила и продолжает происходить в обществе, в то время как молчаливый порядок власти направлен на то, чтобы ее задушить и замаскировать? Чем были бы практика, проект и дискурс революции без воли вновь оживить эту войну с помощью точного исторического знания и без использования его в качестве оружия и тактического элемента в ходе действительно ведущейся войны? Что могли бы выразить революционный проект и соответствующий дискурс без некоторого видения конечного переворота в соотношении сил и определенного сдвига в использовании власти?

Содержание революционного дискурса, который не переставал воздействовать на Европу, по крайней мере с конца XVIII века, не сводилось только к расшифровке асимметрий, к призывам возобновить и оживить социальную войну, но это все же была его важная составная, именно она была сформирована, определена, утверждена и организована в той большой контристории, которая с конца средневековья говорила о борьбе рас. Не нужно в итоге забывать, что Маркс в конце жизни, в 1882 г., писал Энгельсу: «В отношении нашей классовой борьбы ты хорошо знаешь, где мы ее нашли: мы нашли ее у французских историков, когда они говорили о борьбе рас».[6] История революционного проекта и революционной практики, я думаю, неотделима от контристории, которая порвала с индоевропейской формой исторической практики, ориентированной на верховную власть; она неотделима от появления контристории, то есть истории рас, и от роли, сыгранной ею на Западе. Одним словом, можно было бы сказать, что в конце средневековья, в XVII и XVIII веках, мы ушли, начали уходить от общества, историческое сознание которого не вышло еще за рамки римского образца, то есть было сосредоточено на ритуалах верховной власти и ее мифах, и затем, что мы вошли в общество, скажем, современного типа (так как у нас нет других слов, а слово «современный» явно бессодержательно), общество, историческое сознание которого ориентировано не на верховную власть и проблему ее основания, а на революцию, ее обещания и пророчество будущего освобождения.

В свете сказанного, я думаю, понятно, как и почему этот дискурс смог стать в середине XIX века новой ставкой в общественной борьбе. Действительно, в тот момент, когда он [...] был в состоянии сместиться или преобразоваться, или превратиться в революционный дискурс, когда понятию борьбы рас предстояло быть замененным понятием классовой борьбы — и еще, когда я говорю «середина XIX века», это неточно, то была первая половина XIX века, так как подобное преобразование расовой борьбы в классовую было осуществлено [Тьером][7] — в тот, значит, момент, когда происходило это преобразование, было нормально, что с другой стороны были сделаны попытки снова закодировать старую контристорию в терминах теперь уже не классовой, а расовой борьбы, — причем, расы

теперь понимаются в биологическом и медицинском смысле слова. Поэтому в тот момент, когда формируется контристория революционного типа, начинает формироваться другая контристория, которая раздавит в биолого-медицинской перспективе представленное в этом дискурсе историческое измерение. Вы увидите, что именно так появляется настоящий расизм. Восприняв, преобразовав, но и извратив форму, направленность и саму функцию дискурса о борьбе рас, этот расизм заменит тему исторической войны — с ее сражениями, нашествиями, грабежами, победами и поражениями — биологической, постэволюционистской темой борьбы за жизнь. Нет больше сражений в военном смысле, а только борьба в биологическом смысле: различие биологических видов, селекция наиболее сильных, сохранение наилучше адаптированных рас и т. д. В то же время тема бинарного общества, разделенного на две расы, две группы, чуждые друг другу из-за языка, права и т. д., заменяется другой темой, темой биологически единого общества. Такому обществу может угрожать некоторое число гетерогенных элементов, но они не существенны для него, они не делят общественный организм, живое общество на две части, они в некотором роде второстепенны. Это будет увязано с идеей проникающих извне иностранцев, с темой отклоняющихся от нормы, составляющих побочный продукт такого общества. Наконец, тема государства, обязательно несправедливого в контристории рас, начинает трансформироваться в другую: государство не является инструментом в борьбе одной расы с другой, а есть и должно быть защитником целостности, превосходства и чистоты расы. Идея чистоты расы со всем тем, что она включает монистического, государственнического и биологического, стремится заменить собой идею борьбы рас.

Когда тема чистоты расы заменяет тему борьбы рас, тогда, я думаю, рождается расизм и начинает происходить преобразование контристории в биологический расизм. Расизм, таким образом, не случайно связан с антиреволюционным дискурсом и антиреволюционной политикой на Западе; это не просто дополнительное идеологическое сооружение, которое появится в определенный момент в рамках большого антиреволюционного проекта. В момент, когда дискурс борьбы рас трансформировался в революционный дискурс, расизм оказался

революционной мыслью, проектом, революционным пророчеством, повернутым в противоположном направлении, хотя происходил из того же самого корня, каким был дискурс борьбы рас. Расизм — это буквально революционный дискурс, но вывернутый наизнанку. Или еще можно было бы сказать так: если дискурс рас, борющихся рас, был оружием, направленным против историко-политического дискурса суверенитета римского типа, дискурс расы (расы в единственном числе) был способом повернуть это оружие, использовать его как нож в интересах законсервированной суверенности государства, блеск и сила которого теперь обеспечиваются не магико-юридическими ритуалами, а медико-нормализующей техникой. Преобразование осуществлялось путем перехода от закона к норме, от юридического к биологическому; путем перехода от множественности рас к единственности расы; ценой превращения освободительного проекта в заботу о чистоте расы суверенное государство вложило в свою собственную стратегию, приняло в расчет, заново использовало дискурс борьбы рас. Государство сделало из него таким образом императив защиты расы, альтернативу революционному проекту, заслон от этого проекта, который имел истоком старый дискурс борьбы, разоблачений, требований и обещаний.

Наконец, я хотел бы добавить еще кое-что. Расизм, конституировавшийся путем преобразования старого дискурса борьбы рас, создавший альтернативу революционному дискурсу, испытал в XX веке также две трансформации. Он появился в конце XIX века как расизм, который можно было бы назвать государственным: это биологический и централизованный расизм. Именно эта форма была если не модифицирована глубоко, то, по крайней мере, преобразована и в таком виде использована в специфических стратегиях в XX веке. Можно в основном выделить две из них. С одной стороны, нацистская трансформация впитала утвердившуюся в конце XIX века идею и практику государственного расизма, стремившегося поддерживать биологическую расу. Но эта форма расизма была перенята и преобразована в регрессивном духе, с тем чтобы ее внедрить в пророческий дискурс, в котором появилась некогда тема борьбы рас. Именно поэтому нацизм стремился использовать народную и почти всю средневековую мифологию, чтобы

вписать государственный расизм в идеологическо-мифическую структуру, похожую на идеологемы народной борьбы, которая в данный момент могла служить для обоснования и формулировки идеи расовой борьбы. И именно поэтому государственный расизм в нацистскую эпоху сопровождался множеством элементов и коннотаций, такими, например, как борьба германской расы, временно порабощенной победителями, европейскими державами, славянами, униженной Версальским договором и т. д. Он сопровождался также темой возврата героя, героев (пробуждение Фридриха и всех, кто был руководителями и *Фюрерами* нации); темой возрождения древней войны; веры в рождение нового *Рейха*, империи наших дней, призванной обеспечить тысячелетний триумф расы и неопровержимо подтвердить неизбежность апокалипсиса и последнего дня. Таково, значит, нацистское преобразование или пересадка, включение государственного расизма в легенду о воюющих расах.

Противоположностью нацистской трансформации является трансформация советского типа, которая осуществила в некотором роде обратное первой: трансформацию не драматическую и театральную, а скрытую, не имеющую легендарной драматургии, зато в больших масштабах «сциентистскую». Она состояла в повторении и обработке революционного дискурса социальной борьбы, который во многих своих элементах был порождением старого дискурса борьбы рас, в духе полицейского управления, обеспечивающего бесшумную гигиену упорядоченного общества. Если революционный дискурс направлен против классового врага, то расизм Советского государства выступал как борьба против своего рода биологической опасности. Кто теперь классовый враг? Это больной, отклоняющийся от нормы, безумный. Следовательно, оружие, некогда служившее борьбе против классового врага (оружием могла быть война или при случае диалектика и убеждение), теперь преобразуется в медицинскую полицию, которая уничтожает классового врага как врага расы. Итак, мы имеем, с одной стороны, нацистское вписывание государственного расизма в старую легенду о воюющих расах, а с другой — советское вписывание классовой борьбы в немые механизмы государственного расизма. И именно таким образом воинственная песня рас,

направленная против лжи законов и королей, песня, породившая в конечном счете первую форму революционного дискурса, стала административной прозой государства, которое защищает себя во имя сохранения чистоты социальной отчизны.

Вот слава и позор дискурса о борющихся расах. Я хотел вам показать дискурс, разом отделивший нас от ориентированного на верховную власть историко-юридического сознания и заставивший нас войти в другую форму истории, в другое время, в котором одновременно мечтают и знают, мечтают и понимают, когда вопрос о власти не может быть отделен от вопроса о порабощении, освобождении и независимости. Петрарка спрашивал себя: «Есть ли что-нибудь в истории, что бы не было похвалой Риму?». А мы — и это, конечно, характеризует наше историческое сознание и связано с появлением контристории, мы спрашиваем себя: «Есть ли что-нибудь в истории, что не было бы призывом к революции или страхом перед ней?». Я же просто добавлю к этому: «А если Рим снова победит революцию?».

После этих предварительных замечаний я постараюсь, начиная с ближайшей лекции, немного осветить историю дискурса рас в некоторых ее фазах в XVII веке, в начале XIX и в XX веке.

Примечания

[1]Слово *летописи* для римских писателей до Тита Ливия означало древние истории, которые они обрабатывали. *Летописи* — это примитивная форма истории, события в ней излагаются от года к году. *Annales maximi*, составленные Великим Жрецом, были изданы в 80 книгах в начале II века до новой эры.

[2]М. Фуко, естественно, имеет здесь в виду работы Ж. Дюмезиля, в особенности: Mitra Varuna. Essai sur deux représentations indo-européennes de la souveraineté. Paris: Gallimard, 1940. Mythe et Épopée. Paris: Gallimard, I:L'ideologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-européens. 1968; II: Types épiques indo- européens: un héros, un sorcier, un roi. 1971; III: Histoires romaines. 1973.

[3] *Tite-Live.* Ab Urbe condita libri (от нее нам остались книги I—X, XXI—XLV и половина пятой части).

[4] «Quid est enim aliud omnis historia quam romana laus?» (*Pétrarque.* Invectiva contra eum qui maledixit Italiae. 1373. Подчеркнем, что эта

фраза из Петрарки процитирована Е. Пановским в его работе: Renaissance and Renascenses in Western Art. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1960 (французский перевод: La Renaissance et ses avant-courriers dans l'art d'Occident. Paris: Flammarion, 1976. P. 26).

[5] От Минье до Мишле, кроме авторов, которых М. Фуко будет рассматривать в последующих лекциях.

[6] Речь должна бы идти в действительности о письме К. Маркса Ж. Вейдемейеру от 5 марта 1852 г., где Маркс, в частности, писал: «Наконец, на твоем месте я вообще указал бы господам демократам, что им следовало бы ознакомиться с самой буржуазной литературой, прежде чем осмелиться тявкать на литературу, противостоящую ей. Эти господа должны были бы, например, изучить исторические работы Тьерри, Гизо, Джона Уайда и др., чтобы уяснить себе прошлую "историю классов"» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Т. 28. С. 423). См. также письмо Маркса к Энгельсу от 27 июля 1854 г., где Тьерри определен как «'отец классовой борьбы' во французской историографии» (там же. С. 321). В рукописи М. Фуко пишет: «Еще в 1882 г. Маркс говорил Энгельсу: история революционного проекта и революционной практики неотделима от контристории рас и той роли, которую она сыграла в политической борьбе на Западе» (цитировано явно по памяти).*

[7] См. особенно: *Thiers A.* Histoire de la Révolution française. Paris, 1823—1827. 10 vol. (русское издание: *Тьер О.* История французской революции. СПб.; М., 1873—1877. 5 томов) и *Thiers A.* Histoire du Consulat et de l'Émpire. Paris, 1845—1862. 20 vol. (русское издание: *Тьер О.* История консульства и империи во Франции. СПб., 1846—1849. 5 томов).

---

*В русском издании писем Маркса к Энгельсу за 1882 г. такого места нет (*прим. перев.*).

Лекция от 4 февраля 1976 г.

Вопрос об антисемитизме. — Война и суверенитет по Гоббсу. — Дискурс о завоевании у роялистов, парламентариев и левеллеров в Англии. — Бинарная схема и политический историцизм. — Что хотел исключить Гоббс.

За одну или две недели я получил некоторое число вопросов и возражений, устных и письменных. Я хотел бы поспорить с вами, но здесь в этой обстановке это трудно. Однако вы в любом случае можете застать меня в моем кабинете, если хотите задать мне вопросы. Но среди полученных мною вопросов есть один, на который я хотел бы тотчас немного ответить, прежде всего потому, что он встречается несколько раз. Затем потому, что я, как мне казалось, уже заранее ответил на него, а теперь выясняется, что объяснения не были достаточно ясными. Мне говорят: «Можно ли датировать появление расизма XVI или XVII веками и связывать расизм только с проблемами суверенитета и государства, тогда как хорошо известно в конечном счете, что религиозный расизм (в частности, антисемитский расизм) существовал начиная со средних веков?». Я хотел бы в таком случае вернуться к тому, что не объяснил достаточно убедительно и ясно.

Я не ставил своей целью изложить здесь историю расизма в общем и традиционном смысле термина. Я не хотел представить ни историю того, чем могло быть на Западе осознание принадлежности к расе, ни историю обрядов и механизмов, с помощью которых пытались на Западе устранить, опозорить, физически разрушить расу. Проблема, которую я хотел раскрыть,

другая и не касается расизма и прежде всего проблемы рас. Речь идет — как всегда у меня — о том, чтобы понять, как появился на Западе определенный (критический, исторический и политический) анализ государства, его институтов и механизмов власти. Этот анализ осуществлялся в пределах бинарности: общество с этой точки зрения не представляет собой пирамиду уровней и иерархии, не составляет также целостного и унитарного организма, а делится на две не только совершенно различные, но и совершенно противоположные части. Существующее между двумя частями общества противостояние, воздействующее на государство, фактически является войной, непрерывной войной между ними, в которой государство оказывается не чем иным, как способом ведения этой войны в формах по видимости мирных. Исходя из этого, я надеялся показать, как указанный анализ явно выделяет и одновременно соединяет надежду на восстание или революцию, требование их и соответствующую политику. Вот основа моей проблемы, а не расизм.

Мне казалось исторически довольно оправданным, что такая форма политического анализа властных отношений (как отношений войны между двумя расами внутри общества) не пересекается, по крайней мере с первого взгляда, с религиозной проблемой. Этот анализ фактически формируется, начинает формироваться в конце XVI и в начале XVII века. Иначе говоря, деление на расы, восприятие войны рас предшествует понятиям социальной или классовой борьбы, но эта война совсем не тождественна расизму, скажем, религиозного типа. Я не говорил об антисемитизме, это верно. Я отчасти хотел это сделать в последний раз, когда давал беглый обзор темы борьбы рас, но мне не хватило времени. На этот счет, я думаю, можно сказать — но я к этому позже вернусь — следующее: в действительности антисемитизм как религиозная и расовая позиции не влиял достаточно прямо на социальные отношения, чтобы можно было его принимать в расчет в той истории до XIX века, о которой я вам рассказываю. Старый антисемитизм религиозного типа был использован в государственном расизме только в XIX веке, начиная с этого времени перед государством встал вопрос о том, чтобы выразить себя, начать функционировать и представлять себя хранителем целостности и чистоты

расы в противовес расе или расам, которые проникают в страну, порождают внутри нее вредоносные элементы, которые нужно изгнать по причинам одновременно политического и биологического характера. Именно в этот момент развивается антисемитизм, воспринимающий, использующий, заимствующий из старого антисемитизма его энергию и мифологию, которые до того не использовались в политическом анализе внутренней войны, социальной войны. В этот момент появились — и были описаны — евреи как раса, присутствующая в других расах, биологически опасный характер которой требует от государства некоторых механизмов недопущения и устранения. Стало быть, повторное использование в государственном расизме антисемитизма, имевшего, я думаю, другие основания, вызвало к жизни в XIX веке такие феномены, которые привели к наложению старых механизмов антисемитизма на критический и политический анализы борьбы рас внутри общества. Вот почему я не поставил ни проблему религиозного расизма, ни проблему антисемитизма в средневековье. Зато я попытаюсь рассказать об этом, когда приступлю к XIX веку. Еще раз повторяю, что я готов ответить на более определенные вопросы.

Сегодня я хотел бы рассмотреть, как война начала использоваться для анализа властных отношений в конце XVI и в начале XVII века. Есть имя, которое вспоминается сразу же: это Гоббс, который на первый взгляд кажется тем, кто увидел в военных отношениях основу и принцип отношений власти. При рождении большого механизма, составляющего государство, суверена, Левиафана, в основании его порядка, позади его мира, ниже уровня закона для Гоббса существует не просто война, а самая большая из всех войн, она присутствует в каждом мгновении общественной жизни и во всех ее измерениях: «война всех со всеми».[1] Войну всех со всеми Гоббс не просто приурочивает к рождению государства — к утру реального или воображаемого Левиафана, — он прослеживает ее, отмечает ее угрозу и рождение даже после установления государства, внутри него, на его границах и в зарубежье. Припомните приводимые им три примера непрекращающейся войны. Первый из них свидетельствует, что даже в цивилизованных государствах тот, кто покидает свой дом, никогда не забывает тщательно запереть дверь на замок, так как он хорошо знает, что идет постоянная

война между ворами и теми, у кого они воруют.[2] Другой пример: в лесах Америки существуют еще племена, которые действительно живут в ситуации войны всех против всех.[3] А чем в любом случае являются взаимоотношения наших европейских государств, как не взаимоотношениями двух людей, стоящих друг против друга с вытянутыми шпагами и устремленными друг на друга глазами?[4] Таким образом, во всех случаях уже после установления государства война угрожает, война присутствует. Отсюда вытекают проблемы: во-первых, что такое эта война, которая предшествует государству и которую государство в принципе должно уничтожить, которую оно отталкивает в свою предысторию, в первобытность, к ее таинственным границам, и которая, однако, существует? Во-вторых, как эта война порождает государство? Какое влияние оказывает на государство тот факт, что его порождает война? Каково клеймо войны на теле государства, раз уж оно создано ею? Вот два вопроса, которые я хотел бы немного прояснить.

Какую же войну фиксирует Гоббс, если учесть, что она, с его точки зрения, существовала до возникновения государства и послужила основой его установления? Является ли она войной сильных против слабых, свирепых против робких, храбрых против трусов, рослых против низких, воинственных дикарей против миролюбивых пастухов? Коренится ли она непосредственно в природных различиях идей? Вы знаете, что Гоббс пишет не об этом. Первоначальная война, война всех против всех, это война равных, она рождена равенством и развивается на его основе. Война это прямое следствие не-различия или, во всяком случае, незначительных различий. Фактически Гоббс говорит, что если бы существовали большие различия, если бы действительно между людьми была явно проступающая и очевидно необратимая разница, то, конечно, война оказалась бы в силу этого невозможна. Если бы были заметные, зримые, крупные различия, то одно из двух: или на деле происходило бы столкновение между сильным и слабым, но такое столкновение и такая реальная война тотчас закончились бы победой сильного над слабым, что было бы предопределено силой сильного; или просто не было бы реального столкновения, ибо слабый, знающий, чувствующий, констатирующий свою слабость, заранее уклонился бы от столкновения. Так что, говорит Гоббс,

если бы имелись значительные природные различия, не было бы войны; ибо или соотношение сил сразу же было бы зафиксировано в начале войны, что исключало бы ее продолжение, или, напротив, соотношение сил оставалось бы скрытым в силу робости слабых. Значит, если есть различия, нет войны. Различие умиротворяет.[5] Зато что происходит в состоянии отсутствия различия или незначительного различия, то есть в состоянии, когда можно сказать, что имеются различия, но они слабо выражены, они неясные, крошечные, неустойчивые, беспорядочные и не определяют превосходства; что тогда происходит в анархической ситуации небольших различий, которая характерна для естественного состояния? Тогда даже тот, кто немного слабее, чем другие или другой, оказывается достаточно близок к более сильному, чтобы почувствовать себя достаточно сильным и не уступать. Таким образом, слабый всегда отступает. Что касается сильного, который просто немного сильнее, чем другие, он никогда не чувствует себя достаточно сильным, чтобы не беспокоиться и, следовательно, не быть настороже. Таким образом, именно отсутствие природных различий создает неустойчивость, риск, случайности и волю к столкновению с той и другой стороны; именно проблематичность в первоначальном соотношении сил создает состояние войны.

Но что в точности представляет собой это состояние? Даже слабый знает, или, во всяком случае, думает, что он недалек от того, чтобы быть таким же сильным, как его сосед. Итак, он не отрекается от войны. Но более сильный — словом тот, кто ненамного сильнее, чем другие, — знает, что вопреки всему он может оказаться слабее них, особенно если они используют хитрость, неожиданность, союз и т. д. Стало быть, один не отказывается от войны, а другой — более сильный — ищет вопреки всему возможности ее избежать. Однако он сможет ее избежать только при одном условии: если покажет, что готов к войне и не собирается от нее отказаться. Но как он докажет последнее? Действуя так, чтобы другой, готовый к войне, начал испытывать сомнения относительно своей собственной силы и вследствие этого был бы в силах от нее отказаться, и этот другой откажется от нее постольку, поскольку знает, что первый не готов от нее отказаться. Короче, от чего зависит то соотношение сил, которое устанавливается при наличии небольших различий

и проблематичных столкновений, исход которых неизвестен? Оно зависит от взаимодействия между тремя видами элементов. Во-первых, от знания соотношения сил: я представляю себе силу другого, я представляю себе, что другой представляет мою силу и т. д. Во-вторых, от выразительности и доказательности проявлений воли: некто демонстрирует, что хочет войны или не отказывается от нее. В-третьих, наконец, от использования тактики перекрестного запугивания: я боюсь войны в той мере, в какой буду спокоен, только если ты боишься войны, по крайней мере так же, как и я, и даже по возможности больше. В целом это означает, что описанное Гоббсом состояние совсем не является естественным и звероподобным, в котором силы сталкиваются сразу: мы не находимся в ситуации прямых взаимоотношений реальных сил. В состоянии первоначальной войны у Гоббса встречаются, сталкиваются, скрещиваются не оружие, не кулаки, не дикие и разнузданные силы. Нет сражений в первоначальной войне Гоббса, нет крови, нет трупов. Там есть представления, демонстрации, знаки, выразительные, хитрые, лживые знаки; есть обман, рядящиеся в свою противоположность проявления воли, закамуфлированное в уверенность беспокойство. Мы находимся в театре сменяющих друг друга представлений, в ситуации страха, которому не видно конца, а не в обстановке реальной войны. В конечном счете это означает, что состояние животной дикости, где живые индивиды пожирали бы друг друга, ни в коем случае не может представляться первой характеристикой состояния войны по Гоббсу. Последнее характеризует именно бесконечная дипломатия соперничества, рожденного природным равенством. Здесь нет «войны»; а есть то, что Гоббс точно определяет как «состояние войны». В одном отрывке он говорит: «*Война* есть не только сражение, или военное действие, а промежуток времени, в течение которого явно сказывается воля к борьбе путем сражения».[6] Таким образом, этот временной промежуток заключает в себе не сражение, а состояние, когда задействованы не сами по себе силы, а воля, которая достаточно подтверждена, то есть наделена системой представлений и демонстраций, разворачивающейся в области первичной дипломатии.

Итак, абсолютно ясно, почему и как это состояние — каковое не является сражением, прямым столкновением сил, а неким

состоянием игры направленных друг против друга представлений — не может считаться самостоятельной стадией в истории человечества, из которой люди вышли бы в тот день, когда родилось государство; речь идет, фактически о своего рода постоянной основе, общественной жизни, предполагающей множество обдуманных хитростей, запутанных подсчетов с тех пор, как нет безопасности, не фиксируется различие и сила не признается явственно за одной из сторон. Таким образом, у Гоббса война не приурочена к началу государственности.

Но как это состояние, которое не является войной, а только игрой представлений, что не является войной на самом деле, может породить государство с большой буквы, Левиафана, верховную власть? На этот второй вопрос Гоббс отвечает, введя различие двух категорий суверенитета: суверенитета установленного и суверенитета приобретенного.[7] О суверенитете установленном говорят много, к этому вообще сводят, притягивают анализ Гоббса. На самом деле все обстоит сложнее. По Гоббсу, есть государство установленное и государство приобретенное, а внутри последнего две формы суверенитета, так что в целом есть государства установленные, государства приобретенные и три типа, три формы суверенитета, которые образуют в целом эти формы власти. Возьмем, во-первых, установленное государство, то, которое наиболее известно; я скажу о нем коротко. Что происходит в состоянии войны и кладет конец состоянию, в котором, повторю еще раз, задействована не война, а представление о ней и угроза войны? Вопрос решают люди. Но как? Не так, чтобы они решали перенести на кого-то одного — или на нескольких — часть своих прав и власти. Они не решают, по сути, даже вопроса о передаче всех своих прав. Напротив, они решают предоставить кому-то, кем могут выступать несколько человек или целое собрание, право представлять их целиком и полностью. Речь не идет о передаче или делегировании чего-то, принадлежащего индивидам, а о представлении самих индивидов. То есть конституированный таким образом суверен будет представлять индивидов в целом. Попросту, он не будет иметь части их прав; он по-настоящему займет их место, приобретя всю целостность их власти. Как говорит Гоббс, установленная таким образом власть суверена «представляет собой лицо всех».[8] При условии подобного

перемещения представленные таким образом индивиды будут существовать в их представителе; и что́ представитель, то есть суверен, сделает, каждый из них в силу этого вынужден будет сделать. Суверен в качестве представителя индивидов точно сообразован с самими индивидами. Итак, он представляет собой сфабрикованную индивидуальность, но она реальна. Когда суверен по рождению является монархом, индивидуальностью, это не мешает ему быть сфабрикованным в качестве суверена; и когда речь идет о совокупности — хотя бы о группе индивидов, — речь все же идет об индивидуальности. Вот, значит, что можно сказать об установленных государствах. Мы видим, что в этом механизме задействованы только воля, договор и представление.

Посмотрим теперь на другую форму создания государств, которая может привести к тому или иному типу государства: на форму его приобретения.[9] По видимости, это нечто другое, даже противоположное установлению. Кажется, что в случае приобретенных государств мы имеем дело с суверенной волей, основанной одновременно на реальном, историческом и прямом соотношении сил. Чтобы понять этот механизм, нужно исходить не из первоначального состояния войны, а из настоящего сражения. Предположим государство, уже конституированное в соответствии с моделью, о которой я только что рассказал, моделью установления. Предположим теперь, что это государство было атаковано другим в войне с реальными сражениями, где решения принимаются с помощью оружия. Предположим, что одно из двух организованных таким образом государств побеждено другим: его армия повержена, рассеяна, его суверенность разрушена; враг оккупирует территорию. Здесь есть, наконец, то, что обычно ищут сначала, то есть настоящая война, настоящее сражение, настоящие силовые отношения. Есть победители и побежденные, и побежденные находятся во власти победителей, в их распоряжении. Теперь посмотрим на то, что может произойти: побежденные находятся в распоряжении победителей, то есть последние могут убить побежденных. Если они их убивают, проблемы, очевидно, больше нет: суверенность государства совсем исчезла, потому что индивиды этого государства исчезли. Но что будет происходить в том случае, если победители оставят жизнь

побежденным? Возможно одно из двух: или побежденные восстанут против победителей, то есть фактически снова начнут войну, попытаются изменить соотношение сил, в таком случае начинается реальная война, которую поражение, во всяком случае временно, приостановило; или они рискуют действительно умереть, или не начинают войны и принимают необходимость повиновения, работы на других, отдают земли победителям и платят дань; здесь, очевидно, наблюдается ситуация господства, основанная целиком на войне и распространении ее результатов на мирную ситуацию. Вы скажете, что это господство, а не суверенитет. Но нет, говорит Гоббс; мы находимся все еще в ситуации суверенитета. Почему? Потому что с тех пор, как побежденные предпочли жизнь и повиновение, они тем самым восстановили суверенитет, они сделали из победителей своих представителей, они вновь утвердили суверена вместо того, которого уничтожила война. Таким образом, не поражение ведет к появлению общества с господством, рабством, кабалой, с жестоким устройством и отсутствием права, а то, что происходило уже в условиях поражения, после сражений, даже после поражения и некоторым образом независимо от него: главное тут страх, вернее, желание отказаться от страха, от риска потерять жизнь. Именно это заставляет принять такой тип суверенитета и такое юридическое устройство, которые соответствуют абсолютной власти. Воля к предпочтению жизни перед смертью: именно это создает суверенную власть, которая так же легитимна и исторически обоснована, как и та, что основывалась путем установления и достижения взаимного согласия.

Довольно странным образом Гоббс добавляет к этим двум формам суверенной власти, установленной и приобретенной, третью, относительно которой он говорит, что она очень близка к приобретенному суверенитету, появляющемуся на закате войны и после поражения. Он говорит, что этот другой тип суверенитета связывает ребенка с его родителями, точнее с матерью.[10] Предположим, говорит он, родился ребенок. Его родители (отец в условиях цивилизованного общества, мать в естественном состоянии) вполне могут позволить ему умереть или даже просто-напросто убить его тем или иным способом. Он, во всяком случае, не может жить без своих родителей, без своей матери.

И естественно, что в течение периода, когда он может выражать свою волю только демонстрацией своих потребностей, криками, страхом и т.д., ребенок должен подчиняться родителям, матери, делать именно то, что она ему велит, потому что от нее и только от нее зависит его жизнь. Итак, говорит Гоббс, между этим согласием ребенка (согласием, которое обходится даже без выражения воли или без договора) на власть матери и согласием побежденных после поражения нет существенного различия. Гоббс хочет подчеркнуть, что решающим для установления верховной власти является не воля, даже не форма ее выражения, не уровень воли. По сути, неважно, что к вашему горлу приставлен нож, неважно, можно или нельзя окрыто выразить свою волю. Необходимым и достаточным условием возникновения суверенной власти является на деле некая радикальная воля к жизни, даже когда этого нельзя достичь без воли другого.

Таким образом, суверенитет конституируется на основе радикальной воли, форма которой маловажна. Эта воля связана со страхом, так что верховная власть никогда не формируется наверху, то есть в результате решения более сильного, победителя или родителей. Суверенная власть всегда формируется снизу, волей тех, кто боится. Так что, несмотря на различие, которое может существовать между двумя крупными государственными формами (установленной, порожденной взаимным согласием, и приобретенной, порожденной сражениями), обнаруживается глубокое сходство в устройстве. Идет ли речь о согласии, сражении, об отношении родители/дети, в любом случае наблюдается одна и та же совокупность — воля, страх и суверенитет. И неважно, запущена ли эта совокупность в действие скрытым расчетом, соотношением сил или природным фактором; неважно, будь то страх, который вызывает бесконечную дипломатию, будь то страх из-за ножа у горла или крик ребенка. В любом случае верховная власть оказывается создана. По сути, всё рассуждение Гоббса строится так, как если бы он совсем не был теоретиком связи между войной и политической властью, а хотел положить конец рассмотрению войны в качестве исторической реальности и исключить вопрос о генезисе суверенитета. В «Левиафане» отражен весь спектр дискурса, говорящего следующее: неважно, сражаетесь

вы или нет, неважно, победили вы или нет; в конечном счете один и тот же механизм действует и в отношении побежденных, и в отношении тех, кто находится в первобытном состоянии или в конституированном государстве, его же можно обнаружить в самых нежных и естественных отношениях, существующих между родителями и детьми. Гоббс изображает войну, военный фактор, соотношение сил, которое раскрывается в сражении, безразличными к утверждению суверенитета. Его конституирование обходится без военного фактора. Оно осуществляется одним и тем же способом, есть война или нет. В основном дискурс Гоббса это определенное «нет» войне: не она на деле порождает государства, не она служит основой суверенитета и не она продлевает в гражданской власти — в связанном с нею неравенстве — предшествующую ей асимметрию в соотношении сил, которая была продемонстрирована в сражениях.

Отсюда возникает проблема: кому адресован этот негативизм в отношении военного фактора и какой смысл он имеет, раз ясно, что никогда в формулировавшихся прежде юридических теориях власти война не играла той роли, которую упрямо отрицает за ней Гоббс? К какому противнику на деле адресуется Гоббс, когда на протяжении всего своего дискурса он настойчиво повторяет: во всех случаях не имеет значения, была война или нет; не о войне идет речь при конституировании суверенитета. Я думаю, что дискурс Гоббса направлен, если хотите, не против ясной и определенной теории, не против кого-то, кого можно было бы рассматривать как его противника, его полемического партнера; он не направлен также против чего-то невысказанного, неустранимого из дискурса Гоббса, что тот вопреки всему пытался обойти. В сущности, в эпоху Гоббса существовало кое-что, что могло бы быть названо не его полемическим противником, а его стратегическим визави. То есть это не столько определенный дискурс, который нужно было отвергнуть, сколько некая теоретическая и политическая стратегия, которую Гоббс как раз и хотел исключить и сделать невозможной. Итак, то, что Гоббс хотел не опровергнуть, а исключить и сделать невозможным, его стратегическое визави, представляло собой определенный способ обращения с политическим знанием в политической борьбе. Точнее, я думаю,

что стратегическим визави Левиафана был способ политического использования в современной борьбе определенного исторического знания, касающегося войн, нашествий, грабежей, экспроприаций, конфискаций, вымогательства, поборов и последствий всего этого, последствий всех этих военных действий, всех сражений и реальной борьбы, которые разворачиваются при наличии законов и институтов, по-видимому, регулирующих власть.

Одним словом, Гоббс хотел исключить завоевание, или, точнее, использование в историческом дискурсе и в политической практике проблемы завоевания. Невидимым противником Левиафана было завоевание. Этот огромный искусственно образованный человек, который так заставлял дрожать всех благонамеренных мыслителей права и философии, государственный людоед, чей громадный силуэт вырисовывался на виньетке, изображавшей короля с поднятой шпагой и жезлом в руке, в целом мыслил правильно. Вот почему в конечном счете даже проклинавшие его философы в основном его полюбят, вот почему его цинизм очаровывал даже самых боязливых. Имея с начала и до конца вид дискурса, провозглашающего войну повсюду, дискурс Гоббса в действительности свидетельствовал об обратном. Он говорил, что одно и то же — находиться в состоянии войны или обходиться без войны, испытать поражение или не испытать его, победить или прийти к соглашению: «Вы этого хотели, вы, подданные, которые установили представляющую вас верховную власть. Не надоедайте нам поэтому больше с вашими историческими пересмотрами: в конце завоевания (если вы действительно считаете, что было завоевание) вы всегда найдете также договор, волю запуганных подданных». Таким образом, проблема завоевания оказывается устранена, сначала в результате введения понятия войны всех против всех, а затем вследствие указания на юридически значимую волю запуганных на закате сражения подданных. Я думаю, что Гоббс мог, конечно, казаться скандальным. На деле он успокаивает: он всегда придерживается дискурса договора и суверенитета, то есть дискурса государства. Несомненно, его упрекали и его будут громко упрекать в том, что он преувеличивает роль государства. Но в конечном счете для философии и права, для философско-юридического

дискурса лучше преувеличить роль государства, чем недооценить ее. И, порицая его за преувеличения, за ним признают ту заслугу, что он действовал против определенного, коварного и жестокого врага.

Враг — или вернее враждебный дискурс, против которого выступает Гоббс, — мог быть обнаружен в расшатывающих государство гражданских битвах, которые происходили в тот момент в Англии. Этот дискурс имел два голоса. Один говорил: «Мы победители, а вы побежденные. Может быть, мы иностранцы, а вы челядь». На что другой голос отвечал: «Мы, может быть, завоеванные, но мы не останемся такими всегда. Мы у себя, а вы отсюда уйдете». Именно против дискурса борьбы и постоянной гражданской войны выступал Гоббс, обнаруживая договор в конце войны и всякого завоевания и спасая тем самым теорию государства. Этим, наверное, объясняется тот факт, что философия права позже дала Гоббсу в виде компенсации почетное звание отца политической философии. Когда государственный капитолий оказывался под угрозой, один гусь будил дремлющих философов. Это Гоббс.

Гоббс выстроил стену «Левиафана» против того дискурса (или, скорее, практики), который, как мне кажется, появился, если не совсем в первый раз, то, по крайней мере, в своих основных чертах и во всей своей политической резкости, в Англии и, наверное, в результате соединения двух феноменов: прежде всего безусловно раннего развития политической борьбы буржуазии против абсолютной монархии, с одной стороны, и против аристократии — с другой; и затем другого феномена, а именно, острого ощущения исторического факта старого расслоения в результате завоевания, которое веками оставалось очень сильным даже в широких народных слоях.

Влияние нормандской победы, одержанной герцогом Вильгельмом в 1066 г. при Гастингсе, запечатлелось разными способами в институтах и историческом опыте политических субъектов в Англии. Оно проявлялось очень ясно прежде всего в ритуалах власти, так как вплоть до Генриха VII, то есть до начала XVI века, в королевских актах упорно подчеркивалось, что король Англии обладает суверенностью в силу права завоевания. Король представлял себя законным преемником завоевания нормандцев. Такое обоснование королевской власти

исчезло при Генрихе VII. Факт завоевания проявлялся также в правовой практике, так как во всех судебных постановлениях использовался французский язык, на котором отправлялись и все судебные процедуры, и что вызывало постоянные конфликты между низшими судебными органами и королевскими трибуналами. Исходящее сверху и использующее чужой язык право было в Англии знаком иностранного присутствия, знаком другой нации. Правовая практика в такой ситуации вела, с одной стороны, если можно так сказать, к «лингвистическому страданию» тех, кто не мог юридически защититься на своем собственном языке, а с другой — она опиралась на определенно чуждую им форму закона. По этим двум причинам правовая практика была саксам недоступна. Отсюда требование, которое встречается очень рано в период английского средневековья: «Мы хотим нашего права, хотим, чтобы оно формулировалось на нашем языке и было унифицировано снизу, исходя из того общего закона, который противостоит королевским законам». Завоевание — я выбираю примеры довольно случайно — проявлялось также в наличии, взаимоналожении и столкновении двух различных типов легенд: с одной стороны, совокупности саксонских повествований, которые были в основном народными преданиями, мифическими верованиями (о возвращении короля Гарольда), культами священных королей (например, короля Эдуарда), народными рассказами, одним из популярных героев которых был Лесной Робин (и вы знаете, что именно в этой мифологии Вальтер Скотт — один из великих вдохновителей Маркса[11] — почерпнет тему «Айвенго» и некоторых романов,[12] которые сыграли важную роль в историческом сознании XIX века). Народной мифологии противостояли аристократические и едва ли не монархические легенды, которые появились при дворе нормандских королей и вновь возродились в XVI веке, в эпоху развития королевского абсолютизма Тюдоров. Речь идет, по существу, о легенде из артуровского цикла. [13] Конечно, это не нормандская легенда, но и не саксонская. Это возрождение обнаруженных нормандцами старых кельтских легенд, которые были спрятаны под мифами саксонского слоя населения. Кельтские легенды были совершенно естественно переработаны нормандцами в интересах аристократии и нормандской монархии в силу многочисленных связей,

которые существовали между нормандцами на их родине и Бретанью и бретонцами: итак, были две очень мифологизированные ветви представлений, в соответствии с которыми и совсем по-разному Англия размышляла о своем прошлом и о своей истории.

Но гораздо больше, чем все сказанное, о завоевании в Англии свидетельствовала историческая память о восстаниях, каждое из которых имело важные политические последствия. Некоторые из этих восстаний приобретали к тому же довольно заметный расовый характер, как первые из них, например восстания Монмута.[14] Другие (как то, в конце которого была согласована *Великая хартия* [*вольностей*]) добивались ограничения королевской власти и строгих мер по выселению иностранцев (не столько нормандцев, сколько, смотря по обстоятельствам, пуатевинов, ангевинов и т. д.). Вопрос стоял о праве английского народа, которое оказалось связано с необходимостью изгнания иностранцев. Поэтому налицо были все элементы, позволявшие облечь крупные социальные противостояния в исторические формы завоевания и господства одной расы над другой. Такое кодирование или, во всяком случае, позволявшие его осуществить элементы были старыми. Уже в средневековье можно встретить в хрониках такие фразы: «От нормандцев ведут свой род высшие сословия этой страны, простолюдины — это сыновья саксов».[15] В результате политические, экономические, юридические конфликты с помощью тех элементов, которые я только что перечислил, были очень легко выстроены, закодированы и преобразованы в дискурс, в ряд дискурсов, ориентированных на расовое противостояние. И довольно логично, что в конце XVI и в начале XVII века, когда появились новые политические формы борьбы между буржуазией, с одной стороны, и аристократией и монархией — с другой, использовался именно словарь расовой борьбы. Употребление такого рода кодировки или по меньшей мере готовых для кодировки элементов происходило очень естественно. И если я говорю о кодировке, то потому, что расовая теория не служила особым выражением позиции одной группы в ее борьбе с другой. Фактически мысли о расовом делении и о противоположности рас были своего рода одновременно дискурсивными и политическими инструментами, позволявшими и тем и другим

формулировать свои собственные требования. Юридическо-политическая дискуссия о правах верховной власти и правах народа развивалась в Англии XVII века при использовании определенного словарного запаса, порожденного завоеванием, господством одной расы над другой и восстанием — или постоянной угрозой восстания — побежденных против победителей. И поэтому мы можем обнаружить теорию рас или тему рас как в позиции защитников королевского абсолютизма, так и в позициях парламентариев или сторонников парламентаризма, а также в самых крайних позициях *левеллеров** или *диггеров*.

Прсобладание четко сформулированных идей о завоевании и господстве можно обнаружить в том, что я бы назвал «королевским дискурсом». Когда Яков I объявил в звездной палате, что короли восседают на божественном троне,[16] он, конечно, соотносился с теолого-политической теорией божественного права. Но для него божественный выбор, благодаря которому он реально оказался собственником Англии, был историческим знаком победы нормандцев, ее порукой. И будучи еще только королем Шотландии, Яков I говорил, что поскольку нормандцы завладели Англией, то законы королевства установлены ими,[17] а это имело два следствия. Во-первых, то, что Англия стала владением и потому все английские земли принадлежали нормандцам и их главе, то есть королю. Именно в качестве главы нормандцев король реально оказывался владельцем, собственником английских земель. Во-вторых, то, что право не может быть общим для различных народов, на которые распространяется верховная власть; право — это сам знак нормандского верховенства, оно установлено нормандцами и, естественно, для них. И с ловкостью, которая должна была в немалой мере затруднить противников, либо король, либо, по крайней мере, сторонники королевского дискурса проводили очень странную, но очень важную аналогию. Я думаю, именно Блеквуд сформулировал в первый раз в 1581 г. в тексте, который назывался «Apologia pro regibus», нечто очень любопытное. Он говорит: «На деле нужно воспринимать положение Англии в эпоху

---

* М. Фуко употребляет для их обозначения французское слово «nivelleurs», но в отечественной литературе используется термин «левеллеры» (*прим. перев.*).

нашествия нормандцев, как теперь воспринимают положение Америки в отношении сил, которые еще не назвали колониальными. Нормандцы были в Англии теми, кем сейчас европейцы являются в Америке». Блеквуд проводил параллель между Вильгельмом Завоевателем и Карлом V. Он говорил насчет Карла V: «Он силой подчинил часть западной Индии, оставив побежденным их владения, но не в качестве собственности, а в качестве объекта пользования при условии выплат. А то, что Карл V сделал в Америке и что мы считаем совершенно законным, потому что делаем то же самое, делали, как можно безошибочно сказать, нормандцы в Англии. Нормандцы пришли в Англию по тому же праву, что и мы в Америку, то есть по праву колонизации».[18]

Итак, мы имеем в конце XVI века если не первый, то, я думаю, один из первых случаев возвращения колониальной практики в юридическо-политическую структуру Запада. Не нужно никогда забывать, что колонизация с ее приемами и политическим и юридическим оружием, конечно, была переносом европейских моделей на другие континенты, но она имела обратное влияние на механизмы власти на Западе, на аппараты, институты и технику власти. Существовала целая серия колониальных моделей, которые были заново перенесены на Запад и привели к тому, что Запад смог практиковать в отношении самого себя нечто вроде колонизации, внутренней колонизации.

Вот так тема борьбы рас использовалась в королевском дискурсе. Та же самая тема нормандского завоевания повлияла на характер ответа парламентариев на королевский дискурс. Способ, каким парламентарии отвергали претензии королевской власти на абсолютизм, определялся также идеей дуализма рас и фактом завоевания. Парадоксальным образом анализ парламентариев и сторонников парламентаризма начинался с отрицания завоевания или, скорее, завоевательного характера власти Вильгельма в адресованном ему похвальном слове. Вот как они проводили свой анализ. Они говорили: не нужно ошибаться — и в этом видно, как они близки Гоббсу, — Гастингс, сражение, сама война не важны. По сути, Вильгельм был законным королем. И он был законным королем просто потому, что (и здесь видна эксгумация некоторых исторических фактов, истинных или фальшивых) Гарольд — еще до смерти

Эдуарда Исповедника, на самом деле назвавшего Вильгельма своим преемником, — дал клятву, что не станет королем Англии, а передаст трон или согласится, что Вильгельм взойдет на трон Англии. Во всяком случае, этого не произошло: Гарольд был убит в битве при Гастингсе, больше не было законного наследника — если допустить легитимность Гарольда, — и вследствие этого естественно, корона должна была, вернуться к Вильгельму. Так что Вильгельм оказывался не победителем Англии, а наследником прав на английское королевство в том виде, как оно существовало. Он оказывался наследником королевства, существование которого было скреплено некоторым числом законов, и наследником верховной власти, которая была ограничена законами саксонского режима. В этом анализе то, что узаконивало монархию Вильгельма, в равной же мере и ограничивало его власть. Впрочем, добавляют сторонники парламентаризма, если бы речь шла о завоевании, если бы действительно битва при Гастингсе повлекла за собой господство нормандцев над саксами, победа не могла бы быть удержана. «Как было бы возможно, — говорят они, — чтобы несколько десятков тысяч несчастных нормандцев, затерявшихся в землях Англии, смогли удержаться и реально обеспечить постоянную власть? Их в любом случае убили бы в постелях накануне той же битвы». Однако, по крайней мере в первое время, не было крупных возмущений, это доказывает, что побежденные по большому счету не считали себя побежденными и оккупированными и действительно признавали в нормандцах людей, которые могли отправлять власть. Таким образом, на основании этого признания, этого не-убийства нормандцев и этого не-возмущения они узаконивали монархию Вильгельма. А Вильгельм к тому же дал клятву, был коронован архиепископом Йорка; ему преподнесли корону, и он обязался в ходе этой церемонии уважать законы, о которых авторы хроник говорят, что это были хорошие законы, древние, принятые и одобренные. Он таким образом оказался включен в предшествовавшую ему систему саксонской монархии.

В представляющем эту линию рассуждений тексте под названием «Argumentum Anti-Normannicum»[19] видна своего рода виньетка, которую можно сопоставить с виньеткой к «Левиафану», она выглядит так: на перевязи — битва, две вооруженные

армии (предполагаются, очевидно, нормандцы и саксы при Гастингсе), а посреди двух армий тело короля Гарольда; таким образом, законная монархия саксов действительно исчезла. Ниже сцена большего формата изображает Вильгельма в ходе коронации. Коронация представлена следующим образом: статуя, названная Британией, протягивает Вильгельму бумагу, на которой можно прочитать — «Законы Англии».[20] Король Вильгельм получает свою корону от архиепископа Йорка, в то время как другое духовное лицо протягивает ему бумагу, на которой написано: «Клятва короля».[21] На основании этого можно заключить, что на самом деле Вильгельм не был победителем, каким хотел казаться, а был законным наследником, верховная власть которого ограничивалась законами Англии, признанием Церкви и данной им клятвой. Уинстон Черчилль, живший в XVII веке, писал в 1675 г.: «По сути, Вильгельм не завоевал Англии, это Англия завоевала Вильгельма».[22] И только после этого — совершенно законного — переноса саксонской власти на короля нормандцев, считают сторонники парламентаризма, начинается настоящее завоевание, то есть все события, связанные с экспроприацией, вымогательствами, злоупотреблением властью. Завоевание было долгим извращением, которое сопровождалось утверждением нормандцев у власти и привело к организации в Англии того, что тогда же справедливо было названо «нормандизмом» или «нормандским ярмом»,[23] то есть систематически асимметричным и систематически благоприятным для аристократии и нормандской монархии политическим режимом. И именно против этого «нормандизма» — а не против Вильгельма — были направлены все восстания в средние века; именно против этих злоупотреблений, связанных с нормандской монархией, утверждались права парламента, настоящего наследника саксонской монархии; именно против этого «нормандизма», последовавшего за Гастингсом и приходом к власти Вильгельма, боролись низшие суды, когда хотели восстановить «общий закон»* в противовес королевским законам. Также против него начала развиваться борьба в XVII веке.

Однако что собой представляло это старое саксонское право, которое фактически и на законном основании было принято

---

* В рукописи «Common Law».

Вильгельмом, которое нормандцы хотели задушить и извратить в годы, последовавшие за завоеванием, и которое саксы, начиная с *Великой хартии* [*вольностей*], с основания парламента и революций XVII века, пытались восстановить? Это некий саксонский закон. Здесь важную роль сыграло влияние одного юриста по имени Коук, претендовавшего на открытие и действительно открывшего рукопись XIII века, относительно которой считал, что в ней были сформулированы старые саксонские законы, [24] тогда как на самом деле под названием «Зеркала́ справедливости»[25] скрывалось изложение некоторого числа существовавших в средневековье форм судебной практики и положений в ней частного и государственного права. Коук представил его как изложение саксонского права. Саксонское право считалось первоначальным и исторически подлинным законом — отсюда и значение рукописи — саксов, которые избирали своих вождей, имели своих судей* и только на время войны признавали королевскую власть как власть военного вождя, а вовсе не как лица, обладающего абсолютным и бесконтрольным суверенитетом в отношении общества. Таким образом, речь шла об историческом явлении, которому пытались — с помощью исследований древнего права — придать исторически точную форму. Но в то же время саксонское право преподносилось и характеризовалось как само воплощение человеческого разума в естественном состоянии. Юристы вроде Селдена, [26] например, свидетельствовали о том, что это было замечательное право, соответствующее принципам человеческого разума, так как оно существовало в гражданском обществе, похожем на афинское, а в военном отношении — устроенном наподобие Спарты. Что касается религиозных и моральных законов, то в саксонском государстве законы были близки к законам Моисея. Афины, Спарта, Моисей; саксонское государство преподносилось как совершенное. «Саксы, — говорится в анализируемом здесь тексте 1647 г. — почти как евреи, отличны от всякого другого народа: их законы были достойны уважения, а их система управления представляла как бы королевство Бога, ярмо которого было приятно, а тяжесть

---

* В рукописи вместо «имели своих судей» значится «были сами себе судьями».

легка.»[27] Здесь можно наблюдать, как историцизм, противостоящий абсолютизму Стюартов, превратился в основополагающую утопию, где сразу соединились теория естественных прав, переоцененная историческая модель и мечта о своего рода королевстве Бога. И эта утопия о саксонском праве, которое, как предполагалось, было признано нормандской монархией, должна была стать юридическим основанием задуманной парламентариями новой республики.

Тот же самый факт завоевания обыгрывался, и это третий вариант его обработки, в радикальном мышлении тех, кто был настроен не только против монархии, но и против сторонников парламентаризма, то есть в более мелкобуржуазном или, если хотите, более народном дискурсе левеллеров, *диггеров* и т. п. Но на этот раз историцизм в итоге не превращается в утопию естественного права, о которой я только что говорил. В основном у левеллеров можно обнаружить, в буквальном смысле слова, ту же идею королевского абсолютизма. Левеллеры говорят следующее: «На деле монархия права, когда утверждает, что существовало нашествие, поражение и завоевание. Это верно, завоевание было, и именно из этого нужно исходить. Но абсолютная монархия использует факт завоевания, чтобы найти в нем законную основу своих прав. На наш взгляд, напротив, так как мы видим, что завоевание есть, что существовало действительно нанесенное нормандцами саксам поражение, то это поражение и это завоевание нужно рассматривать не как исходную точку права — и права абсолютного, — а как исходную точку бесправия, которое обесценило все законы и все социальные различия, служащие для обозначения аристократии, форм собственности и т.п.». Все функционирующие в Англии законы — это текст Джона Уорра «Коррупция и несовершенство английских законов» — должны рассматриваться «как tricks, ловушки, выражения злобы».[28] Законы — это ловушки: нет никаких ограничений власти, а только инструменты власти; законы — не средства установления справедливости, а средства обслуживания интересов. Вследствие этого, во-первых, целью революции должно быть уничтожение всех постнормандских законов, поскольку прямо или косвенно они обеспечивают Norman yoke, нормандское ярмо. «Законы, — говорил Лилберн, — сделаны для

завоевателей».[29] Следовательно, необходимо уничтожение всего аппарата законности.

Во-вторых, необходимо также уничтожение всех различий, которые противопоставляют аристократию — и не только аристократию, а аристократию вместе с королем как одним из аристократов — остальному народу, ибо знать и король не защищают народ, а просто и постоянно его грабят. Не существует королевской защиты народа, король покровительствует знати и охраняет ее право на вымогательство. «Вильгельм и его наследники, — говорил Лилберн, — из своих компаньонов по мошенничеству, расхищению и воровству сделали герцогов, баронов и лордов».[30] Следовательно, в настоящее время режим собственности — это военный режим оккупации, конфискации и грабежа. Все связанные с собственностью отношения — как и вся система законности — должны быть пересмотрены, переделаны до основания. Отношения собственности целиком обесценены фактом завоевания.

В-третьих, считают *диггеры*, доказательство того, что правление, законы, отношения собственности являются в основе только продолжением войны, нашествия и поражения, заключается в том, что народ всегда воспринимал существующие формы управления, законы и отношения собственности как последствия завоевания. Народ в некотором роде всегда разоблачал грабительский характер собственности, бесчинства законов и господство правящей власти. И он это доказал просто тем, что не переставал восставать, а восстание есть для *диггеров* не что иное, как другое лицо войны, постоянной формой которой являются закон, власть и управление. Закон, власть и управление — это война, война одних против других. Таким образом, восстание не является разрывом с мирной системой законов, осуществленным в силу какой-то причины. Восстание — это другая сторона войны, которую не переставая ведет правительство. Правление — это война одних против других, восстание — это война последних против первых. Конечно, восстания до сих пор не были успешны не только потому, что нормандцы победили, но также потому, что богатые получали выгоду от нормандской системы и оказали в результате своей измены помощь «нормандизму». Была измена богатых, была

измена церкви. И даже те институты, на которые парламентарии указывают, как на ограничение нормандского права, — даже *Великая хартия* [*вольностей*], парламент, деятельность судов — все это в основном также все еще нормандская система и ее бесчинства; они осуществляются просто при помощи избранной и наиболее богатой части населения, которые изменили делу саксов и перешли на сторону нормандцев. Фактически все то, что казалось уступкой, было только изменой и военной хитростью. Следовательно, совсем не утверждая вместе с парламентариями, что нужно продолжать поддерживать законы, чтобы королевский абсолютизм не превалировал над ними, левеллеры и *диггеры* готовы сказать, что нужно освободиться от законов с помощью войны, которая будет ответом на другую войну. Нужно вести гражданскую войну против нормандцев до конца.

Именно исходя из этого, дискурс левеллеров мог бы развиться во многих направлениях, которые остались большей частью мало разработанными. Одно направление было собственно теологическо-расовым, то есть немного схожим с требованием сторонников парламентаризма: «Возврат к нашим саксонским законам, которые справедливы, потому что являются также законами природы». Затем можно наблюдать другую форму дискурса, несколько незаконченного и содержащего такие положения: нормандский режим ведет к грабежу и вымогательствам, он имеет военную санкцию; что находится под этим режимом? Исторически там находятся саксонские законы. Тогда нельзя ли проделать тот же анализ в отношении саксонских законов? Не имели ли также саксонские законы военной санкции, не были ли они формой грабежа и вымогательства? Не был ли в конечном счете саксонский режим, как и нормандский, режимом господства? Не нужно ли, следовательно, пойти еще дальше и сказать — это встречается в некоторых текстах *диггеров*,[31] — что в основном господство связано с любой формой власти, то есть нет таких исторических форм власти, какими бы они не были, которые нельзя анализировать в терминах господства одних над другими? Конечно, эта формулировка остается как бы незавершенной. Ее можно рассматривать как самый радикальный тезис; она никогда не служила основани-

ем исторического анализа или связной политической практики. Тем не менее можно видеть, как здесь в первый раз формулируется идея, что всякий закон, каким бы он не был, любой тип власти должны анализироваться не в терминах естественного права и установления суверенитета, а как бесконечная смена — бесконечная с точки зрения истории — одних отношений господства другими.

Если я так много внимания уделил английскому дискурсу, связанному с войной рас, это произошло потому, что, с моей точки зрения, в нем в первый раз в политической и исторической формах, в виде одновременно политической программы действия и метода исторического исследования, можно обнаружить бинарную схему, определенную бинарную схему. Схема противоположности между богатыми и бедными уже существовала и влияла на восприятие общества и в средние века, и в греческих городах. Но в первый раз бинарная схема стала не просто способом оформления жалобы, требования, констатации опасности. В Англии она в первый раз смогла соединиться прежде всего с фактами, касающимися национальности: язык, родина, обычаи предков, весь объем общего прошлого, существование архаичного права, новое открытие старых законов. В то же время бинарная схема позволила расшифровать во всей ее исторической протяженности эволюцию общественных институтов. Она позволила также проанализировать современные институты в терминах столкновения и войны, ведущейся между расами по-ученому, лицемерно, но остро. Наконец, бинарная схема связывала восстание не просто с тем фактом, что положение наиболее обездоленных стало нетерпимым, что они должны были восстать, потому что не могли заставить себя услышать (таков был, если хотите, дискурс восстаний в средние века). Теперь же восстание представляется своего рода абсолютным правом: право на восстание существует не потому, что нет иной возможности заставить себя услышать, и не потому, что нужно разрушить порядок в целях установления более справедливого правосудия. Восстание теперь оправдывается как своеобразная историческая необходимость: оно является ответом на определенный социальный порядок, порядок войны, которому оно положит конец.

Следовательно, логическая и историческая необходимость восстания включается в исторический анализ, который раскрывает войну как постоянную черту общественных отношений, как саму ткань и тайну институтов и систем власти. И я думаю, что это и был великий противник Гоббса. Это то, чему он противопоставил «Левиафана», это противник всего философско-юридического дискурса, служившего цели обоснования суверенной власти. Это то, против чего он направил весь свой анализ рождения суверенитета. И если так сильно хотели устранить войну, то только потому, что хотели целенаправленно и пунктуально устранить эту ужасную проблему английского завоевания, болезненную историческую и трудную юридическую категорию. Нужно было избежать проблемы завоевания, вокруг которой в конечном счете выстраивались все дискурсы и все политические программы первой половины XVII века. Именно это нужно было исключить; нужно было исключить в целом и надолго то, что я бы назвал «политическим историцизмом», то есть род дискурса, заметного в дискуссиях, о которых я вам рассказал, созданного в некоторые наиболее острые периоды истории и состоящего в следующем: с тех пор как возникли властные отношения мы не находимся в ситуации права и суверенитета; мы находимся в условиях господства, в исторически неопределенной по содержанию и многообразной ситуации господства. Мы не можем выйти из нее, а значит, не можем выйти из истории. Философско-юридический язык Гоббса был способом блокировки политического историцизма, который представлял собой действительно активный дискурс и знание в политической борьбе XVII века. Это была именно блокировка, точно такая, какую в XIX веке осуществил также диалектический материализм в отношении дискурса политического историцизма. Последнему противостояли: в XVII веке — философско-юридический дискурс, который пытался его дисквалифицировать; в XIX веке — диалектический материализм. Задача Гоббса состояла в том, чтобы перевести в боевое положение все, даже самые экстремальные возможности философско-юридического дискурса, чтобы заставить замолчать дискурс политического историцизма. А я хотел бы показать историю именно дискурса политического историцизма и одновременно произнести в его честь похвальное слово.

Примечания

[1] «При отсутствии гражданского состояния всегда имеется война всех против всех». «Отсюда видно, что пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется войной, и именно в состоянии войны всех против всех» (*Гоббс Т.* Левиафан. Сочинения: В 2 томах. М., 1991. Т. 2. С. 95). О «bellum omnium contra omnes» см. также: Elementorum philosophiae sectio tertia de cive. Paris, 1642, I, I, XIII (французский перевод: Le Citoyen, on les Fondements de la politique. Paris: Flammarion, 1982).

[2] *Гоббс Т.* Левиафан. С. 96.

[3] Там же. С. 97.

[4] Там же.

[5] Там же. С. 93—95.

[6] Там же. С. 95.

[7] Во всей последующей дискуссии М. Фуко обращается ко второй части «Левиафана». *Гоббс Т.* Сочинения: В 2 томах. М., 1991. Т. 2. С. 134.

[8] См.: там же. С. 134.

[9] Там же. С. 154.

[10] Там же. С. 155—156. См. также: De Cive, II, IX.

[11] О К. Марксе как читателе В. Скотта см.: *Marx-Aveling E.* Karl Marx — Lose Blätter в «Österreichischer Arbeiter-Kalender für das Jahr 1895», p. 51—54; *Mehring F.* Karl Marx. Geschichte seines Lebens. Leipzig: Leipziger Buchdruckerei Actiengesellschaft, 1918. XV, I (русское издание: Карл Маркс. История его жизни. М., 1990); *Berlin I.* Karl Marx. London: T. Butterworth, 1939. Chap.XI.

[12] Действие «Айвенго» (1820 г.) разворачивается в Англии времен Ричарда Львиное Сердце; в романе «Квентин Дорвард» (1827 г.) показана Франция Людовика XI. Известно, какое влияние оказал роман «Айвенго» на О. Тьерри и его теорию победителей и побежденных.

[13] Это цикл легенд и рассказов, связанных с мифической фигурой бретонского государя Артура, вождя сопротивления нашествию саксов в первой половине V века. Эти легенды и рассказы были объединены в первый раз в XII веке: см.: *Monmouth Geoffrey*. De origine et gestis regum Britanniae libri XII (Heidelberg, 1687). *Wace Robert*. Roman de Brut (1155) и Roman de Rou (1160—1174); это называется «бретонским материалом», переделанным Кретьеном де Труа в «Ланселота» и в «Персеваля» во второй половине XII века.

[14] Джеффри Монмоут рассказывает историю бретонской нации, начиная с первого завоевателя, Труайяна Брута; историю, которая после римских завоеваний закончилась сопротивлением бретонцев

захватчикам саксам и упадком бретонского королевства. Речь идет об одном из популярных произведений средневековья, которое ввело легенду об Артуре в европейскую литературу.

[15] В рукописи М. Фуко упоминает «Хронику Глочестера».

[16] «Monarchae proprie sunt judices, quibus juris dicendi potestatem proprie commisit Deus. Nam in throno Dei sedent, unde omnis ea facultas derivata est» (*James I.* Oratio habita in camera stellata [1616] в: Opera edita a Jacobo Montacuto..., Francofurti ad Moenum et Lipsiae, 1689, p. 253). «Nihil est in terris quod non sit infra Monarchiae fastigium. Nec enim solum Dei Vicarii sunt Reges, deique throno insident: sed ab ipso Deo Deorum nomine honorantur» (Oratio habita in comitis regni ad omnes ordines in palatio albaulae [1609] в: Opera edita..., p. 245; о «Divine Right of Kings» см. также: Basilikon doron, sive De institutione principis в: Opera edita..., p. 63—85).

[17] «Et quamquam in aliis regionibus ingentes regii sanguinis factae sint mutationes, sceptri jure ad novos Dominos jure belli translato; eadem tamen illic cernitur in terram et subditos potestatis regiae vis, quae apud nos, qui Dominos numquam mutavimus. Quum spurius ille Normandicus validissimo cum exercitu in Angliam transiisset, quo, obsecro nisi armorum et belli jure Rex factus est? At ille leges dedit, non accepit, et vetus jus, et consuetudinem regni antiquavit, et avitis possessionibus eversis homines novos et peregrinos imposuit, suae militiae comites; quemadmodum hodie pleraque Angliae nobilitas Normannicam prae se fert originem; et leges Normannico scriptae idiomatem facilem testantur auctorem. Nihilominus posteri ejus sceptrum illud hactenus faciliter tenuerunt. Nec hoc soli Normanno licuit: idem jus omnibus fuit, qui ante illum victae Angliae leges dederunt» (*James I.* Jus liberae Monarchiae, sive De mutuis Regis liberi et populi nascendi conditione illi subditi officiis [1598] в: Opera edita..., op.cit., p. 91).

[18] «Carolus quintus imperator nostra memoria partem quandam occidentalium insularum, veteribus ignotam, nobis Americae vocabulo non ita pridem auditam, vi subegit, victis sua reliquit, non mancipio, sed usu, nec eo quidem perpetuo, nec gratuito, ac immuni (quod Anglis obtigit Vilielmi nothi beneficio) sed in vitae tempus annuae prestationi certa lege locationis obligata» (*Blackwood A.* Adversus Georgii Buchanani dialogum, de jure regni apud Scotos, pro regibus apologia, Pictavis, apud Pagaeum, 1581, p.69).

[19] Argumentum Anti-Normannicum, or an Argument proving, from ancient histories and records, that William, Duke of Normandy, made no absolute conquest of England by the word, in the sense of our modern writers. London, 1682. Этот труд ложно приписывали Е. Коуку.

[20] «The excellent and most famous Laws of St. Edward».

[21] «Coronation Dath». Иллюстрацию этой виньетки см.: «An Explanation of the Frontispiece» в: Argumentum Anti-Normannicum..., op.cit., 4 p.s.fol.

[22] *Churchill W.S.* Divi Britannici, being a remark upon the lives of all the Kings of this Isle, from the year of the world 2855 unto the year of grace 1660. London, 1675, fol. 189—190.

[23] Теория «Norman yoke» (или «Norman bondage») распространялась в XVI и XVII веках политическими писателями (Блеквудом и т. д.), через «Elizabethan Chroniclers» (Холинсхед, Спид, Дэниэл и т. д.), через «Society of Antiquarians» (Селден, Харрисон, Новелл), юристами (Коуком и т. д.) в целях «glorify the pre-Norman past», существовавшего до нашествия и завоевания.

[24] «I have a very auntient and learned treatise of the Lawes of this kingdome whereby this Realme was governed about 1100 years past, of the title and subject of which booke the Author shaltel you himself in these words. Which Summary I have intituled "The Mirrors of Justice", according to the vertues and *substances embellies* which I have observed, and which have been used by holy customs since the time of King Arthur and C. [...] In this book in effect appeareth the whole frame of the auntient common Lawes of this Realme» (*Coke E.* La Neuf. me Part des Reports de S. Edv. Coke. London, 1613. Préface «Lectori/To the Reader», fol. 1—32 s.pag. См. также: La Tierce Part des Reports de S. Edv. Coke. London, 1602. Préface, fol. 9—17; La Huictieme Part des Reports de S.Edv. Coke. London,1611. Préface; La Dix. me Part des Reports de S.Edv.Coke. London,1614. Préface, fol. 1—48, изложение истории «of the nationall Lawes of their native country». Нужно сказать, что Коук ссылался на «Mirrors of Justice» также в своих «Institutes». См., в частности: The Fourth Part of the Institutes of the Laws of England. London, 1644, chap. VIII, XI, XIII, XXXV; но особенно: The Second Part of the Institutes of the Laws of England. London, 1642. P. 5—78).

[25] «The Mirror of Justice» — это текст, написанный первоначально на французском в конце XIV века, вероятно, Эндрю Хорном. Английский перевод 1646 г. сделает из этого текста один из основных трудов для всех сторонников «Common Law» как для сторонников парламента, так и для радикальных революционеров.

[26] М. Фуко имеет, вероятно, в виду An Historical Discourse of the uniformity of Government of England. The First Part. London, 1647, 2 тома, отредактированные Натаниэлем Бэконом на основе рукописей Джона Селдена (см.: An Historical and Political Discourse of the Laws and Government of England ... collected from some manuscript notes of John Selden... by Nathaniel Bacon. London, 1689).О саксах Селден

говорит, что «their judicial were very suitable to the Athenian, but their military more like the Lacedemonian» (P. 15; chap. IV—XLIII). О Дж. Селдене см. также: Analecton Anglobritannicon libri duo. Francofurti, 1615; Jani Anglorum в: Opera omnia latina et anglica. Londini, 1726, vol. II.

[27] «Thus the Saxons become somewhat like the Jewes, divers from all other people; their lawes honourable for the King, easie for the subject; and their governmtnt above all other likest unto that of Christs Kingdome, whose yoke is easie, and burthen light: but their motion proved so irregular as God was pleased to reduce them by another way» (An Historical Discourse..., op.cit., p. 112—113).

[28] «The laws of England are full of tricks and contrary to themselves; for they invehted and established by the Normans, which were of all nations the most quarrelsome and most fallacious in contriving of controversies and suits» (*Warr J.* The Corruption and Deficiency of the Laws of England. London, 1649. P. 1; См. в особенности главы II и III. См. также: Administration Civil and Spiritual в: Two Treatises. London, 1648, I, § XXXVII). Подчеркнем, что фраза Уорра частично цитирована в части: Ch.Hill в: Puritanism and Revolution. London: Secker and Warburg, 1958. P. 78.

[29] См. в особенности *Lilburn J.* The Just Mans Justification. London, 1646. P. 11—13; см. также: A Discourse betwixt John Lilburne, close prisoner in the Tower of London, and Mr. Hugh Peters. London, 1649; Englands Birth-right Justified against all arbitrary usurpation. London, 1645; Regall Tyrannie Discovered. London, 1647; Englands New Chains Discovered. London, 1648; Большая часть памфлетов левеллеров собрана в книге: *Haller W., Davies G.,* eds. — The Levellers Tracts 1647—1653. New York: Columbia University Press, 1944.

[30] Вильгельм Завоеватель и его последователи «made Dukes, Earles, Barrons and Lords of their fellow Robbers, Rogues and Thieves» (Regall Tyrannie..., op.cit., p. 86). Неверно приписывать этот памфлет Дж. Лилберну; Р. Овертон, вероятно, участвовал в его редактировании.

[31] Наиболее известные тексты *диггеров*, к которым М. Фуко мог здесь обращаться, представляют собой два анонимных манифеста: Light Shining in Buckinghamshire, s.l, 1648; More Light Shining in Buckinghamshire, s.l, 1649. См. также: *Winstanley G.* et al. To his Excellency the Lord Fairfax and the Counsell of Warre the brotherly request of those that are called Diggers sheweth. London, 1650; *Winstanley G.* Fire in the Bush. London, 1650; The Law of Freedom in a Platform, or True Magistracy Restored. London, 1652 (см. *Sabine G.H.*, ed. The Works of Gerrard Winstanley, with an appendix of documents relating to the Digger Movement. Ithaca; New York: Cornell University Press, 1941).

Лекция от 11 февраля 1976 г.

Рассказ о началах. — Троянский миф. — Наследство Франции. — «Франко-Галлия». — Нашествие, история и государственное право. — Национальный дуализм. — Знание государя. — «Государство Франция» Буленвилье. — Суд, правление и знание знати. — Новый субъект истории. — История и конституция.

Я хочу начать с легенды, которая имела хождение во Франции с начала или почти с начала средневековья и вплоть до Ренессанса, то есть с истории французов, произошедших от франков, и франков, ведущих происхождение от троянцев, которые под водительством короля Франка, сына Приама, покинули Трою в момент пожара города и сначала нашли прибежище на берегах Дуная, затем в Германии на берегах Рейна, а в итоге обрели или, скорее, создали свою родину, Францию. Я не ставлю своей целью установить, что могла означать в средние века эта легенда или какова роль, которую она сыграла во время кругосветного путешествия и основания родины. Я хочу просто задаться вопросом: не удивительно ли, что эта легенда могла быть воспринята, могла иметь хождение в эпоху Ренессанса.[1] Удивление вызывает совсем не фантастический характер династий или обозначенных в ней исторических фактов, а скорее то, что, по существу, из этой легенды полностью выпали Рим и Галлия, Галлия, которая сначала была врагом Рима, захватывала Италию и осаждала Рим; выпала также Галлия, когда она стала римской колонией, выпали Цезарь и имперский Рим. И следовательно, выпала вся римская литература, которая между тем была хорошо известна в ту эпоху.

Я думаю, что можно понять исключение Рима из троянской легенды только в том случае, если отказаться рассматривать этот рассказ о началах как попытку создания истории, которая могла бы быть включена в старые представления. Мне кажется, что этот дискурс имеет другое, точное назначение, а именно, его цель не столько рассказать о прошлом или о началах, сколько заявить о праве, праве власти: по сути — это урок государственного права. В качестве такового эта легенда, я думаю, и имела хождение. И именно в силу этого Рим в ней отсутствует. Но он в ней также присутствует в своего рода расщепленной, смещенной, связанной форме: Рим есть, но в качестве зеркала и образа. В самом деле, сказать, что франки, так же как римляне, были беглецами из Трои, что Франция представляет другую ветвь троянской линии по отношению к римской ветви, значило высказать два или три политически и юридически важных положения.

Утверждение, согласно которому франки, как и римляне, были беглецами из Трои, предназначено прежде всего заявить, что после исчезновения римского государства (олицетворявшего в конечном счете одного из братьев, причем самого старшего) другие братья, младшие, естественно, оказываются его наследниками, как это оговорено даже в обычном гражданском праве. В силу естественного и признанного всеми права Франция таким образом оказывается наследницей империи. Это означает две вещи. Прежде всего, что король Франции в отношении своих подданных наследует те права и полномочия, какие имел римский император: верховная власть короля Франции оказывается подобна верховной власти римского императора. Право короля — это римское право. И троянская легенда помогает представить в образах тот принцип, который был сформулирован в средние века, в частности Бутийе, когда он говорил, что король Франции является императором в своем королевстве.[2] Вы понимаете, что это важный тезис, так как в целом речь идет об историко-мифическом обосновании развития на протяжении всего средневековья королевской власти, которая создавала себя по образу Римской imperium, восстанавливая имперские права, систематизированные в эпоху Юстиниана.

Но сказать, что Франция — наследница империи, значит также сказать, что Франция как кузина Рима имеет равные с ним

права. Это означает, что Франция не зависит от мировой монархии, которая пожелала бы восстановить Римскую империю. Франция имеет также все имперские права, как и все другие потомки Римской империи; у нее такой же имперский характер, что и у немецкой империи; она вовсе не должна подчиняться германским Цезарям. Никакая вассальная зависимость не может привязать ее к монархии Габсбургов и, следовательно, включить ее в великие планы мировой монархии, существовавших в то время у Габсбургов. Вот почему в этих условиях Рим должен был быть исключен. Но нужно было также исключить римскую Галлию, Галлию Цезаря и колонизации, так как никоим образом нельзя было допустить, чтобы Галлия и наследники галлов изображались вечно зависимыми от империи. И также было нужно, чтобы были исключены франкские нашествия, так как они разорвали внутреннюю связь с Римской империсй. Но идея внутренней непрерывности Римской imperium вплоть до французской монархии исключала связанный с нашествиями разрыв. Независимость Франции от Империи, от ее наследников (и в особенности, от мировой монархии Габсбургов) требовала, чтобы исчезло подчинение Франции Древнему Риму; нужно было, значит, чтобы римская Галлия исчезла; иначе говоря, Франция должна была стать другим Римом, не зависимым от Рима, но все же Римом. Королевский абсолютизм был для Франции значим так же, как и имперская власть в самом Риме. Вот, грубо говоря, предназначение уроков по государственному праву, которое можно обнаружить за процессами возрождения или поддержания троянской мифологии вплоть до позднего Ренессанса, в ту же самую эпоху, когда римские тексты о Галлии, римской Галлии, были хорошо известны.

Иногда говорят, что именно религиозные войны позволили перевернуть эти старые мифологии (они, как я думаю, представляли собой урок государственного права) и в первый раз ввели тему, названную позже Огюстеном Тьерри «национальным дуализмом»,[3] тему о двух чуждых друг другу группах, которые составляют постоянную основу государства; но я не думаю, однако, чтобы это было абсолютно верно. Когда говорят, что религиозные войны позволили осознать национальный дуализм, то имеют в виду текст Франсуа Хотмана

«Франко-Галлия»,[4] датированный 1573 г., сам заголовок которого как будто указывает, что автор думал именно о таком дуализме. В действительности Хотман в своем тексте воспроизводит германский тезис, распространенный в империи Габсбургов и в основном эквивалентный чтимой во Франции троянской легенде, он был, так сказать, ее визави. В этом германском тезисе, который формулировался несколько раз, и в частности неким Беатом Ренанусом, говорилось следующее: «Мы не римляне, мы немцы, германцы. Однако по причине имперской формы, которую мы унаследовали, мы являемся естественными и юридическими преемниками Рима. Захватившие Галлию франки, как и мы, германцы. Когда они захватили Галлию, они оставили свою родную Германию; но, с одной стороны, поскольку они были германцами, они и остаются германцами. Они живут, следовательно, внутри нашей imperium; а так как, с другой стороны, они захватили и оккупировали Галлию, победили галлов, они, естественно, олицетворяют на этой завоеванной и колонизованной земле imperium, имперскую власть, которой они неизбежно облечены как германцы. Следовательно, Галлия, галльская земля, теперь Франция в силу двух причин — в силу права завоевания и победы и в силу германского происхождения франков — должна быть зависима от мировой монархии Габсбургов[5], подчинена ей».

Именно этот тезис забавно и до некоторой степени естественно переймет и приспособит для Франции Франсуа Хотман в 1573 г. Начиная с этого момента и по крайней мере до начала XVII века он будет иметь значительный успех. Хотман перенимает немецкий тезис и говорит: «Действительно, франки, завоевавшие в определенный момент Галлию и создавшие новую монархию, не являются троянцами; это германцы. Они победили римлян и изгнали их.». Это почти буквальное воспроизводство германского тезиса Ренануса. Я говорю «почти», ибо существует все же фундаментальное различие: Хотман не говорит, что франки победили галлов; он говорит, что после длительной войны они победили римлян.[6]

Тезис Хотмана, конечно, важен, так как он вводит основополагающую тему нашествия (которая является крестом для юристов и мраком для королей) почти в то же время, когда она появляется в Англии, нашествия, в ходе которого одни госу-

дарства исчезают, а другие появляются. Именно вокруг этой темы будут происходить все юридически-политические дебаты. Отныне и по причине этой фундаментальной прерывности становится очевидно, что больше нельзя считать главной функцией государственного права обеспечение непрерывного характера генеалогии королей и их власти. Отныне главной для государственного права станет проблема, которую один из последователей Хотмана, Этьен Паскье, назовет «другой последовательностью»[7], то есть проблема, связанная с ситуацией, когда одно государство сменяет другое. Что происходит и что это значит для государственного права и для власти королей, когда одно государство сменяется другим не по закону неуничтожимой непрерывности, когда государства рождаются, достигают могущества, затем угасают и в конечном счете целиком исчезают? Хотман фактически поставил эту проблему — но я не думаю, что он поставил другую, совершенно отличную от проблемы о циклической природе и непрочности государств, — проблему двух чуждых* наций внутри одного государства. Впрочем, ни один из авторов, живших во времена религиозных войн, не принял идею о дуализме — расы, происхождения, нации, — пронизывавшем монархию. Это было невозможно, потому что, с одной стороны, приверженцы единственной религии, которые явно выдвигали принцип «одна вера, один закон, один король», не могли требовать религиозного единства, принимая положение о внутреннем дуализме нации; с другой стороны, те, кто, напротив, требовали возможности религиозного выбора, свободы совести, могли сделать свой тезис приемлемым только при условии следующей оговорки: «Ни свобода совести, ни возможность религиозного выбора, ни даже существование двух религий внутри нации не могут ни в коем случае подрывать единство государства. Единство государства не затрагивается свободой совести». Таким образом, принималось ли положение о религиозном единстве или, напротив, положение о свободе совести, но тезис о единстве государства укреплялся на протяжении всего периода религиозных войн.

---

*В рукописи вместо «проблемы двух чуждых наций» значится «проблемы о том, что во Франции были две чуждые нации».

Когда Хотман излагал свою версию истории, он имел в виду совсем другое. Он хотел предложить юридическую модель управления, противоположную тому римскому абсолютизму, который стремилась восстановить французская монархия. История о германском нашествии была для него просто способом сказать: «Нет, неправда, король Франции не имеет права олицетворять в отношении своих подданных imperium римского типа.». Хотман не решал проблемы разделения двух различных элементов в народе; перед ним стояла задача внутреннего ограничения монархической власти.[8] Этим определяется его способ изложения фабулы, когда он говорит: «Вначале галлы и германцы были фактически братскими народами. Они поселились в двух соседних регионах, по одну и другую сторону Рейна. Значит, не произойдет никакого иностранного нашествия, когда германцы придут в Галлию. В действительности они придут к нам в любом случае как братья.[9] Но тогда кто же был чужим для галлов? Чужие — это римляне, которые путем нашествия и войны (описанной Цезарем[10]) навязали политический режим абсолютизма; они, иностранцы, установили нечто чужое даже для Галлии: Римскую imperium. Галлы веками сопротивлялись, но безуспешно. Именно их германские братья в IV и V веках начали, в интересах галльских братьев, освободительную войну. И германцы пришли не как завоеватели, а как братский народ, помогающий своим братьям освободиться от римских завоевателей.[11]». И вот римляне изгнаны; галлы освобождены; они составляют одну и ту же нацию вместе с германскими братьями, устройство и основные законы которой — как начинают говорить юристы той эпохи — являются законами германского общества. Это означает: суверенность народа, который регулярно собирается на Марсовом поле или на майских сборах; суверенность народа, который избирает короля по своему желанию и смещает его, если это необходимо; суверенность народа, который управляется только магистратами, обладающими лишь временными и четко определенными советом функциями. И именно это германское устройство разрушили позднее короли, выстраивая тот абсолютизм, образцом которого была французская монархия XVI века.[12] Таким образом, в изложенной Хотманом версии истории речь вовсе не идет об установлении факта дуализма. Напротив, в ней очень

сильно подчеркивается германо-французское, франко-галльское, франко-гальенское, как он говорит, единство. Речь идет об обосновании глубокого единства и в то же время об изложении в своеобразной форме истории существующего в настоящем раздвоения. Ясно, что захватчики римляне, о которых говорит Хотман, это перенесенный в прошлое эквивалент папского Рима и его духовенства. Братские германские освободители — это, очевидно, реформированная религия, пришедшая с другого берега Рейна; единство королевства при суверенности народа — это политический проект конституционной монархии, поддержанный многочисленными протестантскими группами той эпохи.

Дискурс Хотмана важен, потому что он особым способом, который вскоре станет определяющим, увязывает проект ограничения королевского абсолютизма с обнаружением в прошлом определенной исторической модели, которая фиксировала в тот момент взаимные права короля и его народа и которая в последующем была забыта и искажена. В дискурсе Хотмана, я думаю, представлен вовсе не дуализм, а та связь, которая начиная с XVI века будет существовать между ограничением права монархии, утверждением некой прошлой модели власти и революцией с целью нового утверждения основополагающей и забытой конституции. Этот германский тезис был в исходном пункте протестантским по происхождению. Но фактически он очень быстро начал циркулировать не только в протестантских кругах, но и в католических, начиная с момента, когда, напротив, католики (это произошло в царствование Генриха III и особенно в период завоевания власти Генрихом IV) стали стремиться к ограничению королевской власти и резко выступили против королевского абсолютизма. Так что этот германский тезис протестантского происхождения можно обнаружить у католических историков, вроде Жана Тийе, Жана Серреса[13] и т. д. Начиная с конца первой трети XVII века этот тезис станет объектом усилий, направленных если не на обесценивание его, то, по крайней мере, на выпячивание его германского происхождения, германского элемента в нем, со всем тем, что он имел неприемлемого для монархической власти, неприемлемого вдвойне: в том, что касается отправления власти и принципов государственного права; а также в том, что касается отношения к европейской политике Ришелье и Людовика XIV.

Использовались несколько приемов с целью обойти идею о германском происхождении Франции, особенно выделяются два: первый — возврат к троянскому мифу, который действительно был заново возрожден в середине XVII века; второй, получивший широкое распространение, это обращение к абсолютно новой теме, которая должна была вскоре стать основной. Это тема, которую я бы определил как радикальный «галлоцентризм». Галлы, которых Хотман описывал как основных партнеров в предыстории французской монархии, были своего рода инертной материей, субстратом: людьми побежденными, земли которых были оккупированы и которых нужно было освободить извне. Но с XVII века галлы начинают играть первую роль, становятся как бы двигателем истории. И в силу своеобразного перевертывания полюсов и ценностей именно галлы оказываются первой, основной силой, а германцы, напротив, изображаются как ветвь галлов. Германцы — только эпизод в истории галлов. Этот тезис можно обнаружить у людей типа Одижье[14] или Таро[15] и т. д. Одижье говорит, например, что галлы были предками всех народов Европы. Один король Галлии по имени Амбигат правил ею в такой период, когда она была полной изобилия страной, со столь многочисленным населением, что он был вынужден частично его уменьшить. Тогда он послал одного из своих племянников в Италию, а другого, по имени Сиговеж, в Германию. С этого момента, с этой своего рода экспансии и колонизации, галлы и французская нация становятся как бы матрицей для всех других народов Европы (и даже за ее пределами). Именно в силу этого, говорит Одижье, французская нация имела «одно начало со всем тем, что было когда-либо ужасного, храброго и славного в мире, то есть с вандалами, готами, бургундами, англичанами, герулами, силингами, гуннами, гепидами, аланами, квадами, уронами, руфинами, тюрингцами, ломбардами, турками, татарами, персами и даже норманнами[16]».

Таким образом, франки, которые в IV и V веках* захватили Галлию, были только потомками этой первоначальной Галлии; они были просто галлами, стремящимися вновь увидеть свою

---

*В рукописи вместо «IV и V века» значится «V и VI века», что соответствует эпохе завоеваний.

страну. Перед ними не стояла задача освобождения порабощенной Галлии и своих побежденных братьев. Они просто испытывали глубокую ностальгию, а также желание извлечь пользу из процветающей галло-римской цивилизации. Вернулись кузены, расточительные сыновья. Но вернувшись, они не нарушили укоренившееся в Галлии римское право, напротив, они его заново усвоили. Они поглотили римскую Галлию, или, вернее, позволили себе быть поглощенными ею. Обращение Хлодвига — это проявление того, что древние галлы, ставшие германцами и франками, заново усвоили ценности, политическую и религиозную системы Римской империи. И если в пору возвращения франки сражались, то не против галлов и даже не против римлян (ценности которых они переняли), а против бургундов и готов (которые были еретиками, как и арийцы) или против неверующих сарацинов. Именно против них они вели войну. И в виде компенсации воинам, сражавшимся против готов, бургундов и сарацин, короли выделили им фьефы. Таким образом, начало того, что в ту эпоху еще не называлось феодализмом, связано с войной.

Описанная в этом духе история позволяла делать заключение об автохтонном характере галльского населения. Она позволяла также говорить о существовании естественных границ Галлии — тех, которые были указаны Цезарем,[17] — и определяла также цели Ришелье и Людовика XIV в их внешней политике. В этой истории речь шла также о том, чтобы уничтожить не только всякое расовое различие, но и различие между германским и римским правом. Нужно было показать, что германцы отказались от своего собственного права в пользу юридически-политической системы римлян. И наконец, нужно было объяснить происхождение фьефов и прерогатив знати не глубинными и архаическими правами самой знати, а просто волей короля, абсолютная власть которого предшествовала бы таким образом самой организации феодального строя. И последнее, нужно было обосновать французские претензии на мировую монархию. А так как Галлия была тем, что Тацит называл vagina nationum[18] (пришедшая, кстати, из других мест, особенно из Германии), и так как Галлия была на деле матрицей для всех наций, кому должна была принадлежать мировая монархия, как не королю, который унаследовал землю Галлии?

Конечно, у этой темы есть много вариаций, которые я опускаю. Если я и задержался на ней подольше, то потому, что хотел соотнести ее с тем, что происходило в Англии в ту же эпоху. Между тем, что говорилось в Англии о происхождении и основании английской монархии, и тем, что говорится в середине XVII века об основании французской монархии, существует, по крайней мере, один общий момент и в то же время большое различие. Общий момент — и он, я думаю, важен — состоит в том, что нашествие с его формами, мотивами, последствиями становится исторической проблемой в той мере, в какой в него включается важная юридически-политическая цель: именно нашествие выявляет то, что составляет природу права, границы монархической власти; сам факт истории нашествия указывает на суть и назначение королевских советов, ассамблей, верховных судов; именно в связи с нашествием становится ясно, какой является знать, каковы ее права перед лицом короля, королевских советов и народа. Короче, именно в связи с нашествием могли быть сформулированы сами принципы государственного права.

В эпоху, когда Гроций, Пуфендорф, Гоббс искали в естественном праве принципы справедливого государственного устройства, началось, в дополнение и в противоположность этому, очень серьезное историческое исследование о происхождении и законности действительно существующих прав — и именно один исторический факт или, если хотите, определенный отрезок истории представлял самую сложную из всей истории Франции в юридическом и политическом отношениях проблему. Говоря приблизительно, это период от Меровея до Карла Великого, с V по IX век, относительно которого не переставали утверждать (это повторяли с XVII века), что это был самый темный период. Темный? Может быть. Но определенно наиболее привлекающий внимание. Во всяком случае, теперь — в первый раз, я думаю, — в область истории Франции, которая до тех пор предназначалась для установления непрерывности власти королевской imperium и повествовала только об истории троянцев и франков, входят новые персонажи, появляются новые тексты и новые проблемы: из персонажей это Меровей, Хлодвиг, Карл Мартелл, Карл Великий, Пе́пин; тексты Грегуара из Тура,[19] картулярии Карла Великого.

Появляются обычаи: Марсово поле, майские ассамблеи, ритуал величания королей и т. д. Появляются события вроде крещения Хлодвига, битвы при Пуатье, коронования Карла Великого; или исторические анекдоты наподобие истории о суассонской вазе, где выведен король Хлодвиг, который сначала отрекается от своих притязаний перед лицом своих воинов, а затем мстит за это.

Все это создает новый исторический пейзаж, новую систему отсчета, которая осознается лишь постольку, поскольку существует очень сильная связь между этим новым материалом и политическими дискуссиями о государственном праве. Фактически история и государственное право тесно связаны. Проблемы, поставленные государственным правом, и структурирование истории имеют глубинную связь, к тому же выражение «история и государственное право» будет закреплено вплоть до конца XVIII века. Если посмотреть, как фактически много позже XVIII века, даже в XX веке обучают истории, посмотреть на преподавание истории, то можно увидеть, что рассказывают именно о государственном праве. Я не знаю, каковы школьные учебники в настоящее время, но еще не так давно история Франции начиналась с истории галлов. И фраза «наши предки, галлы» (которая заставляла смеяться, так как обучали алжирцев, африканцев) в некотором смысле очень точная. Сказать «наши предки, галлы», значит в основном сформулировать положение, которое имеет определенный смысл в теории конституционного права и для проблем, поставленных государственным правом. Когда детально описывают битву при Пуатье, это также имеет очень точный смысл в той мере, в какой на деле война шла не между франками и галлами, а между франками, галлами и захватчиками, принадлежащими к другой расе, исповедующими другую религию, что позволяет связать происхождение феодализма с чем-то другим, а не с внутренним конфликтом между франками и галлами. И история суассонской вазы, которая, я думаю, вошла во все исторические учебники и которую, может быть, и теперь еще рассказывают, была действительно одной из наиболее изучаемых на протяжении всего XVIII века. История суассонской вазы — это история одной из проблем конституционного права: проблемы о том, какими были на деле права короля по отношению к правам его воинов и в известных

случаях знати (в той мере, в какой эти воины составляют основу дворянства)? Тогда думали, что изучали историю; но в XIX веке и все еще в XX учебники истории были фактически учебниками государственного права. Под видом исторических сюжетов изучали государственное и конституционное право.

Итак, пункт первый: появление во Франции новой области истории, которая, впрочем, очень похожа (что касается ее материала) на то, что открылось в истории Англии, когда в связи с проблемой монархии вновь оказалась актуальной тема нашествия. Но при сравнении с Англией обнаруживается глубокое отличие. Если в Англии завоевание и расовый дуализм нормандцы\саксы всегда были важным моментом рассмотрения истории, во Франции вплоть до конца XVII века не было никакой гетерогенности нации и вся система легендарного родства между галлами и троянцами, затем между галлами и германцами, затем между галлами и римлянами и т. д. позволяла обеспечить непрерывность в передаче власти и беспроблемную гомогенность нации. Однако именно представление об этой гомогенности будет разбито в конце XVII вска и не вследствие появления другого, замещающего первое или несходного с ним теоретического или теорстико-мифологического построения, о котором я только что рассказывал, а вследствие дискурса, я думаю, абсолютно нового по своим функциям, объектам, следствиям.

Не гражданские или социальные войны, не религиозные войны эпохи Ренессанса, не конфликты Фронды вызвали появление темы национального дуализма в качестве своего отражения или порождения; ее пробудил один конфликт, одна, по видимости, второстепенная проблема, что-то, характеризуемое в целом как арьергардная борьба, но не являющаяся таковой — вы, я думаю, это увидите, — и именно она позволила осмыслить два капитальных вопроса, еще не вписанных ни в историю, ни в государственное право. Это, с одной стороны, вопрос о том, составляет ли действительно основу государства война враждебных групп, с другой — вопрос, может ли политическая власть рассматриваться одновременно как продукт этой войны, как до некоторой степени ее арбитр, но чаще всего как орудие, как то, что извлекает прибыль из этой войны, является в ней элементом пристрастным и действующим в пользу одной

из сторон. Это проблема точная и ограниченная, но все же существенная, именно исходя из нее, как я думаю, и был опровергнут скрытый тезис о гомогенности общества (который настолько был распространен, что его даже не нужно было формулировать). Но как? А при опоре на то, что я назвал политической педагогикой: что должен знать государь, откуда и от кого должен он черпать свое знание; кто полномочен конституировать его знание? Если говорить конкретно, речь идет просто об известном воспитании герцога Бургундии, вы знаете, что оно поставило много проблем в силу целой кучи причин (я не имею в виду только его элементарное ученичество, так как он был уже взрослым, когда происходили события, о которых я собираюсь вам рассказать). Речь идет о совокупности знаний о государстве, правительстве, стране, необходимых для того, кто после смерти Людовика XIV будет призван управлять этим государством, правительством и страной. Речь, таким образом, идет не о *Телемахе*[20], а об огромном обзоре государства Франция, который Людовик XIV заказал своей администрации и своим управителям для внука, герцога Бургундии, который должен был стать его наследником. Об обзоре Франции (общее исследование ее положения, экономики, институтов, обычаев), необходимом для короля, чтобы он смог править.

Итак, Людовик XIV требует составления обзоров от своих управляющих. Через несколько месяцев они были собраны и объединены. Окружение герцога Бургундии, которое составляло ядро благородной оппозиции, состояло из знати, упрекавшей Людовика XIV в том, что он подорвал ее экономическую силу и политическую власть, получает этот обзор и поручает Буленвилье подготовить его для представления герцогу Бургундии, уменьшить его, ибо он был огромным, и затем дать ему толкование, интерпретацию, расшифровать его. Буленвилье действительно делает выборку, сокращает эти огромные обзоры и резюмирует их в двух больших томах. Наконец, он письменно формулирует представление, сопровождая его некоторым числом критических соображений и речью: сопровождение было необходимо для этого огромного административного труда по описанию и анализу государства. Его речь довольно любопытна, так как в ней, с целью прояснения современного

положения Франции,[21] дается описание прежнего управления Францией вплоть до Гуго Капéта.

В своей речи Буленвилье — как и те, кто за ним следовал,[22] — стремится выдвинуть тезисы, благоприятные для знати. В этом духе критикуется продажа должностей, неблагоприятная для обедневшего дворянства; выражается протест против лишения его права юрисдикции и связанной с этим выгоды; содержится требование участия знати в королевском совете; подвергается критике роль интендантов в управлении провинций. Но особенно в тексте Буленвилье и во всем начинании, связанном с повторной обработкой обзоров, представленных королю, выражается протест против того, что предназначенное для короля, а затем для принца знание сфабриковано самим административным аппаратом. Это протест против того, чтобы знание короля о своих подданных было полностью захвачено, оккупировано, предписано, определено как знание государства о себе самом. Проблема состоит в том, должно ли знание короля о своем королевстве и о своих подданных быть изоморфно знанию государства о государстве? Должны ли необходимые для функционирования административной монархии знания о бюрократии, налогах, экономике, о судебном устройстве быть преподнесены принцу в виде совокупности данной ему информации, на основании которой он будет управлять? Короче, проблема в том, что администрация, большой административный аппарат, который создал король в рамках монархии, был своеобразно спаян с государем, составлял с ним одно целое, так как по причине свойственной ему произвольной и безграничной воли администрация целиком находилась в его руках и в его распоряжении, поэтому она не могла ему сопротивляться. Но, добровольно или вынужденно, государь должен составлять целое с администрацией, быть спаянным с ней в силу понимания, что администрация нужна ему для ознакомления его с положением в обществе. Администрация позволяет королю подчинить страну его безграничной воле. Но и наоборот, администрация управляет королем в силу качества и природы навязываемого ему знания.

Я думаю, что мишенью Буленвилье и тех, кто его окружал в ту эпоху, — как и целью его последователей в середине XVIII века (вроде графа дю Бюа-Нансэ[23]) или Монтлозье[24]

(его проблема будет более сложна, так как он выступит в начале Реставрации против имперской администрации), — настоящей мишенью этих историков, связанных с дворянской реакцией, был механизм знание-власть, который начиная с XVII века связывает административный аппарат с государственным абсолютизмом. Я думаю, что все происходило почти так, как если бы обнищавшая, частично удаленная от власти знать выбрала первой целью своего наступления и контрнаступления не столько прямое и непосредственное возвращение себе властных полномочий и не столько возвращение своих богатств (что было, конечно, определенно недостижимо), а обретение важной роли в системе власти, чем она во все времена пренебрегала, даже когда была могущественна: на ее месте оказались церковь, клерки, магистраты, затем буржуазия, администраторы, даже финансисты. Позицией, необходимой для того, чтобы во всех отношениях вновь занять первое место, стратегической целью дворянства, зафиксированной Буленвилье, условием для всякого рода компенсаций не была, как говорили на дворцовом языке, «милость государя». Теперь надлежало завоевать и занять место в сфере королевского знания или определенного знания, общего для короля и дворянства: скрытого знания о взаимосвязи короля и дворянства. Речь шла о том, чтобы пробудить необдуманно растраченную память дворянства и тщательно, может быть из злобы, похороненные воспоминания монарха и таким путем восстановить подлинное знание для короля, знание, которое будет правильной основой для справедливого управления. Таким образом, имелось в виду контрзнание, работа с целью проведения абсолютно новых исторических исследований. Я говорю о контрзнании, потому что это новое знание и новые методы получения королевского знания означали для Буленвилье и его последователей отрицание двух видов ученого знания, двух аспектов (и, может быть, также двух фаз) административного знания. В тот период большим врагом нового знания, с помощью которого знать хотела вмешаться в подготовку знания для королей, было юридическое знание, его нужно было устранить: его носителями были трибунал, прокурор, юрисконсульт и судейские секретари. Это знание дворяне, конечно, ненавидели, так как именно с его помощью они были пойманы в ловушку, из-за непонятных

им хитросплетений лишены своих владений и прав юрисдикции, а затем и имущества. Но особенно они ненавидели это знание за то, что оно было своего рода кругообразным, отсылало от знания к знанию. Когда король с целью узнать свои права запрашивает секретарей суда и юрисконсульта, какой ответ он может получить, если не ответ, выражающий точку зрения судьи и прокурора, которых сам же король и создал; поэтому неудивительно, что он от них получает восхваления своей власти (которые впрочем, может быть, маскируют хитрые злоупотребления властью со стороны прокуроров, судейских секретарей и т. п.)? Во всяком случае это кругообразное знание. В нем король может увидеть лишь образ своего собственного абсолютизма, оно вновь убеждает его в правильности осуществленных им в отношении дворянства узурпаций, хотя и облаченных в правовую форму.

Именно против знания судейских секретарей дворянство выдвигало вперед другую форму знания, историю. Его характерной чертой станет выход за пределы права, проникновение за право, в щели права; оно больше не будет тем, чем было до сих пор, то есть данным в образах, драматизированным развертыванием государственного права. Оно, напротив, попытается свести государственное право к исторической основе, включить его институты в более древнюю систему других, более глубоких, более торжественных, более существенных обязательств. В этом знании речь пойдет о значении исторической справедливости в противовес знанию судейских секретарей, от которого король не может получить ничего, кроме восхваления собственного абсолютизма (то есть снова и все еще восхваления Рима). Нужно было в обход истории права пробудить неписанные обязательства, формы преданности, которые, конечно, не основывались на документе и тексте. Нужно было оживить забытые обещания и вспомнить кровь, пролитую дворянством за короля. Нужно было также определить саму систему права — в ее наиболее законных институтах, в самых ясных и наиболее известных указах — как результат всех беззаконий, несправедливостей, злоупотреблений, экспроприаций, измен, нарушений верности, совершенных королевской властью в отношении дворянства, а также судейскими крючкотворами, которые узурпировали одновременно власть дворянства, а, может

быть, даже не осознавая этого, и королевскую власть. Таким образом, история права должна была стать разоблачением измен и всех связанных с первыми вторичных измен. В этой истории, которая даже по форме должна была противостоять знанию, исходящему от судейских крючкотворов, следовало открыть глаза государю на неизвестные ему узурпации и восстановить в его памяти силы и связи, которые он сам заинтересован был забыть и заставил забыть других. В противовес знанию крючкотворов, которое постоянно отсылает от одной действительности к другой, от власти к власти, от текста закона к воле короля и наоборот, история должна была стать оружием дворянства, униженного, подвергшегося измене; история в ее глубоко антиюридической форме должна будет раскрыть оборотную сторону письменных документов, воскресить в памяти все старые обычаи и вывести на свет то, что скрывало явно чужое знание. Вот первый крупный противник того исторического знания, которого пыталась отбросить знать, чтобы заняться формированием королевского знания.

Другим крупным противником было уже не знание судей или судейских секретарей, а знание интендантов: теперь атаковалась не канцелярия суда, а контора. Это знание дворяне также ненавидели. И в силу аналогичных причин, так как именно знание интендантов позволило урезать богатства и власть благородных. Это знание также могло ослепить короля и ввести его в заблуждение, поскольку именно благодаря ему король мог поддержать свою силу, достигнуть повиновения, обеспечить сбор налогов и т. д. Оно было административным, преимущественно экономическим, количественным знанием об известных или скрытых богатствах, о допустимых налогах, полезных сборах. В противовес знанию интендантов и контор, дворяне хотели выдвинуть другую форму знания: на этот раз историю богатств, а не экономическую историю, то есть историю перемещения богатств, лихоимства, воровства, мошенничества, злоупотреблений, обнищания, упадка. Следовательно, историю, которая минует проблему производства богатств, а сосредоточивается на показе того, как на основе разорения, долгов, противозаконного накопления составлялось фактически богатство, которое в конечном счете было результатом бесчестных операций, совершенных королем вместе с бур-

жуазией. Таким образом, в противовес анализу богатств история должна была описывать способы, с помощью которых благородные были разорены в бесконечных войнах; а также способы, на основе которых церковь хитростью завладела землями и доходами; и те, которыми буржуазия опутала знать долгами; и те, какими королевский фиск урезал доходы дворянства, и т. д.

Два названных больших дискурса — принадлежащих судейским секретарям и интендантам, суду и конторе, которым должна была противостоять история, созданная знатью, — имели разную хронологию: в силу этого борьба против юридического знания была более мощной, активной и интенсивной в эпоху Буленвилье, то есть между концом XVII и началом XVIII века, борьба против экономического знания, конечно, стала гораздо более резкой в середине XVIII века, в эпоху физиократов (они станут самым важным противником для дю Бюа-Нансэ[25]). В любом случае, шла ли речь о знании интендантов, управленцев, об экономическом знании или о знании юридическом, лежавшем в основе деятельности судов и трибуналов, под сомнение ставилось знание, которое создавалось государством о государстве, ему на смену должна была прийти другая форма знания, история. Но история чего?

До тех пор существовала история, которую власть рассказывала о себе самой: власть создавала историю власти. Теперь же история, выдвигавшаяся дворянством в противовес дискурсу государства о государстве, власти о власти, призвана была изменить само назначение исторического знания. Разрушается — и это важно — отношение между рассказом об истории, с одной стороны, и практикой власти, ее ритуальным укреплением, образным представлением государственного права — с другой. Вместе с Буленвилье, вместе с дискурсом реакционного дворянства конца XVII века появляется новый субъект истории. Это означает две вещи. Во-первых, появляется новый субъект, говорящий от своего имени: некто другой берет слово в истории, рассказывает ее; некто другой говорит «я» и «мы», когда излагает историю; некто другой ведет рассказ о своей собственной истории; некто другой заново оценивает прошлое, события, права, несправедливости, поражения и победы, ставя в центр себя самого и свою судьбу. Итак, мы фиксируем изменение говорящего об истории субъекта, но одновременно

происходит и модификация самого объекта рассказа, его предмета, темы, то есть модификация первого, предшествующего, более глубокого элемента, которая позволяет определить заново права, институты, монархию и саму территорию. Короче, начинают говорить о развитии того, что лежит глубже государства, что пробивается сквозь право и является более древним и глубоким, чем государственные институты.

Но что представляет собой новый субъект истории, тот, кто говорит в ней, и тот, о ком ведется исторический рассказ, субъект, появляющийся в момент, когда отодвигают в сторону административный или исторический дискурс государства о государстве? Он представляет собой «общество», как его назвал один историк той эпохи: общество, понятое как ассоциация, группа, совокупность индивидов с общим статусом, общими нравами, обычаями и даже особым законом. И это общество, которое берет слово в истории и о котором рассказывает история, согласно словарю той эпохи обозначается словом «нация».

В ту эпоху нация не была тем, что определялось бы единством территорий или некоторой политической морфологией, или системой зависимостей в какой-нибудь imperium. Нация существовала без границ, без определенной политической системы и без государства. Нация находилась по ту сторону границ и институтов. Такова нация или, скорее, нации, то есть объединения, общества, группы людей, индивидов, сообща имеющих один статус, одинаковые нравы, обычаи, определенный общий закон, понятый, скорее, как продиктованная статусом норма поведения, а не как государственный закон. Именно об этих группах должна была поставить вопрос история. И именно они, то есть нации, хотят теперь взять слово в истории. Дворянство — это нация перед лицом других наций, существующих в государстве и противостоящих друг другу. Именно из этого понятия нации вырастет известная революционная проблема нации; именно с ней, конечно, будут связаны фундаментальные проблемы национализма XIX века; именно на ее основе возникнет понятие расы; и наконец, на ней будет основываться понятие класса.

Вместе с новым субъектом истории — субъектом, говорящим в истории, и субъектом, о котором говорит история, — появляется, конечно, также вся новая морфология исторического

знания, получающего теперь новую область объектов, новую точку отсчета, когда внимание обращено не просто на темные до того процессы, но и на факты, в целом отброшенные. Поднимаются на поверхность в качестве первостепенной исторической тематики все смутные процессы, происходящие на уровне столкновения групп, происходящие ниже государственного уровня и сквозь его законы. Это темная история союзов, соперничества групп, замаскированных или искаженных интересов, история нарушения прав, перемещения состояний; история преданности и измен; история расходов, вымогательства, долгов, мошенничества, забвения, невежества и т. д. В то же время это знание, направленность которого состоит не в ритуальной поддержке основных действий власти, а, напротив, в систематическом обнаружении ее злобных намерений и воскрешении всего, что было забыто. Это метод постоянного разоблачения злодейств в истории. Речь не идет больше об истории, прославляющей власть; это история ее низостей, злодейств, измен.

Новый дискурс (имеющий нового субъекта и новую точку отсчета) сопровождается и новым, если можно так сказать, *пафосом*, целиком отличным от большого церемониального ритуала, неясно сопровождавшего еще исторический дискурс, когда речь шла об истории троянцев, германцев и т. д. Этот новый *пафос* направлен не на церемониальное укрепление власти, а на придание блеска тому течению мысли, которое развивают в основном во Франции правые: для него характерны, во-первых, почти эротическая страсть к историческому знанию; во-вторых, систематическое разрушение интерпретированного разума; в-третьих, ожесточенность разоблачения; в-четвертых, наконец, использование истории как своего рода заговора против власти, атаки на нее, направленность ее на государственный переворот или удар по государству, на выступление против государства.

Я не имею цели продемонстрировать то, что называется «историей идей». Я хотел не столько показать, как дворяне представляли то ли свои требования, то ли свои несчастья с помощью исторического дискурса, а как нарождался, формировался в связи с функционированием власти определенный инструмент борьбы — во власти и против власти; таким инструментом служило знание, новое знание (или, во всяком случае, частично

новое), то есть новая форма истории. Обращение к такого рода истории должно было в основном служить клином, который дворянство пыталось вбить между знанием суверена и административным знанием; история была нужна для того, чтобы оторвать абсолютную волю суверена от абсолютно покорной ему администрации. Такой исторический дискурс, старая история галлов и германцев, длинный рассказ о Хлодвиге и Карле Великом были не столько песней о прежних свободах, сколько должны были служить целям отстранения административного знания и административной власти, быть инструментами борьбы против абсолютизма. Вот почему такой тип дискурса — дворянского и реакционного происхождения — был востребован прежде всего во многих его формально конфликтующих модификациях каждый раз, когда какая-либо политическая группа в силу тех или иных причин стремилась к критике единства власти и знания в системе абсолютного государства административной монархии. И вот почему, естественно, один и тот же тип дискурса (одинаковый вплоть до формулировок) можно встретить и у правых, и у левых, у представителей дворянской реакции или в революционных текстах до и после 1789 г. Я процитирую только один текст о королевской несправедливости, о злодеяниях и изменах короля: «Как ты думаешь, — говорит автор, адресуясь к Людовику XVI, — какого наказания заслуживает человек, столь жестокий, неудачливый наследник кучи награбленного? Думаешь ли ты, что божеский закон не действителен для тебя? Или ты больше, чем человек, так что все должно служить твоей славе и для твоего удовлетворения? Кто ты? Если ты не Бог, то ты чудовище!». Это не слова Марата, они принадлежит графу дю Бюа-Нансэ, который писал Людовику XVI в 1778 г.[26] И они были в точности воспроизведены революционерами десять лет спустя.

Понятно, почему новый тип исторического знания, новый тип дискурса столь эффективно играет главную политическую роль в критике единства власти и знания в административной монархии, но и королевская власть не могла не пытаться в свою очередь взять этот дискурс под свой контроль. Так же как этот дискурс переходил от правых к левым, от дворянской реакции к революционному буржуазному проекту, таким же образом и королевская власть стремилась его присвоить или контролировать.

Можно видеть, как начиная с 1760 г. королевская власть пытается организовать историческое знание, что доказывает его политическую ценность, важность заложенного в нем политического смысла, пытается в некотором роде включить его в свою игру знания и власти, поместить его между административной властью и формирующимся на ее основе знанием. Именно в силу этого начиная с 1760 г. появляются институты, которые можно, вообще говоря, считать своего рода министерством истории. В 1760 г. создается *Библиотека финансов*, призванная обеспечить всем министрам его величества необходимые документы, сведения и разъяснения; в 1763 г. появляется *Хранилище хартий* [*вольностей*] для тех, кто хотел бы изучать историю Франции и ее государственное право. Наконец, эти два института были в 1781 г. объединены в *Библиотеку* — характерны термины — *законодательства, администрации, истории и государственного права*. В сопровождающем это постановление тексте говорилось о том, что библиотека предназначалась министрам его величества, администраторам, ученым и юрисконсультам, которым выполняемую по поручению канцлера или хранителя печатей работу, полезную для законодательства, истории и общества, будут оплачивать из средств его величества.[27]

Созданное министерство истории имело главу, Якоба-Николя Моро, и именно он, вместе со многими другими, собрал множество[28] средневековых и более ранних документов, над которыми в начале XIX века смогут работать историки вроде Огюстена Тьерри и Гизо. Как бы то ни было, в эпоху появления этого института — настоящего министерства истории — его назначение было довольно ясным: в момент, когда политические столкновения XVIII века отражались в историческом дискурсе, когда, если говорить точнее и глубже, историческое знание стало политическим оружием в борьбе против знания административного типа, обслуживавшего абсолютную монархию, последняя хотела им овладеть. Если хотите, создание министерства истории появилось как уступка, первое скрытое признание королем того, что существует исторический материал, на основе которого можно формулировать основные законы королевства. Это уже первое скрытое согласие, за десять лет до Генеральных Штатов, на своего рода конституцию.

И к тому же именно на основе собранных материалов будут задуманы и в 1789 г. организованы Генеральные Штаты: такова первая уступка королевской власти, ее первое скрытое признание, что что-то может стать между властью и ее администрацией, таковыми будут конституция, основные законы, представительство народа и т. д.; но это также внедрение исторического знания, принявшего авторитарный характер, именно туда, где его хотели видеть противники абсолютизма: оно должно было занять место между властью и административными знанием и практикой. И именно между государем и администрацией обосновалось министерство истории, чтобы установить своеобразную связь, заставить историю участвовать в игре монархической власти и ее администрации. Министерство истории, находясь между королем и его администрацией, должно было контролировать непрерывность монархической традиции.

Вот то немногое, что я хотел рассказать о новом типе исторического знания. Я постараюсь затем рассмотреть, как, отправляясь от этого знания и с его помощью, появляется борьба между нациями, то, что должно стать расовой борьбой и борьбой классов.

Примечания

[1] Начиная с «Historia Francorum» Псевдо-Фредегэра (727 г.) до «Франсиады» Ронсара (1572 г.) известны, по крайней мере, пятьдесят вариантов легенды о троянском происхождении франков. Или М. Фуко имеет в виду эту традицию, или он опирается на определенный текст, о котором говорит О. Тьерри в «Рассказах о временах Меровингов», которым предшествуют «Замечания по истории Франции», Париж, 1840, то есть на «Великие Хроники Сэн-Дени», написанные во второй половине XII века и опубликованные Поленом Пари в 1836 г.; переиздано Жаном Виаром в 1920 г. Можно прочитать большую часть из этих рассказов у дона М. Буке: «Сборник историй о Галлии и Франции». Париж, 1739—1752. Т. II, III.

[2] «Знайте, что он император в своем королевстве, что он может делать все, поскольку ему принадлежит имперское право» (*Бутийе Ж.* Сельская Сумма, или Большой Свод уложений гражданской практики [XIV века]. Брюгге, 1479). Этот текст цитирует О. Тьерри в своих «Замечаниях об истории Фрации».

[3] О. Тьерри. Там же. С. 41 (французское издание 1868 г.).

[4] *Hotman F.* Franco-Gallia. Genevae, 1573 (французский перевод: La Gaule française. Cologne, 1574; переиздано: La Gaule française. Paris: Fayard, 1981).

[5] См.: Beati Rhenani Rerum Germanicarum libri tres. Basiliae, 1531. Нужно между тем обратиться к изданию Ульма 1693 г., чтобы найти в комментарии и замечаниях, сделанных членами Имперской исторической коллегии, генеалогию и прославление «Europae Corona» Габсбургов (см.: Beati Rhenani libri tres Institutionum Rerum Germanicarum nov-antiquarum, historico-geographicarum, juxta primarium Collegi Historici Imperialis scopum illustratarum. Ulmae, 1693, в особенности с. 569—600. См. также комментарии в добавлении к страсбургскому изданию: Argentoratii, 1610).

[6] См.: *Hotman F.* Franco-Gallia. Op. cit., chap. IV: «De ortu Francorum, qui Gallia occupata, eius nomen in Franciam vel Francogalliam mutarunt» (P. 40—52, издание 1576 г.).

[7] *Pasquier E.* Recherches de la France. Paris, 1560—1567. 3 vol. Паскье был учеником Хотмана.

[8] «Semper reges Franci habuerunt [...] non tyrannos, aut carnefices: sed libertatis suae custodes, praefectos, tutores sibi constituerunt» (*Hotman F.* Franco-Gallia. Ed. citée, p. 54).

[9] Ibid. P. 62.

[10] *Cesar Jules.* Commentarii de bello gallico. См. в особенности книги VI, VII, VIII.

[11] *Hotman F.* Franco-Gallia. Ed. citée, p. 55—62.

[12] Ibid. P. 65 sq. Здесь Хотман описывает, в частности, «непрерывность власти общественного совета», сохранявшейся даже при смене династий.

[13] *Jean du Tillet.* Mémoires et Recherches. Rouen, 1578; Recueil des Roys de France. Paris, 1580; Remonstrance ou Advertissement à la noblesse tant du parti du Roy que des rebelles. Paris, 1585. *Jean de Serres.* Mémoires de la troisiéme guerre civile, et des derniers troubles de la France. Paris, 1570; Inventaire général de l'histoire de France. Paris, 1597.

[14] *Audigier P.* De l'origine des François et de leur empire. Paris, 1676.

[15] *Tarault J.-E.* Annales de France, avec les alliances, généalogies, conquêtes, fondations ecclésiastiques et civiles en l'un et l'autre empire et dans les royaumes etrangers, depuis Pharamond jusqu'au roi Louis treiziéme. Paris, 1635.

[16] *Audigier P.* De l'origine des François..., op. cit., p. 3.

[17] См.: César. De bello gallico. Liv. I, 1.

[18] В действительности это епископ Рагвальдсон на совете в Болонье в 1434 г. в связи с вопросом о «месте появления человеческого

рода» указывает на Скандинавию как первоначальную колыбель человечества, основываясь на хронике Джорданиса VI века: «Hac igitur Scandza insula quasi officina gentium aut certe velut *vagina nationum* [...] Gothi quondam memorantur egressi» (De origine actibusque Getarum в: Monumenta Germaniae Historica, Auctorum antiquissimorum tomi V, pars I, Berolini, 1882, p. 53—138, citation p. 60). По этому вопросу начнутся широкие дебаты после открытия текста Тацита: De origine et situ Germaniae, изданного в 1472 г.

[19] *Gregoire de Tours*. Historia Francorum (579—592). Paris, 1512.

[20] *Фенелон*. Приключения Телемаха.

[21] Речь идет о тексте: «Государство Франция, в котором можно найти все, что касается церковного управления, армии, юстиции, коммерции, мануфактур, численности населения, и вообще все то, что может быть связано с основой этой монархии; извлечение из отчетов, выполненных интендантами королевства по приказу короля Людовика XIV, по просьбе герцога Бургундии, отца ныне царствующего Людовика XV. С историческими описаниями прежнего правления этой монархии вплоть до Гуго Капéта, написанными графом де Буленвилье». Лондон, 1727, 2 тома ин-фолио. На следующий год выходит третий том с названием «Государство Франция, содержащий XIV текстов о старых парламентах Франции, с историей этого королевства с начала монархии и вплоть до Карла VIII. Добавлены "Мемуары", представленные герцогу Орлеанскому». Лондон, 1728.

[22] М. Фуко делает намек на исторические труды Буленвилье, трактующие о французских политических институтах. Речь особенно идет о «Мемуарах о дворянстве французского королевства, написанных графом де Буленвилье» (1719 г.) (отрывки опубликованы в работах: *Devyver A.* Le Sang épuré. Les préjugés de race chez les gentilhommes français de l'Ancien Régime. Bruxelles: Editions de l'Universite, 1973. P. 500—548); Mémoire pour la noblesse de France contre les Ducs et Paris. S. l., 1717; Mémoires présentés à Mgr. le duc d'Orléans, Régent de France. La Haye; Amsterdam, 1727; Histoire de l'ancien gouvernement de la France avec quatorze lettres historiques sur les Parlements ou États Généraux. La Haye; Amsterdam, 1727, 3 vol. (переизданная и измененная версия «Мемуаров»); Traité sur l'origine et les droits de la noblesse (1700) в: Continuation des mémoires de littérature et d'histoire. Paris, 1730. T. IX. P. 3—106 (переиздано с многочисленными изменениями под названием: Essais sur la noblesse contenant une dissertation sur son origine et abaissement, par le feu M. le comte de Boulainvilliers , avec des notes historiques, critiques et politiques. Amsterdam, 1732); Abrégé chronologique de l'histoire de France. Paris, 1733, 3 vol.; Histoire des anciens Parlemens de France ou États Généraux du royaume. London, 1737.

[23] Среди работ исторического характера графа дю Бюа-Нансэ см.: Les Origines ou l'Ancien Gouvernement de la France, de l'Italie, de l'Allemagne. Paris, 1757; Histoire ancienne des peuples de l'Europe. Paris, 1772, 12 vol.; Éléments de la politique, ou Recherche sur les vrais principes de l'économie sociale. Londres, 1773; Les Maximes du gouvernement monarchique pour servir de suite aux éléments de la politique. Londres, 1778.

[24] Труды исторического характера графа Монтлозье очень многочисленны. Мы ограничимся указанием на те, которые имеют отношение к проблеме, затронутой М. Фуко в данной лекции: De la monarchie française depuis son établissement jusqu'à nos jours. Paris, 1814, 3 vol.; Mémoires sur la Révolution française, le Consulat, l'Empire, la Restauration et les principaux événements qui l'ont suivie. Paris, 1830. О Монтлозье см. *ниже* лекцию от 10 марта.

[25] См.: *Buat-Nancay L.G.*, comte. Remarques d'un Français, ou Examen impartial du livre de M. Necker sur les finances. Genéve, 1785.

[26] *Buat-Nancay L.G.*, comte. Les Maximes du gouvernement monarchique..., op. cit., t. II, p. 286—287.

[27] По этому вопросу см.: *Moreau J.-N.* Plan des travaux littéraires ordonnés par Sa Majesté pour la recherche, la collection et l'emploi des monuments de l'histoire et du droit public de la monarchie française. Paris, 1782.

[28] См.: *Moreau J.-N.* Principes de morale, de politique et de droit public puisés dans l'histoire de notre monarchie, ou Discours sur l'histoire de France. Paris, 1777—1789, 21 vol.

Лекция от 18 февраля 1976 г.

Нация и нации. — Римское завоевание. — Величие и падение римлян. — О свободе германцев по Буленвилье. — Суассонская ваза. — Истоки феодального строя. — Церковь, право, государственный язык. — Три вывода Буленвилье о войне: закон истории и закон природы; военные институты; подсчет сил. — Замечания о войне.

В последний раз я пытался показать, что в связи с дворянской реакцией произошло не то чтобы изобретение исторического дискурса, а скорее расщепление предшествующего исторического дискурса, функцией которого до того было — как говорил Петрарка[1] — возносить хвалу Риму; который до того сосредоточивался внутри дискурса государства о себе самом и должен был демонстрировать право государства, показывать основы верховной власти, излагать ее непрерывную генеалогию и иллюстрировать с помощью образов героев, рассказов о подвигах, династиях обоснованность государственного права. Расщепление истории, ориентированной на хвалу Рима, происходило в конце XVII и в начале XVIII века двумя способами. С одной стороны, через обращение к факту нашествия, его воскрешения — к нему обращалась уже протестантская историография в XVI веке, видевшая в нем довод против королевского абсолютизма. Итак, вспоминают о нашествии; вводится при этом большой временной разрыв: нашествие германцев в V—VI веках это отход от права, момент распада государственного права, момент, когда германские орды кладут конец римскому абсолютизму. С другой стороны, через обозначение принципиально иного разрыва — по-моему,

более важного, — который состоял в появлении нового субъекта истории, нового в двойном смысле, поскольку, во-первых, речь идет о новой области объектов исторического рассказа, и, во-вторых, поскольку появляется новый говорящий в истории субъект. Теперь уже не государство говорит о себе самом, другой говорит о себе, другой говорит в истории и становится объектом собственного исторического рассказа, и таким новым субъектом является нация. Конечно, нация, понимаемая в широком смысле слова. Я постараюсь к этому вернуться, поскольку именно из понятия нации проистекают, происходят такие понятия, как национальность, раса, класс. В XVIII веке оно рассматривалось еще в очень широком смысле.

Правда, в «Энциклопедии» можно найти, я бы сказал, этатистское определение нации, потому что энциклопедисты выдвигали четыре критерия, при удовлетворении которых только и может быть употреблено понятие нации.[2] Во-первых, нация предполагает великое множество людей; во-вторых, эти люди должны жить в определенной стране; в-третьих, страна должна иметь четкие границы; в-четвертых, это множество людей, живущих внутри определенных границ, должно подчиняться одним законам и одному правительству. Здесь мы имеем определение, своего рода прикрепление нации: с одной стороны, к государственным границам, с другой — к самой форме государства. Я думаю, что это определение полемическое и ведет если не к отрицанию, то, по крайней мере, к исключению существовавшего в тот момент более широкого понимания нации, которое можно встретить в текстах, написанных как дворянами, так и представителями буржуазии, в рамках такого понимания и дворянство составляло нацию, и буржуазия также составляла нацию. Все это приобретет важное значение во время революции, что особенно видно в тексте Сийеса о третьем сословии[3], который я попытаюсь прокомментировать. Но такое смутное, расплывчатое, изменчивое понятие нации, идея нации, не привязанной к границам, а, напротив, представляющей массу индивидов, которые передвигаются от одной границы к другой, пересекают государства, существуют как бы под государством на своего рода инфрагосударственном уровне, можно встретить еще на протяжении XIX века у Огюстена Тьерри,[4] у Гизо[5] и т. д.

Итак, есть новый субъект истории, и я попытаюсь показать, как и почему именно дворянство ввело в большую этатистскую структуру исторического дискурса взрывной принцип нации, понятой как субъект—объект новой истории. Но что такое новая история, в чем она состояла, как она смогла утвердиться с начала XVIII века? Я думаю, что причина, по которой именно в дискурсе французского дворянства появилось новое представление об истории, станет ясна, если сравнить этот дискурс с тем, который обозначился в XVII веке, за век или почти за век до того — в Англии.

Представители парламентской и народной оппозиции в Англии между концом XVI и началом XVII века в основном решали относительно простую проблему. Они хотели показать, что в английской монархии были две противоположные системы права и в то же время две нации. С одной стороны, система права нормандской нации: она предполагала определенное единство аристократии и монархии. Эта нация основывалась на системе права, навязанной насильственным вторжением и предполагавшей абсолютизм. Итак, монархия и аристократия (право абсолютистского типа, связанное с нашествием). Задача оппозиции состояла в том, чтобы в противовес указанному праву утвердить другое, саксонское право: право фундаментальных свобод, которое одновременно и выступало и как право наиболее древних обитателей страны, и как право, требуемое самыми бедными, во всяком случае не теми, кто принадлежал к королевской семье или к семьям аристократов. Итак, были две большие системы права, и нужно было выдвинуть вперед самое древнее и самое либеральное право в противовес более новому праву, которое пришло вместе с нашествием и означало абсолютизм. Это была простая проблема.

Проблема французского дворянства век спустя, в конце XVII и в начале XVIII века, была, очевидно, гораздо сложнее, так как нужно было бороться на два фронта: с одной стороны, против монархии и совершенной ею узурпации власти, с другой — против третьего сословия, которое на деле использовало абсолютную монархию, чтобы ради своей выгоды вести наступление на права дворянства. Итак, борьба шла на два фронта, ее нельзя было вести одинаково на обоих фронтах. В борьбе с монархическим абсолютизмом дворянство должно

было отстаивать фундаментальные свободы, которые бы выражали права германского или франкского народа, завоевавшего в определенный момент Галлию. Против монархии нужно было выдвигать свободы. Но против третьего сословия, наоборот, нужно было отстаивать безграничные права, возникновение которых обязано нашествию. То есть, с одной стороны — против третьего сословия — нужно быть своего рода абсолютным победителем, права которого не ограничены; с другой стороны — против монархии — нужно было поддерживать почти конституционное право основных свобод. Отсюда сложность проблемы и, я думаю, отсюда значительно более разработанный характер анализа, например у Буленвилье, если его сравнить с тем, который встречался на несколько десятилетий раньше.

Я собираюсь рассмотреть Буленвилье в качестве примера, но речь идет о целой группе, целом созвездии историков дворянства, которые начали создавать свои теории во второй половине XVII века (например, граф д'Эстэн[6] в 1660—1670 гг.), и так шло вплоть до графа дю Бюа-Нансэ[7], в крайнем случае, вплоть до графа Монтлозье,[8] в периоды революции, империи и реставрации. Роль Буленвилье важна, так как именно он пытался переписать обзоры интендантов, сделанные для герцога Бургундии, и он поэтому может служить точкой отсчета и общим контуром, по которому можно пока судить обо всех.[9] Как Буленвилье осуществлял свой анализ? Первый вопрос: что встречают франки, когда они проникают в Галлию? Очевидно, не ту утерянную родину, в которую они хотели бы вернуться по причине ее богатства и цивилизации (так говорилось в старом историко-легендарном рассказе XVII века, согласно которому франки, то есть галлы, давно покинувшие свою родину, захотели в какой-то момент вернуться). Галлия, которую описывает Буленвилье, вовсе не была счастливой страной, почти Аркадией, которая забыла насилие Цезаря в счастливом слиянии вновь обретенного единства. По Буленвилье, пришедшие в Галлию франки находят завоеванную страну. Это означает, что римский абсолютизм, основанное римлянами королевское или имперское право в Галлии вовсе не было акклиматизировано, принято, признано и не составляло единого целого со страной и народом. Это право было следствием завоевания, Галлия была

порабощена. Царившее в ней право вовсе не представляло собой права суверенного народа, оно было результатом господства. Сам механизм господства поддерживался во все время римской оккупации, которую Буленвилье пытается очертить, выделяя определенные фазы.

Прежде всего, входя в Галлию, римляне хотели, конечно, разоружить военную аристократию, которая была единственной, реально противостоящей им силой; они хотели также принизить дворянство экономически и политически, что происходило одновременно (или, во всяком случае, в связи) с искусственным возвышением низов общества, которым льстила, считает Буленвилье, идея равенства. То есть с помощью приема, свойственного всем формам деспотизма (подобное происходило в Римской республике, начиная с Мария и вплоть до Цезаря), заставляли низшие слои верить в то, что немножко больше равенства в их пользу даст гораздо больше свободы для всех. Фактически, благодаря «эгалитаризации» достигается деспотическое правление. Таким же образом римляне сделали галльское общество эгалитарным, унижая дворянство, возвышая низы народа, они смогли таким путем утвердить свой цезаризм. Эта первая фаза заканчивается во времена Калигулы, когда систематически происходили убийства древних благородных галлов, которые сопротивлялись римлянам и боролись против вызванного их политикой унижения. В этой ситуации римляне создают тип знати, нужной им знати не военной — сопротивляющейся им, — а административной, предназначенной помогать им в организации римской Галлии и особенно во всех процессах, связанных с выкачиванием богатства из Галлии и созданием выгодной для них налоговой системы. Создается таким образом новое дворянство, дворянство гражданское, юридическое, административное, которое отличали, во-первых, меткое, тонкое и мастерское применение на практике римского права, а во-вторых, знание языка римлян. Именно благодаря знанию языка и правовой практике появилось новое дворянство.

Это описание опровергает старый миф XVII века о счастливой и идиллической римской Галлии. Подобное описание, очевидно, должно было сказать королю Франции: если вы требуете римского абсолютизма, то фактически вы его требуете

не на основе изначального и важного для галльской земли права, а на основе определенной и особой истории, правила которой не особо почтенны. Во всяком случае вы вписываетесь в механизм порабощения. И к тому же тот римский абсолютизм, который был насажден с помощью определенных механизмов господства, в конечном счете был опрокинут, сметен, побежден германцами — и не столько в силу случайного военного поражения, сколько в силу своей неизбежной внутренней деградации. Именно здесь начинается вторая часть анализа Буленвилье, где он анализирует реальные последствия римского господства над Галлией. Войдя в Галлию, германцы (или франки) нашли там завоеванную территорию, которая и представляла военную основу Галлии.* Теперь римляне не имели никакой возможности защитить Галлию от нашествий с другого берега Рейна. И они — так как больше не было дворянства — в целях защиты оккупированной ими галльской земли были вынуждены обратиться к наемникам, то есть к людям, которые сражались не за себя и не за свою землю, а за деньги. Существование наемной армии, конечно, означало огромные налоги. В Галлии нужно было изыскивать не только наемников, но и средства, чтобы платить им. Это имело два следствия. Во-первых, значительное увеличение денежных налогов. Во-вторых, повышение ценности денег, или еще, как сказали бы сегодня, девальвация. Отсюда вырастает двойственный феномен: с одной стороны, деньги теряют в стоимости по причине девальвации, и притом, что любопытно, они становятся все более и более редкими. Отсутствие денег должно было повлечь замедление в делах и общее обеднение. Именно в ситуации катастрофического разорения смогло осуществиться или, скорее, стало возможным франкское нашествие. Беззащитность Галлии перед завоевателями франками была связана с разорением страны, причиной которого стали наемные армии.

Я позже вернусь к этому типу анализа. Но уже сейчас можно отметить интересное отличие анализа Буленвилье от анализа другого типа, который встречается на несколько десятков

---

*В рукописи нет фразы «которая представляла военную основу Галлии»; вместо нее значится «нашли страну, разоренную абсолютизмом».

лет ранее, когда, по существу, был поставлен вопрос о государственном праве, состоящий в следующем: сохраняется ли на деле даже после франкского нашествия римский абсолютизм с его системой права? Законно или нет уничтожили франки римский тип верховной власти? Так в общих чертах ставилась историческая проблема в XVII веке. Для Буленвилье она заключалась уже не в том, остается или не остается право, законно ли одно право заменяет собой другое. Теперь решаются совсем другие проблемы. Речь уже не идет о законности римского или франкского режима. Теперь ставится вопрос о внутренних причинах поражения, то есть о том, что́ римское правление (законное или нет, в конечном счете это неважно) имело логически абсурдного или политически противоречивого. Так формируется знаменитая проблема о причинах величия и падения римлян, которой суждено было стать одним из больших штампов исторической и политической литературы XVIII века[10] и которую после Буленвилье очень четко сформулирует Монтескье. [11] Именно это ускорит появление анализа экономическо-политического типа, тогда как до того существовала лишь проблема обхода права, изменения права, смены абсолютистского права на право германского типа, представляющего совсем другую правовую модель. Именно проблема причин упадка римлян становится определяющей для нового типа исторического анализа. Вот что можно сказать о первой совокупности исследований Буленвилье. Я немного схематизирую, но это для того, чтобы продвигаться чуть быстрее.

Вслед за проблемой Галлии и римлян я рассмотрю, основываясь на исследованиях Буленвилье, другую проблему или группу проблем, касающихся франков: кем были вошедшие в Галлию франки? Это проблема, обратная той, о которой я только что говорил: теперь рассматривался вопрос, в чем состояла сила этих некультурных, варварских, относительно немногочисленных людей и как они смогли так успешно войти в Галлию и разрушить самую огромную из известных до того в истории империй? Итак, речь теперь идет о том, чтобы показать силу франков и слабость римлян. Сила франков заключалась прежде всего в том, что они использовали военную аристократию, без которой римляне хотели обойтись. Франкское общество было целиком организовано вокруг воинов, которые, несмотря на то что

владеют крепостными (или в любом случае зависящими от них людьми), единственно и составляли по сути франкский народ, так как все германские народы состояли в основном из Leute, *leudes**, все они были воинами и прямой противоположностью наемникам. Германские воины — это военная аристократия, они подчиняются власти короля, обязанность которого, однако, заключается только в урегулировании споров или юридических проблем в мирный период. Короли — просто гражданские должностные лица и ничего больше. Сверх того, короли избирались с общего согласия всех воинов, этой военной аристократии. Только во время войны, когда нужна сильная организация и единая власть, избирают вождя, власть которого подчиняется совсем другим принципам и является абсолютной. Военный вождь не обязательно становится королем гражданского общества, но в некоторых случаях он мог им быть. Например, Хлодвиг — фигура [...] исторически важная — был сначала гражданским судьей, должностным лицом, избранным для урегулирования разногласий, а затем стал также военным вождем. Во всяком случае, в германском обществе власть минимальна, по крайней мере во время мира, а вследствие этого свобода максимальна.

Но, что такое свобода военной аристократии? Она совсем не тождественна независимости, это не та свобода, в силу которой уважают других. Свобода германских воинов в большой степени была свободой эгоизма, алчности, она выражалась в склонности к сражениям, завоеваниям, грабежам. Она не была свободой толерантности и равенства всех; она могла проявляться только в форме господства. Это не свобода уважения, а свобода свирепости. И когда один из последователей Буленвилье, Фрере, проделает этимологический анализ слова «франк» (название германского племени, завоевавшего Галлию), он заявит, что оно вовсе не означает «свободный» в современном смысле, а означает «свирепый», ferox. Слово «франк» во всех смыслах имеет точно такие же коннотации, что и латинское слово ferox, говорит Фрере, коннотации и благоприятные и неблагоприятные. Оно означает «гордый, смелый, спесивый, жестокий[12]». И именно так складывается известный

---

*Народ, люди, люд (*нем.*) (*прим. перев.*).

внушительный портрет «варвара», который затем можно будет встретить в конце XIX века, и понятно у Ницше, у которого свобода эквивалентна свирепости, вкусу к власти и определенной жадности, неспособности служить, но постоянной готовности порабощать. «Нравы грубые и жестокие, ненависть к римскому народу, языку и обычаям римлян. Любитель свободы, храбрый, переменчивый, неверный, жадный до наживы, нетерпеливый, беспокойный[13]»* и т. д.: вот какие эпитеты используют Буленвилье и его последователи для описания нового знатного белокурого варвара, который с помощью их текстов торжественно входит в европейскую историю, вернее, в европейскую историографию.

Такой портрет свирепых белокурых германцев позволяет объяснить прежде всего, почему, войдя в Галлию, франкские воины могли и обязательно должны были отвергнуть всякое сближение с галло-римлянами, в особенности всякое подчинение имперскому праву. Они были слишком свободны, я хочу сказать, слишком горды, надменны и т. д., чтобы допустить превращение военного вождя в суверена в римском понятии. Будучи свободны, были и слишком жадны до завоеваний и гос-

подства, и поэтому каждый из них стремился лично овладеть куском земли галлов. Так что король, [...] бывший их военным вождем, не стал в результате победы франков собственником земли Галлии, а каждый из воинов непосредственно сам воспользовался плодами победы и завоевания; он закрепил за собой часть земли Галлии. Это отдаленное — я опускаю все сложные детали в анализе Буленвилье — начало феодализма. Каждый реально завладел куском земли; король имел в собственности только свою землю, у него, следовательно, не было никакого права, подобного праву римской верховной власти, на всю землю Галлии. Таким образом, оказавшись независимыми индивидуальными собственниками, франки не имели никакой причины признать над собой власть короля, который мог бы быть в некотором роде наследником римских императоров.

Именно здесь начинается история суассонской вазы или, скорее, пока еще историография суассонской вазы. В чем эта

---

* Этот отрывок в рукописи взят в кавычки.

история? Вы с ней, конечно, знакомы по школьным учебникам. Это изобретение Буленвилье, его предшественников и последователей. Они возбудили в Грегуаре де Тур интерес к этой истории, которая затем станет одним из общих мест в бесконечных исторических дискуссиях. Когда после, я не знаю какой, битвы[14] Хлодвиг распределял добычу или, точнее, председательствовал в качестве представителя гражданской власти при распределении добычи, то, как известно, по поводу одной вазы он сказал: «Я хочу ее!», тогда поднялся один воин и сказал: «Ты не имеешь права на эту вазу, будучи королем ты должен разделять добычу с другими. Ты не имеешь никакого права на преимущество, ты не имеешь никакого первого и абсолютного права на то, что добыто в войне. Добытое в войне должно распределяться между всеми победителями, и король не имеет преимущества.». Вот первый этап истории суассонской вазы. Потом нужно будет вспомнить второй.

Данное Буленвилье описание германской общности позволяет понять, почему германцы были так упрямы в отказе от римской организации власти. Но оно позволяет также объяснить, как и почему завоевание густонаселенной и богатой Галлии столь бедным и малочисленным народом могло, вопреки всему, закрепиться. Здесь также интересно сопоставление с Англией. Нужно вспомнить, что англичане стояли перед такой же проблемой: как могло случиться, что шестьдесят тысяч нормандских воинов смогли занять Англию и удержаться в ней? У Буленвилье та же проблема. Но вот как он ее решает. Он говорит: если франки смогли на деле удержаться в этой завоеванной стране, то потому, что они в виде предосторожности не только не передавали оружие галлам, но и конфисковали имеющееся у них оружие, так что внутри страны оказалась изолированная, целиком германская военная каста, совершенно отличная от других слоев населения. Галлы больше не имели оружия, но зато им позволили реально заниматься своей землей, так как германцы или франки на деле не имели другого занятия, кроме войны. Одни, значит, сражаются, другие обрабатывают их земли. От них требуется только некоторая плата, которая позволила бы германцам выполнять их военную функцию. Это плата немалая, но между тем совсем не такая большая, какую взимали римляне в виде налогов. Она гораздо меньшая и в количе-

ственном отношении, и более приемлемая по своей форме, ибо, когда римляне для содержания наемников требовали от крестьян уплаты налога в денежной форме, крестьяне не могли этого выполнить. Теперь от них требовалась только уплата натурой, что было всегда выполнимо. Поэтому больше не было отчуждения между галльскими крестьянами и кастой воинов. Таким образом возникает франкская Галлия, счастливая, стабильная, гораздо менее бедная, чем была римская Галлия в конце римской оккупации. Те и другие, галлы и франки — считает Буленвилье — будут счастливы в результате спокойного обладания тем, что они имели: франк плодами труда галлов, а последние безопасностью, которую им обеспечивали франки. Это, как известно, ядро того, что изобрел Буленвилье, то есть феодализм как историко-юридическую систему, характерную для европейских обществ начиная с VI, VII, VIII веков и почти до XV века. До Буленвилье система феодализма не выделялась ни историками, ни юристами. Именно благополучие военной касты, поддерживаемой крестьянами и находящейся у них на содержании через натуральные выплаты, отличает юридическо-политическое единство феодального общества.

Третья совокупность анализируемых Буленвилье фактов, которые я хотел бы выделить особо в силу их важности, относится к вопросу о том, каким образом дворянство, утвердившаяся в Галлии военная аристократия, смогла в основном потерять свою власть и богатство и оказаться в конечном счете в зависимости от монархической власти. Анализ Буленвилье выглядит примерно так: вначале власть короля франков имела двойственный характер, ее содержание и возможности определялись обстоятельствами, во время войны он был военным вождем. И только на время войны его власть была абсолютной. В то же время как глава гражданской власти он не обязательно должен был принадлежать к одной и той же династии: никакого права наследования; он был избираем. Однако этот суверен, этот глава, функции которого менялись соответственно двум типам обстоятельств, мало-помалу должен был стать постоянным монархом с наследственной и абсолютной властью, как в большинстве европейских монархий, и особенно, как известно, во французской. Как осуществилось это преобразование? Прежде всего, в силу самого факта завоевания, самого военного

успеха, по причине того, что малочисленная армия проникла в огромную и, как можно было предположить вначале, непокорную страну. Поэтому кажется нормальным, что франкская армия оставалась в боевой готовности в только что оккупированной Галлии. И сразу военный вождь, избиравшийся только на время войны, в силу факта оккупации стал одновременно и военным вождем, и гражданским главой. Значит, военная организация устанавливается в силу самого факта завоевания. Она устанавливается не без проблем, не без трудностей, не без протестов со стороны как раз франкских воинов, которые не соглашались с тем, чтобы военная диктатура продолжалась бы и в мирной обстановке. Так что король вынужден был для поддержания своей власти снова обратиться к наемникам, набирая их среди галлов, которых необходимо было бы оставить безоружными, и за пределами страны. В любом случае военная аристократия оказалась таким образом загнана в угол между монархической властью, стремившейся к абсолютной власти, и галльским народом, который мало-помалу использовался монархией для поддержания ее абсолютной власти.

Именно здесь начинается второй эпизод, связанный с суассонской вазой. Он происходит, когда Хлодвиг, который помнил о запрете трогать эту вазу, производя военный смотр, узнает воина, помешавшего ему присвоить означенную вазу. Тогда, взяв свой громадный меч, добрый Хлодвиг раскроил череп воину, повторяя: «Вспомни суассонскую вазу». Здесь перед нами ситуация, в которой тот, кто должен был быть только главой гражданской власти, применил военную силу для урегулирования гражданского вопроса. Он использовал военный смотр, то есть форму, демонстрирующую абсолютный характер его власти, решая проблему исключительно гражданского характера. Абсолютный монарх рождается в тот момент, когда военная форма власти и военная дисциплина применяются к организации гражданского права.

Итак, с одной стороны, гражданская власть обращается к галльскому народу с целью формирования отряда наемников, что было важно для обретения гражданской властью абсолютного характера. С другой стороны, устанавливается еще более важный для нее союз между королевской властью и старой галльской аристократией. В ходе своего анализа Буленвилье

говорит следующее: когда пришли франки, какие слои галльского населения в основном наиболее пострадали? Совсем не крестьяне (они, напротив, получили облегчение от замены денежных налогов натуральными), а галльская аристократия, земли которой, понятно, были конфискованы германскими и франкскими воинами. Именно аристократия оказалась на деле экспроприирована. Она пострадала, и что она сделала? Ей оставалось одно пристанище, так как она не имела больше земель и так как римское государство исчезло; Церковь осталась для нее единственным кровом. Галльская аристократия укрылась в Церкви; она не только развила церковный аппарат, но с помощью церкви углубила, распространила свое влияние на народ с помощью введенной ею в оборот системы верований; также в церкви она развила свои познания в латинском языке и, в-третьих, она там посвящала свое время изучению римского права, имевшему абсолютистскую форму. Поэтому естественно, что когда франкские суверены опирались, с одной стороны, на народ в борьбе против германской аристократии, а с другой стороны, основывали государство (или, во всяком случае, монархию) римского типа, то каких лучших союзников они могли найти, чем эти люди, имевшие столь сильное влияние на народ и благодаря знанию латинского языка столь хорошо знакомые с римским правом? И естественно, что именно галльские аристократы, укрывшиеся в церкви, галльское дворянство становится союзником новых монархов в тот самый момент, когда они стремились установить свою абсолютную власть. Именно таким путем Церковь с ее латинским языком, римским правом, юридической практикой становится крупным союзником абсолютной монархии.

Тут Буленвилье раскрывает важную роль того, что можно было бы назвать языком знаний, системой язык—знание. Он показывает, как окольным путем осуществлялся, в обход военной аристократии, союз между монархией и народом с помощью Церкви, латинского языка и правовой практики. Латынь становится языком государства, знания и юриспруденции. И если дворянство утратило свою власть, это произошло и потому, что оно принадлежало к другой языковой группе. Дворяне говорили на германских языках, они не знали латыни. Так что в тот момент, когда посредством королевских указов на латинском

языке утверждалась новая система права, они даже не понимали, что происходило. Они понимали это настолько мало — и было так важно, чтобы они этого не понимали, — что церковь и король делали все возможное, чтобы дворяне оставались невежественными. Буленвилье прослеживает всю историю воспитания дворян, показывая, что если церковь, например, так настаивала на жизни в потустороннем мире как единственном оправдании земного бытия, то она делала это с целью внушить хорошо воспитанным людям, что ничто из происходящего здесь не важно и что главное в их судьбе будет происходить по другую сторону жизни. И именно таким путем столь жадные к обладанию и господству германцы, эти столь привязанные к настоящему великие белокурые воины постепенно превратились в людей типа странников, крестоносцев, которые полностью пренебрегали тем, что происходило на их собственных землях и в их собственной стране, и оказались в результате лишены состояния и власти. Крестовые походы оцениваются Буленвилье как большая дорога, ведущая в потусторонний мир, как свидетельство, демонстрация того, что дворянство оказалось целиком повернуто к этому миру? Но что же происходило тут, то есть на их собственных землях? Король, церковь, старая галльская аристократия манипулировали законами, составленными на латыни, которые должны были в конечном счете лишить французскую аристократию ее собственных земель и прав.

К чему же призывает Буленвилье? В основном — и это проходит сквозь все его исследование — не к восстанию дворянства, лишенного своих прав, как это было, например, в английской парламентской (а особенно народной) историографии XVII века. Буленвилье по сути призывает дворянство заново открыть знание: обратиться к своей памяти, сознанию, использовать знание и ученость. В первую очередь Буленвилье говорит дворянству: «Вы не восстановите власть, пока не обратитесь к знаниям, которых были лишены или, скорее, которыми вы никогда не стремились овладеть. Ибо фактически вы всегда сражались, не отдавая себе отчет в том, что начиная с некоторого момента настоящая битва, по крайней мере внутри общества, ведется не с помощью оружия, а на основе знания.». Наши предки, — пишет Буленвилье, — из капризного тщеславия игнори-

ровали то, кем они были. Они как бы подвергали забвению самих себя, что кажется результатом глупости или волшебства. Снова осознать себя, раскрыть истоки знания и памяти — означает разоблачить все мистификации истории. Только обретя самосознание, заново включившись в структуру знания, дворянство сможет снова стать силой, стать субъектом истории. А стать исторической силой прежде всего означает осознать себя и включиться в систему знания.

Вот некоторое число тем, выделенных мною в самых значительных работах Буленвилье, они, как мне кажется, вводят такой тип анализа, который становится явно определяющим для всех историко-политических анализов с XVIII века и до наших дней. В чем его значение? Прежде всего, в идее приоритета войны. Но поскольку приоритет, приписываемый войне в таких анализах, проявляется и в особой форме рассказа о войне, я считаю чрезвычайно важным уяснить то значение, которое Буленвилье придавал такому рассказу. Дело в том, что для использования, как это делал Буленвилье, войны в качестве общей точки отсчета при анализе общества нужно дифференцировать три последовательных или накладывающихся друг на друга положения, касающихся войны. Во-первых, он рассматривает войну по отношению к праву; во-вторых, по отношению к форме борьбы; в-третьих, по отношению к факту нашествия и связанному с ним факту восстания. Именно эти три положения, которые обеспечивают более широкий взгляд на войну, я хотел бы теперь немного рассмотреть.

Первое, война рассматривается по отношению к праву и основам права. Ранее, в анализах французских протестантов XVI века, французских парламентариев XVII века и английских парламентариев той же эпохи, война представала как эпизод разрыва, который ставит под вопрос право и опрокидывает его. Война — это проводник от одной системы права к другой. У Буленвилье война не играет такой роли, она не прерывает права. Фактически война целиком замещает право, даже естественное право, поскольку она делает его нереальным, абстрактным и в некотором роде фиктивным. В доказательство того, что война целиком замещает естественное право, так что оно оказывается теперь бесполезной абстракцией, Буленвилье приводит три положения; он проводит эту идею тремя способами.

Сначала историческим способом, когда он говорит: можно исследовать историю как угодно, во всех направлениях и никоим образом в ней нельзя найти естественных прав. Историки думали, что открыли у саксов или у кельтов маленькую область, маленький остров естественного права, но это абсолютно ложно. Повсюду можно встретить либо войну, либо неравенство, которое выражает войну и насилие. Именно так галлы, например, были разделены на аристократов и не-аристократов. У мидян, персов также существовали аристократия и народ. Подобное деление, очевидно, означает, что за ним скрывается борьба, насилие и войны. И к тому же каждый раз, когда в обществе или государстве смягчаются различия между аристократией и народом, можно быть уверенным, что начался упадок государства. Итак, повсюду неравенство, повсюду насилие, на котором основывается неравенство, повсюду войны. Нет обществ, которые могли бы существовать без своего рода воинственного напряжения между аристократией и массой народа.

Затем Буленвилье проводит эту идею иначе. Он говорит: можно, конечно, представить некую первичную свободу, существующую до всякого господства, власти, до всякой войны, до всякого рабства, но эта свобода, которую можно представить между индивидами, не связанными никакими отношениями господства, эта свобода, при которой весь мир или все люди были бы равны в отношении друг друга, это единство свободы-равенства в действительности может быть только чем-то бессильным и бессодержательным. Ибо ... что такое свобода? Свобода, вероятно, не состоит в том, чтобы воздерживаться от покушения на свободу других, ибо в этот момент уже не будет свободы. В чем состоит свобода? Свобода состоит в возможности взять, присвоить, использовать, приказывать, добиваться послушания. Первый критерий свободы — это возможность лишать свободы других. Зачем была бы нужна и в чем бы конкретно состояла свобода, если бы на деле не могли покушаться на свободу других? Это первое выражение свободы. Свобода для Буленвилье есть именно противоположность равенству. Она осуществляется в различиях, в господстве, в войне, во всей системе насильственных отношений. Свобода, которая не выражается неравенством сил, абстрактна, бессильна и слаба.

Отталкиваясь от этого, Буленвилье проводит в историческом и теоретическом планах определенную идею. Он говорит (здесь я еще более упрощаю): допустим, что естественное право действительно существовало в определенный момент, основополагающий для истории, право, на основе которого все люди были бы свободны и равны. Недостаток этой свободы состоит в том, что она является абстрактной, фиктивной, не имеет определенного содержания, такая свобода обречена на исчезновение при столкновении с исторической силой свободы, функционирующей как неравенство. И если правда, что в какой-то степени или в какой-то момент существовало нечто вроде естественной свободы, эгалитарной свободы естественного права, то такое право не могло бы сопротивляться закону истории, согласно которому свобода крепка, сильна и полна, только если это свобода одних в ущерб другим, если есть общество, которое гарантирует существенное неравенство.

Эгалитарный закон природы слаб по сравнению с не-эгалитарным законом общества. Поэтому нормально, что эгалитарный естественный закон уступил место, и бесповоротно, не-эгалитарному историческому закону. Именно потому что естественное право было первоначальным, оно не было, как говорят юристы, основополагающим, а было вытеснено более значительной силой истории. Исторический закон всегда сильнее, чем закон природы. Именно это подчеркивает Буленвилье, когда говорит, что история в конечном счете создала естественный закон антитезы между свободой и равенством и что означенный закон гораздо сильнее того, который включен в систему, называемую естественным правом. Сила истории гораздо больше, чем сила природы: именно поэтому история полностью перекрывает природу. Природа замолкает, когда начинает говорить история, в войне между историей и природой победу одерживает всегда история. Существует соотношение сил между природой и историей, и оно, определенно, в пользу истории. Таким образом, естественного права не существует или оно существует только как право побежденного: всегда имеется в истории значительный по величине побежденный, это «другой» (как галлы перед лицом римлян, как галло-римляне перед лицом германцев). История, если хотите, это германизм по отношению к природе. Итак, первое обобщение: война полностью пронизывает историю, она не является для нее просто перидом беспорядка и разрыва.

Второе положение, касающееся войны, относится к форме борьбы. Для Буленвилье является истиной, что завоевание, нашествие, выигранная или проигранная битва фиксируют соотношение сил; но фактически выраженное в битве соотношение сил было в основном установлено раньше и вовсе не предшествующими сражениями. Но что именно влияет на соотношение сил, приводит к военной победе одну нацию и обрекает на поражение другую? Конечно, это характер и организация военных институтов, армия. С одной стороны, они важны, конечно, потому что позволяют одержать победу, а также потому что позволяют выстроить все общество. По сути, для Буленвилье главной проблемой, которая и диктует использование войны как принципа анализа общества и заставляет видеть в ней основу всей социальной структуры, является проблема военной организации или просто о том, кто владеет оружием? Организация германцев покоилась по существу на том, что некоторые — leudes — имели оружие, а другие его не имели. Во франкской Галлии оружие было изъято у галлов и закреплено за германцами (которых как воинов должны были содержать галлы). Изменения начались тогда, когда законы распределения оружия в обществе стали менее ясными, когда римляне обратились к наемникам, когда франкские короли организовали войско, когда Филипп Август обратился к иностранным воинам и т. д. Начиная с этого момента простая организация, позволявшая германцам, и только германцам или военной аристократии, владеть оружием, стала запутанной.

Однако проблема владения оружием — в том смысле, в каком она может служить исходной точкой при общем анализе общества, — связана, конечно, с техническими проблемами. Например, кто говорит рыцарь, тот подразумевает копье, тяжелые доспехи и т. д., а это означает малочисленную армию из богатых людей. Кто же, напротив, говорит лучник, легкие доспехи, имеет в виду многочисленную армию. Отталкиваясь от этого, можно очертить весь комплекс экономических и институциональных проблем: если войско состоит из рыцарей, если это неповоротливая и малочисленная армия всадников, то королевская власть оказывается сильно ограниченной, ибо король не может содержать столь дорогое рыцарское войско. Рыцари вынуждены содержать сами себя. Зато многочисленное

войско пехотинцев король может оплатить; с этим связано возвышение королевской власти, но в то же время происходит и рост налогов. Таким образом, на этот раз можно видеть, что война оставляет метку в общественном организме, но не в силу факта завоевания, а через военные институты, с их помощью война оказывает серьезное влияние на гражданский порядок в целом. Следовательно, точкой отсчета при анализе общества служит не только простой дуализм завоеватели/завоеванные, победители/побежденные, воспоминание о битве при Гастингсе или воспоминание о нашествии франков. Теперь уже не этот простой бинарный механизм отметит печатью войны все общество целиком, а война, взятая по ту и по эту сторону битвы, война как способ ведения войны, как способ готовить и организовывать войну. Война при этом понята как распределение и природа оружия, техника войны, набор рекрутов, плата солдатам, налоги, относящиеся к армии; война как внутренний институт, а не как простое военное событие, именно это служит отправным пунктом в анализах Буленвилье. Если он достигает понимания истории французского общества, то только потому, что постоянно держится за нить, которая ведет к обнаружению за битвами и нашествиями военного института, всей совокупности институтов и экономики страны. Война диктует общую экономику оружия, экономику вооруженных и невооруженных людей в данном государстве со всеми вытекающими из этого институциональными и экономическими особенностями. Именно гигантское расширение смысла войны по сравнению с тем, чем она была еще у историков XVII века, придает рассуждению Буленвилье важное значение, что я пытаюсь здесь показать.

Наконец, третье положение Буленвилье о войне относится не к факту баталий, а к системе нашествие—восстание, они были теми двумя крупными элементами, к которым обращались историки с целью обнаружения войны в обществах (так происходило, например, в английской историографии XVII века). Проблема Буленвилье не заключалась в том, чтобы установить, когда осуществлялось нашествие и каковы его последствия; она также не сводилась просто к констатации того, происходило или не происходило восстание. Он хотел показать, как определенное соотношение сил, проявившееся в нашествии и в битве, было мало-помалу незаметно перевернуто. Проблема английской

историографии состояла в том, чтобы обнаружить повсюду, во всех институтах место, занимаемое сильными (нормандцами), и место, занимаемое слабыми (саксами). Перед Буленвилье же стояла проблема понять, как сильные стали слабыми и как слабые стали сильными. Существо его анализа ориентировано именно на проблему перехода от силы к слабости и от слабости к силе.

Анализ и описание указанных перемен Буленвилье прежде всего начинает с того, что можно было бы назвать определением внутренних механизмов перевертывания, примеры которого легко отыскать. Действительно, что дало силу франкской аристократии в начале периода, который вскоре будет назван средними веками? Силу им дало то, что, захватив и оккупировав Галлию, франки по личной инициативе и непосредственно присвоили земли. Они стали прямыми собственниками земель и в силу этого получали доходы в натуре, что, с одной стороны, обеспечивало спокойствие крестьянскому населению, а с другой — силу рыцарству. Однако именно то, что составляло их силу, мало-помалу превратилось в их слабость по причине рассеяния рыцарей, поселившихся на своих землях, и потому что их ради войны содержали крестьяне, в результате они, с одной стороны, были лишены близости к королю, которого посадили на трон, а с другой — только воевали, к тому же друг с другом. Они, следовательно, пренебрегали тем, что могли им дать воспитание, образование, обучение латинскому языку, познание. Все это должно было стать причиной их бессилия.

Наоборот, если взять пример галльской аристократии, то она в начале франкского нашествия была в высшей степени слаба: каждый галльский собственник был лишен всего. И именно их слабость в силу неизбежного развития стала силой. Изгнанные со своих земель, они обратились к Церкви, и это им помогло влиять на народ, а также дало познания в области права. Все это мало-помалу позволило им находиться возле короля, воздействовать на королевскую политику и захватить экономическое богатство, которого ранее они были лишены. Таким образом, те же факторы, которые обусловили слабость галльской аристократии, стали начиная с некоторого момента причиной ее усиления.

Буленвилье не анализирует проблемы, кто был победителем, а кто побежденным, он анализирует другое: кто стал силь-

ным, кто стал слабым и почему слабый стал сильным? История теперь предстает, по существу, как подсчет сил. Но к чему должен неизбежно привести анализ, задача которого состояла в обнаружении механизмов возвращения силы? К тому, что крупная и простая дихотомия победители/побежденные оказывается теперь не уместна при описании исторических процессов. Начиная с момента, когда сильный становится слабым, а слабый сильным, оказываются нужны новые противоположности, новые расслоения, новые деления: слабые заключают между собой союзы, сильные стремятся к союзу с одними против других. В эпоху нашествий сущсствовала как бы большая массовая битва армии против армии, франков против галлов, нормандцев против саксов, но постепенно эти две большие национальные массы распадаются и разными путями трансформируются. В такой период можно наблюдать различные формы борьбы с характерными для них переменами фронтов, с конъюнктурными союзами, с более или менее устойчивыми перегруппировками: союз монархической власти со старым галльским дворянством; опора этого союза на народ; разрыв молчаливого союза между франкскими воинами и галльскими крестьянами, когда обедневшие франки должны были увеличить свои требования и установили более высокую норму выплат, и т. д. Все подобные связи, союзы, внутренние конфликты теперь распространяются и приобретают форму войны, которую историки XVII века еще понимали как крупное противостояние, родившееся в ходе нашествия.

Вплоть до XVII века война, по существу, трактовалась как война одной массы против другой массы. Буленвилье обнаруживает войну во всех социальных отношениях, он ее подразделяет на тысячи различных форм и представляет ее как своего рода хроническое состояние при взаимодействии групп, фронтов, тактических объединений, в ходе которого они приобщаются к культуре друг друга, противостоят друг другу или, напротив, заключают друг с другом союзы. Нет больше крупных, устойчивых и многочисленных масс, существует многообразная война, в некотором смысле война всех против всех, но, очевидно, не в том абстрактном и, как я думаю, нереальном смысле, который имел в виду Гоббс, когда говорил о войне всех против всех и пытался доказать, что внутри социального организма

войны всех против всех не существует. У Буленвилье, наоборот, речь идет о войне в широком смысле, она пронизывает одновременно и весь социальный организм, и всю его историю; но не как война индивидов против индивидов, а как война групп против групп. И именно это придание более широкого смысла войне характеризует, как я думаю, мысль Буленвилье.

Я хотел бы подвести итоги. Это изменение представлений о войне указанным направлением? Прежде всего, именно благодаря ему Буленвилье приходит к тому, что историки права [...]* Для историков, которые излагали внутреннюю историю государственного права, внутреннюю историю государства, война была, по существу, разрывом права, загадкой, своего рода неясным феноменом или данностью, событием, которое нужно было принимать как таковое и которое не только не было принципом понимания — об этом вопрос не стоял, — а, напротив, было принципом его разрушения. У Буленвилье, наоборот, именно война делает из самого распада права принцип понимания общества и именно война позволяет определить соотношение сил, которое поддерживает в постоянстве определенные правовые отношения. Таким образом Буленвилье смог интегрировать события, которые прежде считались только насилием и рассматривались в массе, войны, нашествия, перемены в большую, разнообразную по содержанию и пророчествам область отношений, охватывающую общество в целом (так как рассмотренные им факты касаются, как мы видели, права, экономики, налоговой системы, религии, верований, обучения, языковой практики, юридических институтов). Исходя из самого факта войны и из анализа, который проделан в терминах войны, историк может установить связь всех явлений: войны, религии,

---

* Разрыв в записи. В рукописи ясно говорится: «В определенном смысле это аналог юридической проблемы: как рождается верховная власть. Но на этот раз речь не идет о том, чтобы иллюстрировать с помощью исторического рассказа непрерывность верховной власти, законной в силу того, что она остается от начала до конца в области права. Речь идет о выявлении того, как рождается путем игры силовых отношений определенный институт, современная историческая форма абсолютного государства, которое несет в себе войну, представляя собой своеобразное расширение войны между нациями».

нравов и характеров, так что разработанная таким путем история может служить принципом постижения общества. Именно война определяет интеллигибельную схему трактовки общества у Буленвилье, а затем и во всем историческом дискурсе. Когда я говорю об интеллигибельной схеме, я не хочу, конечно, сказать, что все написанное Буленвилье правда. По-видимому, можно даже показать, что все, часть за частью написанное им, ложно. Я только сказал бы, что это можно доказывать. Например, о существовавшем в XVII веке дискурсе о троянских корнях или об эмиграции франков, которые якобы покинули Галлию в определенный момент при некоем Сиговеже, а затем вернулись, нельзя сказать, что он, наподобие нашего дискурса, является истинным или ложным. Нам нельзя это обозначать как истину или ложь. Зато предложенная Буленвилье интеллигибельная схема основала — как я думаю — особый подход, некоторую возможность разделения истины/лжи, которую можно применить к дискурсу самого Буленвилье и которая к тому же заставляет сказать, что его дискурс ложен как в целом, так и в деталях. И даже, если хотите, тотально ложен. Тем не менее остается в силе тот факт, что именно эта интеллигибельная схема была предложена нашему историческому дискурсу. И исходя из нее, мы теперь можем сказать, что истинно и что ложно в дискурсе Буленвилье.

Я хотел бы также особо подчеркнуть, что, интерпретируя силовые отношения как род непрерывной войны в обществе, Буленвилье смог восстановить весь ход анализа, присущий Макиавелли. Но у последнего силовые отношения были описаны как предложенная суверену политическая техника. Теперь же соотношение сил оказывается историческим объектом, с помощью которого кто-то другой, не суверен, то есть некто вроде нации (понятой на аристократический или, позже, на буржуазный лад), мог размечать и определять изнутри свою историю. Силовые отношения, бывшие целиком политическим объектом, теперь становятся историческим объектом, или, скорее, историко-политическим, так как, анализируя соотношение сил, дворянство, например, шло к осознанию самого себя, к обретению своего знания, к восстановлению себя в качестве политической силы среди других политических сил. Конституирование историко-политической области, функционирование

истории в форме политической борьбы связано с моментом, когда соотношение сил (которое ранее было в некотором роде исключительным объектом внимания государя) могло стать благодаря дискурсу, подобному дискурсу Буленвилье, объектом знания группы, нации, меньшинства, класса и т. д. Тогда начинается организация историко-политической области. Начинается функционирование истории в политике, использование политики для подсчета соотношения сил в истории.

Еще одно замечание. Итак, мы пришли к идее, что война в своей основе была матрицей истины в историческом дискурсе. Слова «матрица истины в историческом дискурсе» означают следующее: в противовес тому, во что заставляли верить философия или право, истина не начинается, истина и logos не начинаются там, где прекращается насилие. Напротив, именно когда дворянство начало вести свою политическую войну одновременно и против третьего сословия, и против монархии, как раз в рамках войны и при осмыслении истории как войны смог образоваться исторический дискурс, который мы сегодня имеем.

Предпоследнее замечание: существует убеждение, ставшее неким общим местом, согласно которому восходящие классы являются одновременно носителями ценностей универсального характера и приверженности к рациональности. Многие пытались доказать, что именно буржуазия изобрела историю, а так как история — все это знают — рациональна, то буржуазия XVIII века, подымающийся класс, принесла с собой и универсальное, и рациональное. Я же думаю, что если посмотреть на вещи пристальнее, то можно найти пример класса, который в той мере, в какой он находился в полном упадке, оказался лишен своей политической и экономической власти, выстроил определенную рациональность, которой затем овладели буржуазия, а после и пролетариат. Но я не скажу, что французская аристократия изобрела историю, поскольку находилась в состоянии упадка. Именно потому что она вела войну и сделала ее определенно объектом своего изучения, война стала одновременно исходным пунктом дискурса, условием возможности появления исторического дискурса и системой координат, объектом, к которому повернут этот дискурс, война сразу стала тем, исходя из чего дискурс говорит, и тем, о чем он говорит.

Наконец, последнее замечание: если Клаузевиц смог однажды сказать, век спустя после Буленвилье и, следовательно, на два века позже английских историков, что война это политика, продолженная другими средствами, то это произошло потому, что кто-то в XVII веке, на повороте от XVII к XVIII веку, смог проанализировать, изложить и показать политику как войну, продолженную другими средствами.

Примечания

[1] См. *выше*, лекция от 28 января; см. *также* лекцию от 11 февраля.

[2] «Собирательное слово, которое употребляется для определения значительного количества народа, живущего в определенной стране, закрытой границами, и подчиняющегося одному и тому же правительству» (статья «Нация» в: Encyclopédie, ou Dictionnairé raisonne des sciences, des arts et des métiers. Lucques, 1758. T. XI. P. 29—30).

[3] *Sieyes E.-J.* Qu'est-ce que le Tiers-État? Éd. citée. О Сийесе см. *ниже*, лекция от 10 марта.

[4] Об Огюстене Тьерри см. ту же лекцию.

[5] О Франсуа Гизо см. ту же лекцию.

[6] *d'Estaing Ioachim*, comte. Dissertation sur la noblesse d'extraction..., op. cit.

[7] О Бюа-Нансэ см. *ниже*, лекция от 10 марта.

[8] О Монтлозье см. ту же лекцию.

[9] Анализ исторической работы Буленвилье, который М. Фуко развивает в этой лекции (и в следующей), основан на текстах, уже упоминавшихся в примечаниях 21—22 к лекции от 11 февраля, особенно: Mémoires sur l'histoire du gouvernement de la France в: État de la France..., op.cit.; Histoire de l'ancien gouvernement de la France..., op.cit.; Dissertation sur la noblesse française servant de Préface aux Mémoires de la maison de Croi et de Boulainvilliers в: *Devyver A.* Le Sang épuré..., op. cit.; Mémoires présentés à Mgr. le duc d'Orléans..., op. cit.

[10] Эта литература начинается с Макиавелли (Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio [1513—1517]. Firenze,1531), продолжается Боссюэ (Discours sur l'Histoire universelle. Paris, 1681), Е.В. Монтегю (Reflections on the Rise and Fall of the Ancient Republics. London, 1759), А. Фергюсоном (The History of the Progress and Termination of the Roman Republic. London, 1783) и заканчивается работой Эдварда Джиббона (History of the Decline and Fall of the Roman Empire. London, 1776—1788. 6 vol.).

[11] *Montesquieu Charles-Louis*, de. Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Amsterdam, 1734.

[12] См.: *Freret N.* De l'origine des Français et de leur établissement dans la Gaule в: Œeuvres completes. Paris, 1796—1799. T. V, VII. P. 202.

[13] См.: *Nietzsche F.* Zur Genealogie der Moral; eine Streitschrift. Leipzig, 1887. Erste Abhandlung: Gut und Bose, Gut und Schlecht. N 16,17,18 (французский перевод: La Généalogie de la morale. Un écrit polémique. Paris: Gallimard, 1971); см. также: Morgenröte. Gedanken über die mordlischen Vorurtheile. Chemnitz, 1881. Zweite Buch, N 112 (французский перевод: Aurore. Pensées sur les préjugés moraux. Paris: Gallimard, 1970). См. цитату из Буленвилье в: *Devyver A.* Le Sang épuré..., op. cit., p. 508: «Они были к тому же большие любители свободы, храбрые, переменчивые, неверные, жадные до наживы, беспокойные, нетерпеливые: именно так описывают их старые авторы».

[14] Речь идет о взятии Суассона в битве с римлянином Сиагриусом в 486 г.

Лекция от 25 февраля 1976 г.

Буленвилье и установление историко-политического континуума. — Историцизм. — Трагедия и государственное право. — Центральная администрация истории. — Проблематика Просвещения и генеалогия знаний. — Четыре процедуры дисциплинирования знания и их последствия. — Философия и наука. — Установление дисциплины знаний.

Говоря о Буленвилье, я вовсе не стремился показать, что он был родоначальником истории, нет никакого основания утверждать, что возникновение истории связано скорее с ним, чем, например, с юристами XVI века, которые сверяли монументы государственного права; или с парламентариями, которые на протяжении всего XVII века искали в архивах и в государственной юриспруденции ответа на вопрос о том, какими должны быть основные законы королевства; или с бенедиктинцами, усердно собиравшими хартии с конца XVI века. Я думаю, что с начала XVIII века усилиями Буленвилье историко-политическая область конституировалась фактически. В каком смысле? Прежде всего в том, что, рассматривая нацию или, скорее, нации в качестве объекта, Буленвилье проанализировал — в ходе изучения институтов, событий, королей и их власти — нечто другое, а именно, общество, как говорили в ту эпоху, когда связывались вместе интересы, обычаи и законы. Выбрав этот объект, он осуществил двойную конверсию. С одной стороны, он (и я думаю, что это было сделано в первый раз) выявил историю субъектов, то есть историю, не совпадающую с историей власти; он начал выделять в истории нечто, что в XIX веке с приходом Мишле станет историей наро-

да или народов.[1] Он открыл определенный исторический материал, который был оборотной стороной властных отношений. И он анализировал его не как инертную субстанцию, а как силу или силы, при этом власть была только одной из них, особой силой, самой странной из всех сил, которые борются внутри общественного организма. Власть олицетворяет маленькая группа людей сама по себе, не обладающая силой; и, однако, в конечном счете власть становится самой большой из всех сил, так что ей никто не может сопротивляться, разве что с помощью насильственных действий или восстания. Открытие Буленвилье состояло в том, что он отказался от истории, понятой как история власти, вместо этого он предложил другой образ истории, сосредоточенной на чудовищной или, во всяком случае, странной паре, загадку которой ни одна юридическая фикция не могла точно выразить или проанализировать, этой парой являлись изначальные силы народа и сила, созданная чем-то, что само не было силой, но тем не менее было властью.

Перемещая ось, центр тяжести своего анализа, Буленвилье сделал нечто важное. Прежде всего потому, что он выдвинул принцип о реляционистском, так сказать, характере власти: власть это не собственность и не сила; власть это всего лишь отношение, которое можно и нужно изучать только в зависимости от тех сторон, отношение между которыми исследуется. Нельзя, стало быть, создать ни истории королей, ни истории народов, а только историю конституирования двух противостоящих друг другу крайних сил. Причем, ни одна из них не является бесконечной, но и не сводится к нулю. Разрабатывая такую историю, определяя реляционистский характер власти и анализируя его проявление в истории, Буленвилье отверг — и это, я думаю, другой аспект его подхода — юридическую модель суверенитета, которая до того была единственным способом мыслить отношение между народом и монархом, или между народом и правителями. Буленвилье описал феномен власти не в юридических терминах суверенитета, а в исторических терминах господства и игры сил. И именно в этой области он увидел объект своего исторического анализа.

Поступая таким образом и взяв в качестве объекта своего рассмотрения власть, природа которой по существу реляционна и неадекватна юридической форме суверенитета, определяя ту

область сил, где выражаются властные отношения, Буленвилье выбрал в качестве объекта исторического знания то же, что анализировал Макиавелли[2] в пределах определенной стратегии — стратегии, рассматриваемой к тому же только со стороны власти и государя. Можно было бы возразить, что Макиавелли не только давал государю серьезные или иронические — это другой вопрос — советы по управлению и организации власти и что, в конце концов, весь текст «Государя» полон исторических референций. Можно было бы также сказать, что Макиавелли написал «Размышления о первой декаде Тита Ливия» и т.д. Но фактически, для Макиавелли история не была той областью, где нужно анализировать властные отношения. История была для него просто областью примеров, своего рода сборником юриспруденции или тактических моделей, могущих служить образцом для власти. История для Макиавелли всегда была только записью о соотношении сил и связанных с этим подсчетов.

Зато для Буленвилье (и это, по-моему, важно) соотношение сил и игра власти составляют саму субстанцию истории. Если есть история, события, если случается что-то, память о чем можно и нужно сохранить, то это происходит в той мере, в какой между людьми как раз устанавливаются властные отношения, проявляются соотношения сил и определенная игра власти. Следовательно, исторический рассказ и политический расчет имеют в точности, по Буленвилье, один и тот же объект. Конечно, исторический рассказ и политический подсчет не имеют одной цели, но то, о чем они говорят, о чем стоит вопрос в этом рассказе и в этом подсчете, прочно между собой связано. Таким образом, у Буленвилье появился, как я думаю, в первый раз историко-политический *континуум*. Можно также сказать и по-другому: Буленвилье открыл историко-политическую область в силу причины, которую я сейчас изложу. Я говорил и я думаю, что главным для понимания мысли Буленвилье была ее направленность на критику знания интендантов, того рода анализа управления и программы управления, которую интенданты и вообще монархическая администрация без конца предлагали власти. Буленвилье, конечно, резко противостоял этому знанию, но он ввел его в свой собственный дискурс, чтобы в своих целях заставить функционировать

те самые аналитические приемы, которые встречаются в знании интендантов. Речь шла о том, чтобы его конфисковать и заставить работать против системы абсолютной монархии, которая была одновременно местом рождения и областью использования административного знания, знания интендантов, экономического знания.

И по сути, когда Буленвилье анализирует в истории весь ряд отношений между военной организацией и налоговой системой, он только приспосабливает, использует для собственных исторических анализов ту форму обзора, тот тип мышления, ту модель отношений, которые именно и были выработаны знанием административным, фискальным, знанием интендантов. Например, когда Буленвилье объясняет отношение, существующее между наемничеством, повышением налогов, задолженностью крестьян, невозможностью продать урожай, он просто воспроизводит, но в историческом измерении, то, о чем шла речь у интендантов или финансистов в царствование Людовика XIV. Те же самые рассуждения можно встретить, например, у людей типа Буагильбера[3] или Вобана[4]. Отношение между сельской задолженностью и городским обогащением также было предметом крупной дискуссии на всем протяжении конца XVII и начала XVIII века. Таким образом, один и тот же тип рассуждений можно встретить и в знании интендантов, и в исторических анализах Буленвилье, но он первый заставил этот тип мышления функционировать в глубине исторического рассказа. Иначе говоря, Буленвилье заставил работать в качестве принципа понимания истории то, что до того было принципом рациональности государственного управления. Я думаю, важно здесь то, что исторический рассказ и государственное управление оказываются связаны между собой. Использование модели рациональности государственного управления как спекулятивной сетки для понимания истории и составляет историко-политический *континуум*. Этот *континуум* теперь заставляет говорить об истории и анализировать государственное управление с помощью одного и того же словаря и одной понятийной сетки или системы отсчета.

Наконец, я думаю, что Буленвилье основал историко-политический *континуум*, потому что он, рассказывая об истории, имел точную и особую цель: для него речь шла исклю-

чительно о том, чтобы вернуть дворянству и утраченную им память, и знание, которым оно всегда пренебрегало. А вернуть ему память и знание, что и было целью Буленвилье, значило вернуть ему силу, воссоздать дворянство как силу, действующую среди других сил социального целого. Следовательно, для Буленвилье занятие историей, рассказ об истории связаны не просто с желанием описать соотношение сил, не просто с повторным использованием, например, в интересах дворянства рационального метода, который до тех пор использовало правительство. Речь идет о том, чтобы изменить существующее в настоящее время соотношение сил, их равновесие. История служит не просто для анализа или расшифровки сил, но и для их модификации. Следовательно, контроль над историческим знанием, его обоснованность, короче, обладание исторической истиной равноценны занятию решающей стратегической позиции.

Подводя итоги, можно сказать, что утверждение историко-политической области выражается в факте перехода от истории, которая до тех пор говорила о праве, рассказывая о подвигах героев или королей, об их битвах, войнах и т. д., к истории как способу современной войны, ибо она обнаруживает войну и борьбу, пронизывающую все институты права и мира. Таким образом, история становится знанием о борьбе, она разворачивается и функционирует в области борьбы: отныне связаны друг с другом политическая борьба и историческое знание. И если правда, что никогда не было столкновений, которые бы не становились объектом воспоминаний, не закреплялись в памяти, не вызывали к жизни различные памятные ритуалы, то теперь, я думаю, начиная с XVIII века — именно тогда политическая жизнь и политическое знание начинают включаться в реальную общественную борьбу — сама стратегия борьбы, присущий ей подсчет соединяются с историческим знанием, представляющим собой расшифровку сил и их анализ. Нельзя понять появление специфически современного измерения политики без понимания того, как историческое знание начиная с XVIII века становится элементом борьбы: одновременно описанием борьбы и оружием в борьбе. Итак, организация историко-политической области. История снабдила нас идеей, что мы находимся в ситуации войны и мы ведем войну с помощью истории.

Раз это сказано, не хватает еще пары слов, прежде чем начать анализ войны, пронизывающей историю народов. Одно — по поводу *историцизма*. Все, конечно, знают, что историцизм самая ужасная вещь в мире. Нет философии, достойной этого имени, нет социальной теории, нет хоть немного заметной или выше среднего уровня эпистемологии, которые не должны явно и резко бороться против пошлости историцизма. Никто не осмелился бы признать, что он историцист. И я думаю, что легко можно было бы показать, что начиная с XIX века все великие философские системы были так или иначе антиисторицистскими. Можно было бы, я думаю, также показать, что все гуманитарные науки сохраняются и, может быть, в конечном счете существуют только как антиисторицистские.[5] Можно было бы показать также, как история, историческая дисциплина, в своих (так очаровывающих) обращениях то ли к философии истории, то ли к юридической и моральной идеальности, то ли к гуманитарным наукам стремится избежать своей фатальной и внутренней склонности к историцизму.

Но что такое историцизм, к которому все, будь то философы, представители гуманитарных наук, историки, относятся столь подозрительно? Что такое историцизм, который нужно любой ценой предотвратить и который современная философская, научная и даже политическая мысль всегда пытались предотвратить? Я думаю, что историцизм это не что иное, как только что в точности мною описанное: это узел связи, неминуемая принадлежность войны к истории и, наоборот, истории к войне. Как бы не углублялось в прошлое историческое знание, оно никогда не достигает ни природы, ни права, ни порядка, ни мира. Как бы далеко оно не простиралось, историческое знание встречает только бесконечность войны, то есть силы с их взаимоотношениями и столкновениями, и события, в которых разрешаются, всегда на временной основе, соотношения сил. История хранит в себе только войну и никогда не может от нее полностью отделаться; история никогда не может обойти войну или найти ее основные законы, или установить ее границы, а это происходит просто потому, что сама война поддерживает это знание, проходит через него, пересекает и определяет его. Всегда историческое знание оказывается только оружием в войне или еще тактическим средством

для ведения войны. Таким образом, война проходит через историю, которая о ней рассказывает. История со своей стороны может только расшифровывать войну, которую она несет в себе самой и которая проходит сквозь нее.

Я думаю, что крупный узел, связанный из исторического знания и военной практики, и составляет в целом ядро историцизма, ядро, одновременно неустранимое и постоянно вызывающее стремление его очистить от той идеи, которая снова и снова пускалась в ход, тому теперь уже одна или две тысячи лет, и которую можно назвать «платоновской» (хотя никогда нельзя доверять тому, что постоянно приписывают бедному Платону, если хотят что-либо исключить); эта идея правдоподобно связана со всей организацией западного знания и сводится к утверждению, что знание и истина не могут не принадлежать к уровню порядка и мира, что никогда знание и истину нельзя найти на стороне насилия, беспорядка и войны. Эта идея (неважно, платоновская она или нет), согласно которой знание и истина не могут существовать на стороне войны, а только на стороне порядка и мира, примечательна тем, что современное государство ее глубоко развило посредством, если можно так сказать, «дисциплинирования» знаний в XVIII веке. Именно эта идея делает для нас историцизм невыносимым, нам трудно согласиться, что существует нерасторжимая связь между историческим знанием и войнами, о которых оно повествует и которые, однако, на него глубоко влияют. Таким образом, возникает проблема и, если угодно, первая задача: нужно попытаться быть историцистами, то есть проанализировать то постоянное и неминуемое отношение между войной, рассказанной историей, и историей, пронизанной войной, о которой она рассказывает. Именно в этом духе я попытаюсь теперь продолжить маленькую историю галлов и франков, которую начал.

Вот первое замечание, первый excursus в область историцизма. Второе связано с темой, которую я только что обозначил, то есть с темой дисциплинирования знаний в XVIII веке, или, скорее, если использовать другой подход, с возражением, которое можно сделать в отношении ее. Представляя историю, историю войн и войну в истории как большой дискурсивный аппарат, с помощью которого осуществлялась в XVIII веке критика государства, делая из этого отношения войны/истории

условие появления «политики» [...], порядок должен установить непрерывность в своем дискурсе.*

[В то время как юристы исследовали архивы, чтобы установить основные законы королевства, вырисовалась история историков, которая не была песней власти о себе самой. Не нужно забывать, что в XVII веке, и не только во Франции, трагедия была одной из крупных ритуальных форм, в которых проявлялось государственное право и обсуждались его проблемы. Так, «исторические» трагедии Шекспира были трагедиями права и короля, ориентированными, по существу, на проблему узурпации и лишения права, убийства королей и появления из этого новой ситуации, в рамках которой осуществляется коронование короля. Как индивид может с помощью насилия, интриги, убийства и войны получить государственную власть, которая должна установить мир, справедливость, порядок и счастье? Как незаконное может произвести закон? Если в ту эпоху теория и история права стремились утвердить неразъединяемую непрерывность государственной власти, трагедия Шекспира сосредоточивалась][6], напротив, на своего рода воспроизводящейся ране, на язве, поражавшей тело королевской власти с тех пор, как существует насильственная смерть королей и приход незаконных суверенов. Я думаю, что шекспировская трагедия является, по крайней мере на одной из ее линий, своего рода церемонией, ритуалом воскрешения в памяти проблем государственного права. Можно было бы сказать то же самое о французской трагедии, именно о трагедии Корнеля и, может быть, еще Расина. И к тому же, если говорить вообще, не оказывается ли всегда греческая трагедия по существу трагедией права? Я думаю, что есть фундаментальная, сущностная близость между трагедией и правом, между трагедией и государственным правом, как, по-видимому, есть сущностная близость между романом и проблемой нормы. Трагедия и право, роман и норма, это, может быть, нужно рассмотреть.

Во всяком случае, во Франции XVII века трагедия также оказывается родом представления государственного права,

---

* Упорядочить смысл исходя из записи лекций было трудно. Фактически восемнадцать первых страниц рукописи в ходе лекции перенесены в конец.

историко-юридического представления о государственной власти. За одним исключением, конечно, — и тут крупное отличие от Шекспира (гениальность в сторону) — в классической французской трагедии, с одной стороны, речь вообще идет только об античных государствах. Это, наверное, связано с политической осторожностью. Но в конечном счете не нужно забывать и того, что одной из причин обращения к античности была и прямая связь по форме и даже по непрерывности его истории монархического права во Франции XVII века и особенно при Людовике XIV с античными монархиями. Тот же тип власти и тот же тип монархии, одну и ту же в субстанциальном и юридическом отношениях монархию встречаем у Августа или Нерона, в крайнем случае у Пирра и затем у Людовика XIV. С другой стороны, если и есть в классической французской трагедии соотношение с античностью, то присутствует также институт, который в некотором роде, как кажется, ограничивает трагический образ власти и заставляет трагедию повернуться в сторону театра галантности и интриги: таким институтом является двор. Трагедия античности и трагедия дворцовая. Но что такое двор, если также — и это разительно проявилось у Людовика XIV — не урок государственного права? Функция двора состоит, по существу, в созидании, устройстве места повседневного и постоянного проявления королевской власти в ее блеске. Двор в своей основе — это род постоянной, возобновляемой изо дня в день ритуальной процедуры, которая делает из индивида, частного человека короля, монарха, суверена. В своем монотонном ритуале двор беспрестанно воспроизводит процедуру с целью превратить человека, который встает, прогуливается, ест, человека с его любовью и страстями, превратить его в то же время, несмотря на все это, исходя из этого и не исключая из него ничего, в суверена. Сделать его любовь любовью суверена, его питание суверенным, его подъем и его сон проявлениями суверена: в этом состоит специфическое действие ритуала и церемониала двора. И если двор таким образом беспрерывно превращает обыкновенного человека в суверена, в личность монарха, которая является самой субстанцией монархии, то трагедия делает в некотором роде обратное: трагедия разрушает и, если угодно, заново соединяет то, что каждый день утверждает церемониальный ритуал двора.

Что делает классическая расиновская трагедия? Ее цель состоит в том, во всяком случае это относится к одной из ее особенностей, чтобы представить оборотную сторону церемонии, разрушить ее, показать момент, когда обладатель государственной власти, суверен мало-помалу предстает человеком, подверженным страстям, гневу, мстительности, человеком, любящим, идущим даже на кровосмешение и т. д., тогда возникает вопрос, сможет ли король-суверен возродиться и восстановиться, несмотря на свое разложение в вышеописанном духе: смерть и воскрешение тела короля в сердце монархии. Тем самым расиновская трагедия ставит не столько психологическую, сколько юридическую проблему. Понятно в этой связи, что Людовик XIV, желая видеть в Расине своего историографа, хотел сохранить линию прежней историографии монархии, воспевавшей саму власть, но он также позволял Расину оставаться верным своему трагедийному жанру. В основном он от него как историографа требовал написания пятого акта, то есть счастливого конца трагедии, возвышения частного человека, человека двора, с присущими ему чувствами до того уровня, когда он становится военным вождем и монархом, обладателем суверенной власти. То, что он доверил свою историографию трагическому поэту, вовсе не означало отказа от правового уровня, измены старой ориентации истории, которая должна была говорить о праве, выражать высшее государственное право. Это был, наоборот, — из-за необходимости, связанной с королевским абсолютизмом, — возврат к самой подлинной и наиболее элементарной функции королевской историографии в условиях абсолютной монархии, относительно которой никогда не нужно забывать, что через своего рода странное погружение в архаизм она делала из церемонии, обращенной на власть, сильный политический момент, а жизнь двора как место церемониала власти была как бы повседневным уроком государственного права, повседневным его проявлением. Понятно, что таким образом история, ориентированная на короля, вновь смогла принять свою подлинную форму, в некотором роде магико-поэтическую форму. История короля не могла не стать снова песней власти о себе самой. Таким образом, абсолютизм, придворный церемониал, иллюстрация государственного права, классическая трагедия, королевская историография — все это, я думаю, составляло одно целое.

Пусть мне простят эти рассуждения о Расине и историографии. Перескочим век (тот век, в начале которого жил Буленвилье) и возьмем последнего из абсолютных монархов с его историографом, Людовика XVI и Жакобо-Николя Моро, отдаленного преемника Расина, о котором я уже сказал несколько слов. Моро был администратором, министром истории, как называл его Людовик XVI в 1780-е годы. Кто такой Моро, если сравнить его с Расином? Параллель опасная, но, может быть, она не неблагоприятна для Моро. Моро, конечно, ученый защитник короля, который в своей жизни сам несколько раз будет нуждаться в защите. Ему была определена роль защитника, которую он выполнял, потому и был так назван в 1780-е годы — в период, когда права монархии атаковались от имени истории и с очень различных позиций: не только со стороны дворянства, но и парламентариев, а также буржуазии. Это был период, когда история поистине стала дискурсом, с помощью которого каждая «нация» в кавычках, каждое сословие, каждый класс выдвигали на первый план свое собственное право; это был период, когда история становилась, если хотите, общим дискурсом политической борьбы. В этот момент, значит, появляется должность министра истории. Здесь меня можно спросить: избавилась ли на деле история от государства, раз век спустя после Расина появляется историограф, который также связан с государственной властью, ибо он, как я только что сказал, выполняет функцию, если не министерскую, то административную.

С какой же целью была создана королем эта центральная администрация истории? Она должна была вооружить короля в происходящей политической битве, поскольку он был, в конце концов, только одной из сталкивающихся сил и его атаковали другие. Нужно было также установить род мира в различных формах историко-политической борьбы. Нужно было раз и навсегда закодировать исторический дискурс, чтобы его можно было интегрировать в практику государства. Поэтому Моро были поручены следующие задачи: сверять административные документы, предоставлять их в распоряжение самой администрации (прежде всего финансовые документы, но также и другие) и, наконец, раскрывать эти документы, сокровищницу документов, людям, которые за плату от короля осуществляли бы нужные ему исследования.[7] Понятно, что Моро не Расин,

что Людовик XVI не Людовик XIV и что мы далеки от церемониального описания перехода через Рейн — но все же каково различие между Моро и Расином, между старой историографией (которая встречается в наиболее подлинном виде в конце XVII века) и тем родом истории, которую государство желало взять под свое покровительство и свой контроль в конце XVIII века? Можно ли сказать, что история перестала быть дискурсом государства о себе самом с тех пор, как, похоже, отказались от придворной историографии и взяли за основу историографию административного типа? Я думаю, что различие значительно и что оно, во всяком случае, должно быть определено.

Теперь необходим, если угодно, новый excursus. Так называемую историю наук от генеалогии знаний отличает именно то, что первая располагается на оси, которая в основном является осью познания—истины, или, во всяком случае, осью, протянувшейся от структуры познания к требованию истины. В противоположность этому генсалогия знаний находится на совсем другой оси, на оси дискурс—власть или, если угодно, на практической оси дискурсивного противостояния власти. Итак, мне кажется, что если применить это представление к тому привилегированному в силу множества причин периоду, каким был XVIII век, если применить его к определенной области и региону, то окажется, что генеалогия знаний прежде всего, до всякого иного воздействия, мешает делу Просвещения. Она мешает тому, что в ту эпоху (и еще в XIX и в XX веках) описывалось как прогресс Просвещения, как борьба знания против невежества, разума против химер, опыта против предрассудков, рассудка против заблуждения и т. д. От всего, что символически представлялось как приход дня, рассеивающего ночь, нужно было, как я думаю, освободиться; зато нужно было, вместо отношения между днем и ночью, между знанием и невежеством, воспринять в ходе XVIII века нечто совершенно отличное: огромную и многообразную борьбу не между познанием и невежеством, а между *знаниями* — знаниями, противостоящими друг другу в силу их собственной морфологии, в силу враждебности друг к другу тех, кто обладал знаниями, и в силу связанных с ними последствий для власти.

Я здесь рассмотрю один или два примера, которые временно уведут меня от истории — примеры из области технического, технологического знания. Часто говорят, что XVIII век — век появления технических знаний. Фактически же в XVIII веке произошло совсем другое. Прежде всего утвердилось разнообразное, полиморфное, множественное, рассеянное существование различных знаний, которые соответствовали географическим регионам, размеру предприятий, мастерских и т. п. — я говорю о технологических знаниях — а также социальным слоям, воспитанию и богатству тех, кто ими обладал. Эти знания находились в состоянии борьбы друг с другом, противостояли друг другу в обществе, где секрет технологического знания был равноценен богатству и где независимость знаний по отношению друг к другу означала также независимость индивидов. Итак, множественное знание, знание—секрет, знание, служащее богатством и гарантией независимости: именно в такой раздробленности функционировало технологическое знание. Однако по мере того, как развивались производительные силы и экономические требования, возрастала цена знаний и все сильнее и в некотором роде напряженнее становились их борьба между собой, разграничения, проводимые с целью обеспечения независимости, требования секретности. Одновременно проходили процессы аннексии, конфискации, опеки самых малых знаний, особенных, локальных, кустарных, со стороны знания самого большого, я хочу сказать, самого всеобщего, индустриального, того, что циркулировало легче других; существовала огромная экономико-политическая борьба вокруг знаний, по поводу знаний, продиктованная их рассеянием и гетерогенностью; огромная борьба шла вокруг экономических и политических последствий, связанных с исключительным обладанием знанием, с его рассеиванием и секретностью. Именно многообразие независимых, гетерогенных и секретных знаний нужно иметь в виду, когда речь заходит о развитии технологического знания в XVIII веке: именно множественность, а не прогресс в виде перехода от ночи ко дню, от невежества к знанию.

Итак, в эту область борьбы, попыток аннексии, или, что то же, попыток обобщения, вмешивается, прямо или косвенно, государство посредством, как я думаю, четырех крупных

процедур. Во-первых, посредством исключения, дисквалификации того, что можно было бы назвать мелкими, бесполезными и чересчур своеобразными знаниями, к тому же экономически невыгодными; итак, исключение и дисквалификация. Во-вторых, посредством приведения знаний к норме, что должно позволить приладить их друг к другу, заставить их сообщаться между собой, сломать барьеры секретности и географических и технических разграничений, короче, сделать взаимозаменяемыми не только знания, но и их обладателей; итак, нормализация рассеянных знаний. В-третьих, с помощью иерархической классификации знаний, позволившей совместить одни из с другими, начиная с самых своеобразных и практических значений, которые в то же время оказываются подчиненными, и до самых общих, самых формальных знаний, которые одновременно явятся формами, охватывающими и направляющими все знание в целом. Итак, иерархическая классификация. И наконец, в-четвертых, посредством пирамидальной централизации контролируются знания, обеспечивается их отбор и одновременно переносится снизу вверх содержание знаний, а сверху вниз — совместное направление и общую организацию, которую хотят сделать преобладающей.

Такому преобразованию организации технологических знаний соответствовала вся совокупность практик, предприятий, институтов. Например, *Энциклопедия*. Привыкли видеть только одну сторону *Энциклопедии*, ее политическую или идеологическую оппозицию монархии и, по крайней мере, одну из форм католицизма. На деле ее значение в области технологии заключалось не в акценте на философском материализме, а исключительно в политической и экономической процедуре гомогенизации технологических знаний. Серьезные исследования о методах ремесла, о металлургической технике, о добыче на рудниках и т. д. — эти большие исследования, проделанные с середины до конца XVIII века, — соответствовали нормализации технических знаний. Существование, создание или развитие крупных школ, вроде Высшей горной школы или Школы строительства мостов и дорог и т. д., позволили определить одновременно качественные и количественные уровни, разрывы, страты между различными знаниями, что и позволило провести их иерархизацию. И наконец, существовал корпус инспекторов,

которые на всем пространстве королевства давали инструкции и советы по приведению в порядок и использованию технических знаний, что обеспечивало их централизацию. То же самое можно было бы сказать — я рассмотрел пример технических знаний — о медицинском знании. Вся вторая половина XVIII века заполнена работой по гомогенизации, нормализации, классификации, централизации медицинского знания. Как придать содержание и форму медицинскому знанию, как наложить единообразные правила на практику медицинских услуг, как приучить население к этим правилам и сделать их для него приемлемыми? Это было время создания госпиталей, диспансеров, возникло Королевское общество медицины, проходила огромная кампания по осуществлению гигиены всего общества, а также гигиены новорожденных и детей более старшего возраста и т. д.[8]

В основном во всех этих мероприятиях, примеры которых я только что привел, речь шла о четырех вещах: о селекции, нормализации, иерархизации и централизации. Именно эти четыре операции можно наблюдать в действии при хоть немного детализированном изучении того, что называется дисциплинарной властью.[9] XVIII век был веком дисциплинирования знаний, то есть внутренней организации всякого знания как дисциплины, имеющей в своей собственной области одновременно критерии селекции, позволяющие устранить ложное знание, не-знание, формы нормализации и гомогенизации содержания, формы установления иерархии и, наконец, порядок централизации знаний в ходе их подчинения определенным аксиомам. Итак, обустройство каждого знания как дисциплины и, с другой стороны, установление отношений между дисциплинированными таким образом знаниями, установление связей между ними, их разделение на классы, их взаимная иерархизация в некоей глобальной области или глобальной дисциплине, которая именно и называется «наукой». До XVIII века науки не существовало. Существовали науки, знания, существовала также, если угодно, философия. Последняя была поистине системой организации, или скорее коммуникации знаний друг с другом, и именно в силу этого она могла играть действительную, реальную, эффективную роль в развитии знаний. Теперь вместе с процессом дисциплинирования

знаний возникает фактически в своей полиморфной единственности принуждение, которое составляет целое с нашей культурой и называется «наукой». В этот момент, как я думаю, на самом деле исчезаст глубокая и основополагающая роль философии. Теперь философия больше не будет играть эффективной роли в науке и в процессах знания. В то же время и в связи со сказанным исчезает mathesis* как проект универсальной науки, которая бы служила одновременно формальным инструментом и строгой основой всех наук. Наука как общая область, как дисциплинарная полиция знаний, пришла одновременно на смену философии и mathesis. И она начинает теперь ставить проблемы, характерные для дисциплинарной полиции знаний: проблемы классификации, иерархизации, проблемы смежности и т. д.

В силу того значительного изменения, какое означало дисциплинирование знаний и прекращение, следовательно, воздействия на науку философского дискурса и внутреннего проекта mathesis в науках, XVIII век воспринимал себя, как известно, только как эпоху прогресса разума. Необходимо хорошо сознавать, что так называемый прогресс разума был дисциплинированием полиморфных и гетерогенных знаний, и только с этих позиций можно понять некоторые вещи. Сначала появление Университета. Конечно, не появление в строгом смысле, поскольку университеты существовали и играли свою роль гораздо раньше. Но начиная с конца XVIII и в начале XIX века — создание наполеоновского университета происходит именно в этот момент — появляется как бы большой единообразный аппарат знаний с его различными ступенями и ответвлениями, с его ярусами и выступами. Университет выполняет, прежде всего, функцию отбора, отбора не только людей (в конечном счете это не очень важно), но и знаний. Он выполняет роль селекционера в силу своей фактической и правовой монополии: в результате знание, которое не рождено и не сформировано внутри такого рода институциональной области, хотя с относительно изменяющимися границами, но тем не менее включающей в себя университет и официальные исследовательские объединения, знание, которое рождено вне всего

---

* Знание, познание (преимущественно математическое) (*прим. перев.*).

этого, квалифицируется лишь как незаконное знание, рожденное в другом месте знание автоматически оказывается сразу если не исключенным, то, по крайней мере, a priori дисквалифицированным. Исчезновение любительского знания это известный факт XVIII—XIX веков. Итак, роль университета заключается в селекции знаний; в распределении ступеней, качества и количества знаний на различных уровнях; в обучении со всеми преградами, существующими между различными ступенями университетского аппарата; в гомогенизации знаний через установление своего рода научной общности с признанным статусом; в организации консенсуса; и наконец, в прямом или косвенном воздействии на централизацию государственного аппарата. Итак, появление некоей реалии вроде университета с его ответвлениями и изменяющимися границами в начале XIX века становится понятным, если учитывать происходившее тогда дисциплинирование знаний, наложение дисциплины на знание.

Исходя из этого можно понять и второй факт: а именно, изменение формы догматизма. Внутренняя дисциплина знаний ведет к появлению особой формы контроля с предназначенным для этой цели аппаратом; новая форма контроля, понятно, позволяет абсолютно отвергать то, что ранее считалось ортодоксией, претендовавшей на контроль в отношении высказываний. Ортодоксией дорогостоящей, так как старая ортодоксия, основа религиозного, церковного контроля над знанием, влекла за собой осуждение, исключение некоторого числа высказываний, которые в научном отношении были истинны и плодотворны. Такая ортодоксия, которая в своих контрольных функциях касалась самих высказываний и сортировала их на соответствующие и несоответствующие, на приемлемые и неприемлемые, в ходе внутреннего дисциплинирования знаний, происшедшего в XIX веке, была заменена на другое: на контроль, который не касался содержания высказываний, их соответствия или несоответствия определенной истине, а распространялся на правомерность высказываний. Вся суть состояла теперь в том, чтобы знать, кто говорил и имел ли он квалификацию, чтобы говорить, к какому уровню принадлежит высказывание, в какую совокупность оно может быть помещено, как и в какой мере оно соответствует другим формам и типологиям

знания. Это допускает сразу, с одной стороны, либерализм в том, что касается самого содержания высказываний, либерализм если не безграничный, то, по крайней мере, довольно широкий, а с другой стороны, бесконечно более строгий контроль, более масштабный, широкий, который осуществляется на самóм уровне процедур высказывания. И сразу из этого вполне естественно следует возможность гораздо большей ротации высказываний, гораздо более быстрого устаревания истин; это объясняет эпистемологическое растормаживание. Насколько ортодоксия, ориентированная на содержание высказываний, была помехой обновлению запаса научных знаний, настолько же дисциплинирование на уровне высказываний позволило с гораздо большей скоростью обновлять высказывания. Иначе говоря, от цензуры высказываний перешли к дисциплине высказывания, или же от ортодоксии перешли к чему-то, что я бы назвал «ортологией», имея в виду форму контроля, которая теперь осуществляется исходя из дисциплины.

Ладно! Я немного заблудился во всем этом... Ранее было проведено исследование и показано, как дисциплинарные техники власти[10], взятой на ее самом разреженном, самом элементарном уровне, на уровне тел самих индивидов, смогли изменить политическую экономию власти, модифицировали ее аппараты; как те же самые дисциплинарные техники власти, обращенной на тело, вызвали не только накопление знаний, но и разблокировали области возможного знания; и затем, как запущенные властью формы обращенной на тела дисциплины выгнали из этих подчиненных тел душу–субъект, «я», психическое и т. д. Все это я пытался исследовать в последний год.[11] Я думаю, что теперь нужно было бы изучить, как осуществляется другая форма принуждения к дисциплине, дисциплинированию, которое устанавливается одновременно с первой, но касается не тел, а знаний. И я думаю, можно было бы показать, как относящееся к знаниям дисциплинирование вызвало эпистемологическую разблокировку, новую форму, новую последовательность в умножении знаний. Можно было бы показать, как дисциплинирование ведет к новому порядку в отношениях между властью и знанием. Можно было бы показать, наконец, как на основе дисциплинированных знаний возникло новое принуждение, теперь уже не принуждение со стороны истины, а принуждение со стороны науки.

Все это несколько отдаляет нас от королевской историографии, от Расина и Моро. Можно было бы возобновить анализ (но я этого не буду здесь делать) и показать, каким образом в тот самый момент, когда история, историческое знание как раз вошло во всеобщую область борьбы, история оказалась, но в силу других причин, в основном в той же ситуации, что и технологические знания, о которых я вам только что говорил. Технологические знания с их дисперсией, с присущими им морфологией, регионализацией, с их локальным характером, с окружающей их тайной были одновременно целью и инструментом экономической и политической борьбы; и в эту общую борьбу одних технологических знаний с другими вмешалось государство, выполняя функцию, роль дисциплинирования, что одновременно означает селекцию, гомогенизацию, иерархизацию, централизацию. И историческое знание в силу совершенно других причин и почти в ту же самую эпоху включалось в область борьбы и сражений. Определяющими здесь были не непосредственно экономические причины, а борьба, и борьба политическая. В самом деле, когда историческое знание, которое до того было частью дискурса государства или власти о себе самой, было оторвано от власти и стало инструментом политической борьбы, власть начала на протяжении всего XVIII века прилагать усилия для овладения им и подчинения его дисциплине, как она это делала в отношении технологических знаний. Создание в конце XVIII века министерства истории, создание большого хранилища архивов, которое к тому же должно было стать в XIX веке Школой хартий, что произошло почти одновременно с созданием Высшей горной школы, Школы мостов и дорог, — неважно, что последняя создавалась немного иначе, — также соответствует дисциплинированию знания. Для королевской власти речь шла о том, чтобы установить дисциплину в историческом знании, в исторических знаниях и утвердить таким путем государственное знание. В сравнении с технологическим знанием выявляется только одно различие: в той самой мере, в какой история — как я думаю — является знанием, по существу, антиэтатистским, между дисциплинированной государством историей, ставшей содержанием официального обучения, и историей, связанной с борьбой, выступающей как форма сознания борющихся субъектов, существует

постоянное столкновение. Противостояние не уменьшается проведением дисциплинаризации. Если можно сказать, что в области технологии осуществленное в течение XVIII века дисциплинирование было в целом действенным и успешным, то зато в отношении исторического знания, хотя и проводилось дисциплинирование, но оно не только не помешало, а в конечном счете усилило, по причине разыгрывающихся битв, конфискаций, взаимных споров, негосударственную историю, историю децентрализованную, историю борющихся субъектов. И поэтому мы постоянно имеем два уровня исторического сознания и исторического знания, два уровня, которые наверняка стремятся все больше и больше соприкоснуться друг с другом. Но подобный сдвиг никогда не помешает существованию того и другого: с одной стороны, подлинно дисциплинированного знания в форме исторической дисциплины и, с другой стороны, полиморфного, разделенного и борющегося исторического сознания, которое является просто другим аспектом, другим лицом политического сознания. Это очень малая часть того, о чем я попытаюсь вам рассказать, имея в виду конец XVIII и начало XIX века.

Примечания

[1] *Michelet J.* Le Peuple. Paris, 1846.

[2] *Machiavel N.* Il Principe. Roma, 1532; Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, op.cit.; Dell'arte della guerra. Firenze. 1521; Istorie fiorentine. Firenze, 1532. Французские переводы «Государя» очень многочисленны. Другие тексты Макиавелли могут быть прочитаны в издании Е. Баринку (*Machiavel.* Œeuvres complétes. Paris: Gallimard/ Bibliotheque de la Pléiade, 1952), который восстановил и вновь издал старые переводы Ж. Жироде (1798 г.). Фуко будет говорить о Макиавелли особенно в двух очерках: «Omnes et singulatim...» (1981 г.) и «The Political Technology of Individuals» (1982 г.); см. *также* лекцию в Коллеж де Франс от 1 февраля 1978 г. под названием «Система правления» (тексты цитировались *выше*, в лекции от 21 января, примечание 13).

[3] *Pierre le Pesant de Boisguilbert.* Le Détail de la France, s.1., 1695; Factum de la France (1707 г.) в: Économistes financiers du XVIII siecle.

Paris, 1843; Testament politique de M. de Vauban. Maréchal de France, s.l., 1707, 2 vol.; Dissertation sur la nature des richesses, de l'argent et de tributs. Paris, s.d.

[4] *Sébastien le Prestre de Vauban.* Méthode génerale et facile pour faire le dénombrement des peuples. Paris, 1686; Projet d'une dixme royale, s.l., 1707.

[5] Об антиисторицизме современного знания см. в особенности «Слова и вещи», цит. соч., гл. X, N IV.

[6] Текст в скобках установлен по рукописи М. Фуко.

[7] Результат огромного труда, выполненного Ж.-Н. Моро, изложен в его «Принципах морали, политики и государственного права...», цит. соч. Для пояснения критериев, избранных Ж.-Н. Моро при подготовке этого труда, и для понимания его истории см. также «Plan des travaux littéraires ordonnés par Sa Majesté...», op. cit.

[8] По вопросу о процедурах нормализации медицинского знания можно обратиться к текстам М. Фуко, начиная от «Рождения клиники. Археология медицинской точки зрения» (Paris: PUF, 1963) до бразильских лекций по истории медицины в 1974 г. (см.: Dits et Écrits, III, N 170, 196, 229) и, наконец, до анализа медицинской полиции в работе «Политика здоровья в XVIII веке» (1976 и 1979 гг.) (в: Dits et Écrits, N 168, 257).

[9] О дисциплинирующей власти и ее влиянии на знание см. *особенно* «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы». М., 1999.

[10] См., в частности, «Лекции в Коллеж де Франс». 1971—1972: «Теории и институты уголовного права» и 1972—1973: «Карательное общество» (готовится к изданию).

[11] См. «Лекции в Коллеж де Франс». 1974––1975: «Ненормальные» (русское издание *Фуко М.* Ненормальные. СПб., 2004).

Лекция от 3 марта 1976 г.

Тактическое обобщение исторического знания. — Конституция, Революция и циклическая история. — Дикарь и варвар. — Тройная фильтрация варвара: тактические формы исторического дискурса. — Вопросы метода: эпистемическая область и буржуазный антиисторицизм. — Возрождение исторического дискурса во время Революции. — Феодализм и готический роман.

В последний раз я вам показал, как сформировались, конституировались усилиями аристократической реакции начала XVIII века историко-политический дискурс и историко-политическая сфера. Я хотел бы теперь перенестись в другое время, а именно, в период французской революции, в определенный ее момент, когда можно отчетливо увидеть в ней два процесса. С одной стороны, можно видеть, как дискурс, поначалу связанный с аристократической реакцией, широко распространяется не только потому, что становится регулярной, канонической формой исторического дискурса, но и потому, что его стали использовать тактически как инструмент не только знать, а в конечном счете представители любых политических направлений. Действительно, историческое знание на протяжении XVIII века, конечно, при помощи определенного числа модификаций в основных положениях, становится в итоге своего рода полезным дискурсивным оружием, к которому обращаются все политические противники. В целом, я хотел бы вам показать, почему этот исторический дискурс не должен восприниматься как идеология или идеологический продукт дворянства и его классовой позиции, и вообще не об идеологии здесь

идет речь; я имею в виду другое, что я как раз пытаюсь наметить и что могло бы представлять собой дискурсивную тактику, механизм знания и власти, который именно в качестве тактики может передаваться и в результате оказывается одновременно и способом образования знаний, и общей формой политической борьбы. Итак, распространение дискурса об истории, но в качестве тактического оружия.

Наряду с этим во время революции вырисовываются и способы использования этого оружия, соответствующие трем различным битвам, в результате чего появились три разные тактики: первая ориентировалась на национальности и должна была по существу оказаться в неразрывной связи с феноменами языка, следовательно, с филологией; вторая ориентировалась на общественные классы, здесь центральным феноменом было экономическое господство, следовательно, глубиннос соотношение с политической экономией; наконец, третья имеет в центре не национальности и не классы, а расу с ее биологическими особенностями и селекцией, то есть проявляется единство между историческим дискурсом и биологической проблематикой. Филология, политическая экономия, биология. Говорить, работать, жить.[1] Скоро увидим, как все это вновь инвестируется и заново сочетается в историческом знании и в связанных с ним тактиках.

Сегодня я хотел бы рассказать о тактическом распространении исторического знания: о том, как же оно постепенно выходит за рамки аристократической реакции, представителями которой оно было создано в начале XVIII века, и становится общим инструментом всех форм политической борьбы конца XVIII века, с какой бы точки зрения эта борьба не велась? Первый вопрос касается причины этой тактической поливалентности: как и почему столь особый инструмент, этот в конечном счете столь своеобразный дискурс, который заключался в воспевании захватчиков, смог стать общим инструментом в разных политических формах тактики и столкновений в XVIII веке?

Я думаю, что причину можно найти, если двигаться в определенном направлении. Буленвилье из национального дуализма сделал принцип понимания истории. Это означает три вещи. Для Буленвилье речь шла прежде всего о том, чтобы вновь обнаружить начальный конфликт (битву, войну, завоевание,

нашествие и т. д.), тот начальный конфликт, то воинственное ядро, от которого могли произойти другие битвы, другие формы борьбы, другие столкновения, либо в качестве его прямого следствия, либо в результате перемещений, изменений, переворотов в соотношении сил. Таким образом, существует большая генеалогия борьбы, проходящая сквозь различные битвы, зарегистрированные в истории. Как вновь найти основную линию борьбы, как снова связать стратегическую нить всех этих сражений? Буленвилье хотел также выработать такое историческое понимание, где бы речь шла не только об обнаружении ядра, главной битвы и о способе, с помощью которого из нее произошли другие битвы, он стремился также выявить измены, противоестественные союзы, хитрости одних и трусость других, все несправедливости, все постыдные расчеты, непростительное забвение, сделавшие возможным трансформацию и в то же время некоторым образом фальсификацию исходного соотношения сил в этом главном столкновении. На деле надо было устроить большой исторический экзамен («кто виноват?») и таким путем не только снова связать стратегическую нить, но и очертить в истории иногда извилистую, но непрерывную линию, обозначавшую моральное разделение общества. Исторический подход Буленвилье преследовал и другую цель: нужно было за всеми тактическими перемещениями и историко-моральными потерями вновь разглядеть, выявить такое соотношение сил, которое было бы одновременно хорошим и истинным. Истинным указанное соотношение сил является в том смысле, что оно обретается не как идеал, а как реальность, которая на деле была помещена, вписана историей в решающее испытание сил, в данном случае это нашествие франков на Галлию. Итак, есть определенное соотношение сил, исторически верное и реальное, и оно несет в себе позитивный моральный заряд и должно быть освобождено от всех искажений, которые могли произойти в результате последующих измен и различных перемещений. Тема подобного исторического исследования такова: нужно вновь найти то соотношение сил, которое бы точно соответствовало первоначальному состоянию. Эту задачу ясно сформулировали Буленвилье и его последователи. Буленвилье говорил, например: надо вспомнить наши обычаи, какими они были в период их подлинного происхождения,

открыть общие для всей нации правовые принципы и рассмотреть, что изменилось с течением времени. А дю Бюа-Нансэ немного позже сказал: именно в соответствии с первичным духом правления нужно вновь придать силу некоторым законам, умерить другие, слишком большая строгость которых могла бы нарушить равновесие, нужно вновь установить гармонию и соответствие.

В таком проекте анализа истории заложены три цели: восстановление исходной стратегической ориентации, проведение линии морального раздела и установление справедливости того, что можно назвать точкой конституирования политики и истории, моментом конституирования королевства. Я говорю о «точке конституирования», о «моменте конституирования», чтобы слегка отойти от слова «конституция», но между тем не совсем его уничтожить. Фактически речь идет, как станет видно, именно о конституции: историю делают, чтобы установить конституцию, но конституцию, понимаемую не как четкую совокупность законов, которые были бы сформулированы в определенный момент. Дело не в том, чтобы вновь обрести род основополагающей юридической конвенции, которая была принята в определенное время, или в пред-время королем, сувереном и его подданными. Дело в том, чтобы вновь обрести нечто, что имеет плотность и историческую сущность; что вследствие этого не принадлежит ни к уровню закона, ни к уровню силы; что не является ни документом, ни равновесием. Это конституция в том смысле, как ее могли бы понять медики, то есть: соотношение сил, равновесие и игра пропорций, стабильная асимметрия, конгруэнтное неравенство. Обо всем этом говорили медики XVIII века, когда упоминали «конституцию».[2] Такая идея конституции появляется в той исторической литературе, одновременно и медицинской, и военной, которая формируется в среде аристократической реакции: она ориентируется на соотношение сил между добром и злом, а также на соотношение сил между противниками. С этим конституирующим моментом, который нужно вновь обрести, следует соединиться с помощью знания и восстановления основного соотношения сил. Речь идет об утверждении конституции, приемлемой не по причине восстановления старых законов, а по причине революции в силах — революции в том смысле, в каком

говорится о переходе от ночи ко дню, с нижней точки на самую верхнюю. Начиная с Буленвилье стало возможно — и я думаю, что это основное, — соединение двух понятий, конституции и революции. Пока в историко-юридической литературе, которая в основном была литературой парламентариев, под конституцией подразумевались, по существу, основные законы королевства, то есть юридический аппарат, нечто вроде конвенции, то было ясно, что возврат конституции мог быть только восстановлением, в некотором роде решающим, вновь обнаруженных законов. И напротив, начиная с того момента, когда конституция больше не представляется юридической основой, совокупностью законов, а рассматривается как соотношение сил, то становится ясно, что такое соотношение невозможно восстановить из ничего; его можно восстановить только тогда, когда существует циклическое движение истории, когда, во всяком случае, существует нечто, заставляющее повернуть историю и привести ее к исходному пункту. Следовательно, здесь можно видеть, как вводится, с помощью медико-военной идеи конституции, то есть идеи о соотношения сил, нечто вроде циклической философии истории, идеи о том, что история развивается кругообразно. Я говорю, что эта идея «вводится». Хотя, по правде говоря, она вводится заново или, если угодно, старая милитаристская тема возврата соединяется с развитым историческим знанием.

Философия истории в форме философии циклического времени становится возможна начиная с XVIII века, с тех пор как вступили в игру два понятия: конституция и соотношение сил. Я думаю, что фактически у Буленвилье в первый раз внутри развитого исторического дискурса появляется идея о цикличности истории. Империи, говорил Буленвилье, рождаются и приходят в упадок, подобно тому как день сменяет ночь.[3] Солнечная революция, историческая революция: оба явления теперь связаны. Итак, происходит скрепление, осуществляется связь трех тем — конституции, революции, циклической истории: вот, если хотите, один из аспектов того тактического инструмента, который разработал Буленвилье.

Если говорить о другом аспекте, то нужно поставить вопрос: чего хотел Буленвилье, когда он разыскивал хороший и истинный конституирующий момент в истории? Он, конечно,

хотел отказаться от поиска этого конституирующего момента в законе, но также он не желал искать его в природе: для него характерен анти-юридизм (о чем я вам только что говорил), но также анти-натурализм. Серьезным противником Буленвилье и его последователей станет идея природы, человека как природного существа, или, если сказать иначе, серьезным противником такого рода анализа (и в этом также причина того, что анализы Буленвилье станут инструментальными и тактическими) оказывается человек природы, дикарь. Это зависит от их двух причин: во-первых, хороший или дурной, дикарь — это человек природы, которого создали юристы и теоретики права, поместив его в некое дообщественное время с целью конституирования общества с помощью этой фикции, создали как элемент, из которого мог конституироваться социальный организм. Разыскивая решающий для организации общества момент, Буленвилье и его последователи не стремились ввести в свой анализ дикаря, в некотором роде предшествующего обществу. Во-вторых, в лице дикаря, человека природы они оспаривали изобретенный экономистами идеальный элемент, человека без истории и без прошлого, который движим единственно своим интересом и обменивает продукт своего труда на другой продукт. Таким образом, историко-политический дискурс Буленвилье и его последователей одновременно отрицал теоретико-юридического дикаря, дикаря, вышедшего из лесов, чтобы заключить контракт и основать общество, а также дикаря типа homo oeconomicus, обреченного на обмен и торговлю. По сути, эта пара — дикарь и обмен — является, как я думаю, абсолютно фундаментальной не только для юридической мысли, не только для правовой теории XVIII века; связь дикаря и обмена также всегда можно отыскать, начиная с правовой теории XVIII века и вплоть до антропологии XIX и XX веков. По существу, в юридической мысли XVIII века, как и в антропологической мысли XIX и XX веков, дикарь — это прежде всего человек обмена; он участник обмена, идет ли речь об обмене правами или благами. Как участник обмена правами он основывает общество и верховную власть. Как участник обмена благами он конституирует общественный организм, который в то же время является экономическим организмом. Начиная с XVIII века дикарь рассматривастся как субъект простого

обмена. И в основном именно в противовес понятию дикаря (значение которого было огромно в юридической теории XVIII века) основанный Буленвилье историко-политический дискурс выдвигал вперед другого персонажа, столь же простого, как дикарь юристов (и в скором времени антропологов), но выстроенного совершенно иначе. Этот противник дикаря — варвар.

Но каким образом варвар противостоит дикарю? Прежде всего, дикарь, вместе с другими дикарями, всегда остается таковым в состоянии дикости, если же создано отношение социального типа, то дикарь перестает быть таковым. Зато варвар — это человек, который не может быть понят и охарактеризован сам по себе, он может быть определен только по отношению к цивилизации, то есть как нечто, находящееся вне ее. Нет варвара, если где-либо нет точки цивилизации, по отношению к которой варвар оказывается внешним и против которой он борется. Итак, отношение варвара к цивилизации — которую варвар презирает и одновременно желает — можно определить как чуждость и постоянную войну. Нет варвара без цивилизации, которую он стремится разрушить и присвоить. Варвар это всегда человек, который топчется у государственных границ, тот, кто уперся в городские стены. В отличие от дикаря варвар не принадлежит природе. Он появляется только на основе цивилизации, с которой столкнулся. Он входит в историю не как основатель общества, а как человек, который проникает в цивилизацию, устраивает в ней пожары и разрушает ее. Таким образом, я думаю, первое отличие между варваром и дикарем заключается в отношении к цивилизации, стало быть, к предшествующей истории. Нет варвара без предшествующей истории, истории цивилизации, которую он поджигает. И в то же время варвар не носитель обмена наподобие дикаря. Варвар, по существу, совсем не носитель обмена: он носитель господства. В отличие от дикаря варвар захватывает, присваивает; он не осуществляет первоначального захвата земли, он грабит. То есть его отношение к собственности всегда вторично: он овладевает всегда только собственностью, уже кому-то принадлежавшей; он также заставляет других служить себе, он заставляет других обрабатывать земли, охранять своих лошадей, делать оружие и т. д. Его свобода покоится именно на свободе, потерянной другими. Поддерживая отношения с властью, варвар

в отличие от дикаря никогда не отдает своей свободы. У дикаря свободы как бы в изобилии, и он уступает ее с целью гарантировать свою жизнь, безопасность, собственность, свои блага. Варвар никогда не уступает свободы. И когда он определяет себе власть, определяет короля, избирает вождя, то делает это вовсе не для того, чтобы уменьшить свою собственную часть прав, а напротив, чтобы умножить свою силу, стать сильнее в своих вымогательствах, грабежах и насилиях, чтобы быть захватчиком, более уверенным в своих силах. Варвар признает власть лишь как силу, умножающую его собственную индивидуальную силу. Поэтому правительственная модель в представлении варвара обязательно имеет военный характер, она совсем исключает договоры об общественных уступках, характерные для дикаря. Именно персонаж варвара утвердила, как я думаю, в XVIII веке история, у истоков которой был Буленвилье.

Теперь становится понятным, почему вопреки всему дикарь, даже когда за ним признают некоторые недостатки и злобность, тем не менее в современной юридически-антропологической мысли и вплоть до встречающихся теперь буколических американских утопий всегда оказывается добрым. И почему бы ему не быть добрым, если его функция заключается в том, чтобы менять, давать — давать, конечно, исключительно в своих интересах, но в форме взаимовыгоды, в которой мы признаем приемлемую и юридическую форму доброты? Зато варвар обязательно плохой и злой, даже если признают его достоинства. Он может быть только спесивым и бесчеловечным, так как не является человеком обмена и природы; он — человек истории, человек грабежа и пожара, человек господства. «Народ гордый, грубый, не имеющий ни родины, ни закона», — говорил Мабли (который, однако, очень любил варваров); он допускает ужасное насилие, потому что для него это часть общественного порядка.[4] У варвара душа большая, благородная и гордая, но в ней всегда есть место обману и жестокости (все это из Мабли). Де Бонневий так сказал о варварах: «Эти авантюристы [...] дышат только войной [...] меч их право и они пользуются им без угрызений совести».[5] И Марат также был большим другом варваров, называл их «бедными, грубыми, не имеющими торговли и ремесел, но свободными».[6] Был

ли варвар человеком природы? И да и нет. Нет, потому что он всегда связан с историей (и историей предшествующей). Варвар возникает на основе истории. И если он соотносится с природой, говорил дю Бюа-Нансэ (который целил в своего близкого врага, Монтескье), если он человек природы, что же тогда природа? Это отношение солнца к грязи, которую оно высушивает, это отношение чертополоха к ослу, который им питается.[7]

Оставаясь в историко-политической области, где знание военного дела постоянно рассматривалось как политический инструмент, можно, я думаю, приступить к характеристике каждой из крупных тактик, утвердившихся в XVIII веке, выделяя их соответственно способу использования в целях политической борьбы тех четырех элементов, которые присутствовали в анализе Буленвилье: конституции, революции, варварства и господства. В основном проблема заключается в том, чтобы понять, как можно установить оптимальную связь между разгулом варварства, с одной стороны, и желаемым конституционным равновесием — с другой? Как использовать для правильного устройства общества насилие, свободу и т. д., которые варвар может принести с собой? Иначе говоря, что нужно сохранить и что нужно устранить из варварских отношений, чтобы создать справедливую конституцию? Что можно найти полезного в варварстве? В основном проблема заключается в том, чтобы осуществить теоретическую фильтрацию феноменов варвара и варварства: какие позитивные элементы можно выделить в варварском господстве, чтобы осуществить конституирующую революцию? Именно эта проблема и различные решения насчет способа очищения варварства ради осуществления конституирующей революции должны были определить — в области исторического дискурса, в историко-политической области — тактические позиции различных групп, представителей различных интересов, различных центров борьбы — будь то дворянство или монархическая власть, будь то буржуазия или различные ее слои.

Я думаю, что над всей совокупностью исторических дискурсов XVIII века тяготела одна проблема: совсем не революция *или* варварство, а революция *и* варварство, роль варварства в революции. Не доказательство, а подтверждение важности этой проблемы я нахожу в тексте, переданном мне

однажды, когда я уходил с лекции. Это текст Робера Десно, который отлично показывает, каким образом вплоть до XX века эта проблема — я чуть не сказал: социализм *или* варварство[8] — революция *или* варварство оказывается ложной, а подлинной выступает проблема: революция *и* варварство. В качестве свидетельства этого я возьму текст Робера Десно, который, как я полагаю, появился в издании «Сюрреалистская революция», точно не знаю, так как отсылки отсутствуют. Вот этот текст. Можно подумать, что он был прямым порождением XVIII века: «Выходцы с мрачного Востока, цивилизованные народы проделали тот же путь на Запад, который проделали Атилла, Тамерлан и много других, имена которых неизвестны. Кто говорит о цивилизованных, говорит о прежних варварах, это побочные дети ночных авантюристов, те, кого развратили враги (римляне, греки). Изгнанные с берегов Тихого океана и со склонов Гималаев "эти великие войска", изменившие своей миссии, теперь оказываются с теми, кто не так давно отражал их нашествия. Сыновья калмыков, внуки гуннов, снимите ваши одежды, заимствованные из гардероба Афины и Феба, латы, найденные в Спарте и Риме, и явитесь нагими, какими были ваши отцы на своих маленьких лошадях. А вы, норманны, земледельцы, ловцы сардин, производители сидра, садитесь на утлые суденышки, которые оставляют длинный след за полярным кругом, прежде чем достигнут этих заболоченных мест и богатых дичью лесов. Свора, признай своего хозяина! Ты думал спастись от Востока, он гнал тебя вперед, наделив тебя правом разрушения, которое ты не смог сохранить, и вот ты вновь находишь его за спиной, когда кругосветное путешествие закончено. Я прошу тебя, не подражай собаке, ловящей свой хвост, ты постоянно будешь бежать за Западом, остановись. Расскажи нам немного о своей миссии, великая восточная армия, ставшая сегодня населением Запада[9].».

Если пытаться воссоздать различные исторические дискурсы и формы связанной с ними тактики, следует учесть, что Буленвилье одновременно ввел в историю могучего белокурого варвара, юридический и исторический факт нашествия и насильственного завоевания, присвоения земель и порабощения людей и, наконец, принцип чрезвычайно ограниченной королевской власти. Какие же из этих крупных и взаимосвязанных

феноменов, приведших к нашествию варварства в историческое знание, должны быть устранены? И что нужно сохранить, чтобы восстановить необходимое для королевства правильное соотношение сил? Я рассмотрю три большие модели теоретической фильтрации феномена варварства. Было много других в XVIII веке; я беру три, самые важные в политическом и также, конечно, эпистемологическом отношениях; каждая из них соответствует трем очень разным политическим позициям.

Первая, самая строгая, абсолютная фильтрация феномена варварства состоит в том, чтобы не пропустить в историю ничего от варвара: при такой позиции важно показать, что французская монархия не зависит от германского нашествия, которое ее якобы установило и было ее своеобразной основой. Важно также показать, что предки дворянства не были завоевателями, пришедшими с другого берега Рейна, и что поэтому привилегии дворянства — в силу которых оно располагается между сувереном и другими подданными — или были ему дарованы позже, или оно их захватило некими темными способами. В итоге, вместо того чтобы прикреплять привилегированное дворянство к основополагающей варварской орде, нужно уклониться от этого варварского ядра, заставить его исчезнуть и оставить в некотором роде дворянство в подвешенном состоянии — сделать из него одновременно по́зднее и искусственное творение. Понятно, что это монархический тезис, его можно найти у всех историков от Дюбо[10] до Моро.[11]

Этот тезис, представленный в виде фундаментального положения, означает примерно следующее: просто франки — говорит Дюбо, а затем это скажет Моро — по сути миф, иллюзия, сфабрикованное Буленвилье творение. Франков не существует: то есть, во-первых, нашествия совсем не было. Что фактически произошло? Нашествия были, но другие: нашествия бургундов, готов, им римляне не могли противостоять. И ввиду этих нашествий римляне обратились — в качестве союзников — к маленькому народу, имевшему некоторые военные заслуги, это и были франки. Но франки пришли совсем не как захватчики, не как варвары, стремящиеся к господству и грабежу, а как маленькое, союзное и полезное население. Так что они тотчас получили права гражданства; их не только сразу сделали галло-римскими гражданами, но им дали рычаги

политической власти (по этому поводу Дюбо напоминает, что Хлодвиг был, в конце концов, римским консулом). Итак, ни нашествия, ни завоевания, а миграция и союзничество. Не было нашествия, и нельзя также сказать, что у франкского народа были свои законы и обычаи. Прежде всего, просто потому, что они были очень малочисленны, говорит Дюбо, и не могли поэтому безжалостно обращаться с галлами, «как турок с мавром»,[12] и навязывать им свои собственные привычки и обычаи. Они даже не могли, затерявшись в галло-римской массе, сами сохранить свои обычаи. Итак, они буквально растворились. А впрочем, как могли они не раствориться в этом обществе и в галло-римском политическом аппарате, если у них отсутствовало настоящее знание об администрации и управлении? Дюбо даже считает, что свое военное искусство они заимствовали у римлян. Во всяком случае, говорит Дюбо, превосходные административные механизмы римской Галлии не были разрушены франками. Порядок торжествовал. Таким образом, франки просто были поглощены, и только их король остался наверху, на вершине галло-римского здания, в которое едва ли проникли несколько иммигрантов германского происхождения. Один король, значит, остался на вершине здания, король, унаследовавший в точности диктаторские права римских императоров. То есть совсем не было, как в это верил Буленвилье, аристократии варварского типа, а была просто абсолютная монархия. И только несколько веков спустя произошел раскол в обществе; он был аналогичен нашествию, но имел внутреннее для страны происхождение.

Здесь анализ Дюбо перемещается к концу эпохи Каролингов и к началу эпохи Капетингов, в правлении которых он отмечает ослабление центральной власти, абсолютной власти диктаторского типа, которой вначале пользовались Меровинги. Зато происходит присвоение все большей и большей власти чиновниками суверена: свои административные округа они превращают в фьефы, как если бы это была их личная собственность. И именно таким путем, из разложения центральной власти, рождается феодализм. Итак, феодализм оказывается поздним феноменом, его возникновение связано совсем не с нашествием извне, а с внутренним разложением центральной власти, приводящим к тем же последствиям, что и нашествие,

только разложение было совершено изнутри людьми, узурпирующими власть, хотя они были просто чиновниками, назначенными властью. «Расчленение суверенитета и превращение административных округов в сеньориальные владения, — я вам читаю текст Дюбо, — имели последствия, очень похожие на последствия иностранного нашествия, они поставили между королем и народом господствующую касту и сделали из Галлии настоящую завоеванную страну»[14]. Три элемента — нашествие, завоевание, господство — были характерны, согласно Буленвилье, для времени франков. Дюбо тоже их рассматривает, но в качестве внутренних явлений, обязанных своим появлением рождению аристократии или связанных с ним, при этом аристократия понимается как искусственное образование, не имеющее никакого отношения к франкскому нашествию и якобы связанное с ним господство варварства. В таком случае именно против узурпации власти чиновников, этого внутреннего нашествия, начинается борьба: монарх, с одной стороны, города, сохраняющие свободу римских муниципий, — с другой, начинают вместе борьбу против феодалов.

В рассуждениях Дюбо, Моро и всех историков-монархистов можно видеть, как постепенно происходит перевертывание дискурса Буленвилье, но с одним важным изменением: центр исторического анализа перемещается с факта нашествия и первых Меровингов к другому факту, каким было рождение феодализма в эпоху первых Капетингов. Можно также видеть — и это важно, — что нашествие знати подается не как следствие военной победы и вторжения варваров, а как результат внутренней узурпации. Факт завоевания постоянно подтверждается, но он не связан с варварами и не имеет тех правовых последствий, которые бы могла повлечь за собой военная победа. Знать — это не варвары, это — мошенники, политические мошенники. Вот первая позиция, первое тактическое использование — посредством перевертывания — дискурса Буленвилье.

Теперь о другой теоретической фильтрации темы варварства. В этом типе дискурса речь идет о том, чтобы лишить германскую свободу, то есть варварскую свободу, характера исключительной привилегии аристократии. Иначе говоря, речь идет о том — и поэтому данный тезис, данная тактика еще остаются близки к идеям Буленвилье, — чтобы по-прежнему

ценить в противовес римскому монархическому абсолютизму принесенные франками и варварами свободы. Грубые отряды, пришедшие с другого берега Рейна, вошли в Галлию и принесли с собой свои свободы. Но это были не воинственные германцы, составившие аристократическое ядро, которое затем упрочилось в галло-римском обществе. В Галлию хлынули воины, и это был собственно вооруженный народ. В политическом и социальном планах в Галлии утвердилась не аристократия, а, напротив, демократия в самой широкой форме. Этот тезис в то время можно найти у Мабли[15], у Бонневиля[16] и еще у Марата в «Цепях рабства». Итак, варварская демократия франков, которые не имели никакой аристократии и представляли собой эгалитарный народ солдат-граждан: «Гордый народ, жестокий, — говорит Мабли, — не имеющий ни родины, ни закона»,[17] каждый солдат-гражданин жил только добычей и не желал соблюдать никакие законы. У этого народа не было постоянной власти, никакой исторически обоснованной или созданной власти. По словам Мабли, именно грубая, варварская демократия установилась в Галлии. Из этого вытекали многие особенности нового режима: жадность и эгоизм франкских варваров, считавшиеся их достоинствами, когда они решили перейти Рейн и захватить Галлию, стали недостатками, когда они в ней поселились; франки занимались только грабежами и захватами. Они пренебрегали и своими властными функциями, не стремились присутствовать на мартовских или майских ассамблеях, которые ежегодно тщательно контролировали королевскую власть. Они позволили таким образом утвердиться власти короля, позволили стать над собой монархии, стремящейся к абсолютизму. А духовенство — конечно, это скорее невежество, чем хитрость, — с точки зрения Мабли, — интерпретирует германские обычаи в терминах римского права: германцы считали себя подданными монархии, тогда как они фактически были республиканцами.

Что касается должностных лиц суверена, они все больше и больше завладевали властью, и складывающаяся ситуация вела к отказу от всеобщей демократии, принесенной варварскими франками, и к установлению монархической и аристократической системы. Это был медленный процесс, пробудивший между тем и некоторую противоположную себе реакцию.

Она наступила, когда Карл Великий, правильно ощущая, что над ним все более доминирует и ему угрожает аристократия, снова начал опираться на народ, которым прежние короли пренебрегали. Карл Великий восстанавливает Марсово поле и майские ассамблеи; он позволяет всем, даже не воинам, приходить на ассамблеи. На короткий период происходит возврат к германской демократии, а затем, после этой застопорки, начинается медленный процесс, ведущий к исчезновению демократии, появлению и упрочению двух близких политических фигур. С одной стороны, монарх [Гуго Капет]. А как устанавливается монархия? Она устанавливается в той мере, в какой аристократы, видя угрозу со стороны варварской франкской демократии, соглашаются избрать короля, который все более и более будет стремиться к абсолютизму; но, с другой стороны, в качестве компенсации за осуществленное благородными коронование Гуго Капета Капетинги поторопятся дать благородным в качестве фьефов административные округа и должности. Именно как следствие, как результат сговора между благородными, сотворившими короля, и королем, создавшим феодализм, и появились над варварской демократией родственные фигуры монархии и аристократии. Таким образом, на фоне германской демократии происходит этот двойственный процесс. Конечно, аристократия и абсолютная монархия однажды рассорятся, но не нужно забывать, что они по сути сестры-близнецы.

Третий тип дискурса, анализа и в то же время тактики, в основе является самым тонким и ему будет суждена великая историческая судьба, хотя в эпоху своего появления он наделал, конечно, гораздо меньше шума, чем рассуждения Дюбо или Мабли. В этом дискурсе выявляются, по существу, две формы варварства: плохое варварство германцев, от которого нужно освободиться, и хорошее варварство галлов, единственных подлинных носителей свободы. Благодаря этому проделываются две важные операции: с одной стороны, свобода отделяется от германского духа, тогда как у Буленвилье они были связаны вместе; а с другой стороны, намечается отделение римского духа от абсолютизма. То есть в римской Галлии обнаруживаются те элементы свободы, относительно которых все предыдущие теории были более или менее согласны, приписывая

их франкам. В целом если трактовка Мабли достигалась благодаря трансформации идеи Буленвилье о демократическом звучании германских свобод, то новая идея, которую развивали Брекиньи,[18] Шапсаль[19] и другие, была сформулирована путем интенсификации и смещения того, что несколько косвенно выразил Дюбо, когда сказал, что против феодализма поднялись сразу король и города, поскольку последние сопротивлялись феодальной узурпации.

Тезис Брекиньи и Шапсаля будет, в силу его важности, воспринят буржуазными историками XIX века (Огюстеном Тьерри, Гизо), он включал утверждение, что в своей основе политическая система римлян была двухэтажной. Конечно, на уровне центрального правительства, большой римской администрации существовала, по крайней мере во времена империи, абсолютная власть. Но римляне оставили галлам их собственные изначальные свободы. Так что римская Галлия была в определенном смысле частью этой огромной абсолютистской империи, но она также была усеяна, пронизана многочисленными очагами свободы, которые в своей основе были старыми галльскими или кельтскими свободами, римляне их не тронули, и они продолжали действовать в городах, в знаменитых муниципиях Римской империи, где в форме, впрочем, заимствованной у старого римского города, продолжали действовать архаические свободы предков галлов и кельтов. Свобода (я думаю, это впервые проявилось в таких исторических анализах) оказывается феноменом, совместимым с римским абсолютизмом; это феномен галльский, но особенно городской. Свобода принадлежит городам. И именно в той мере, в какой она принадлежит городам, она может вдохновлять на борьбу и стать политической и исторической силой. Конечно, римские города были разрушены в результате нашествия франков и германцев. Кроме того, последние будучи кочевниками, то есть варварами, избегали городов и селились на свободных сельских территориях. Города же, которыми пренебрегли франки, восстанавливались и заново обогащались. С момента утверждения феодализма, в конце царствования Каролингов, крупные сеньоры, мирские и церковные, пытаются прибрать к рукам восстановленное богатство городов. Но города, приобретшие в ходе истории силу, благодаря своим богатствам, свободам,

созданным ими коммунам смогут бороться, сопротивляться, восставать. Большие мятежные движения коммун заметно усилятся со времени первых Капетингов и заставят в конечном счете как королевскую власть, так и аристократию уважать свои права и в какой-то степени свои законы, тип хозяйствования, образ жизни, нравы и т. д. Это происходит в XV и XVI веках.

Таким образом, на этот раз мы встречаемся с тезисом, который гораздо более, чем предыдущие, даже более, чем тезис Мабли, может стать идеей третьего сословия, так как в первый раз история города, городских институтов, а также история богатства и его политических последствий оказывается включенной в исторический анализ. В этом анализе выявлена или, по крайней мере, очерчена история третьего сословия, которое формируется не просто в силу уступок короля, но благодаря собственной энергии, богатству, торговле, благодаря хорошо разработанному городскому праву, заимствованному отчасти из римского права, но сочетающегося также с прежней свободой, то есть со старым галльским варварством. С этого момента и в первый раз римский дух, который всегда в исторической и политической мысли XVIII века был окрашен в цвет абсолютизма и всегда связывался с королевской властью, получает окраску либерализма. И далеко не будучи театральной формой, с помощью которой королевская власть размышляла о своей истории, римская цивилизация, благодаря только что упомянутым анализам, становится целью самой буржуазии. Буржуазия сможет использовать римское наследие в форме галло-римских муниципий как своего рода знак собственного благородства. Галло-римский муниципалитет — это благородство третьего сословия. И именно муниципалитета как формы автономии, муниципальной свободы будет требовать третье сословие. Все это, понятно, проявится в дебатах XVIII века, относящихся как раз к проблемам свободы и муниципальной автономии. Я рекомендую, например, текст Тюрго, датированный 1776 г.[20] Заодно вы увидите, что накануне революции римская направленность мышления и действия сможет освободиться от всех, присущих ей на протяжении XVIII века, монархистских и абсолютистских коннотаций. Она сможет тогда появиться в либеральном облачении, к ней, следовательно, смогут обращаться и те, кто не принадлежит ни к монархистам, ни к абсолютистам.

Даже буржуа смогут обращаться к римскому наследию. И вы знаете, что революция не откажет себе в этом.

Другое значение дискурса Брекиньи, Шапсаля и других в том, что он ведет к большому расширению исторической области. Английские историки XVII века, а также Буленвилье исходили из маленького ядра, из факта нашествия, из нескольких десятилетий или, самое большее, из века, в ходе которого варварские орды затопили Галлию. Но мало-помалу происходило расширение во всем. Можно было прочитать, например, у Мабли о значении такого персонажа, как Карл Великий; а у Дюбо исторический анализ углубился вплоть до первых Капетингов и феодализма. И вот теперь у Брекиньи, Шапсаля и у других центр, область исторически полезного и политически плодотворного знания растягивается, с одной стороны, к истокам, так как восходит до муниципальной организации римлян и в конечном счете до старых галльских и кельтских свобод; это огромный шаг назад в историю. С другой стороны, рассматриваются события новейшей истории, анализируются все формы борьбы, все восстания коммун, которые с начала феодализма способствуют выдвижению, во всяком случае частичному, буржуазии как экономической и политической силы в XV и XVI веках. Теперь полуторатысячелетняя история становится областью исторического и политического исследования. Юридический и исторический факт нашествия полностью растворился, теперь приходится иметь дело с огромной областью борьбы, которая охватывает 1500 лет истории и имеет столь разнообразных действующих лиц, как короли, дворянство, духовенство, солдаты, королевские чиновники, третье сословие, буржуазия, крестьяне, жители городов и т. д. Эта история опирается на такие институты, как римские свободы, муниципальные свободы, церковь, воспитание, торговля, язык и т. д. Как взрыв, происходит расширение области истории; и именно в этой области будут работать историки XIX века.

Можно спросить: зачем все эти детали, описание различных тактик внутри исторической области? Конечно, я мог бы просто перейти непосредственно к Огюстену Тьерри, к Монтлозье и всем тем, кто, используя инструментарий знания, пытался осмыслить революционный феномен. Я задержался на этом в силу двух причин. Прежде всего, по причине метода.

Как вы видите, начиная с Буленвилье, формируется исторический и политический дискурс, область объектов которого, надлежащие элементы, понятия, методы анализа очень близки друг другу. В XVIII веке сформировался тип исторического дискурса, общий всем историкам, тем не менее очень разным в том, что касается их тезисов, гипотез, политических целей. Можно совершенно без всякого разрыва проследить всю систему основных положений, служащих основанием для любого типа анализа; проследить все трансформации, с помощью которых можно переходить от истории, восхваляющей франков (Мабли, Дюбо), к истории, отвергающей франкскую демократию. Можно очень легко переходить от одной из этих историй к другой, отмечая несколько очень простых трансформаций в основных положениях. Существует, таким образом, очень сжатая эпистемическая схема всех исторических дискурсов, каковы бы не были в конечном счете их исторические тезисы и политические цели. Однако сжатость эпистемической схемы никоим образом не означает, что весь мир думает одинаково. Напротив, это условие для того, чтобы не мыслить одинаково, чтобы мыслить различно и чтобы это различие было политически приемлемо. Для того чтобы различные субъекты говорили, могли занимать тактически противоположные позиции, чтобы они могли находиться относительно друг друга в положении противников, чтобы, следовательно, оппозиция была оппозицией сразу и в области знания, и в области политики, как раз нужно, чтобы существовала эта сжатая область, эта сжатая схема, регулирующая историческое знание. Чем более правильно оформлено знание, тем более открывается для субъектов, использующих знание, возможность разделиться в соответствии со строгими линиями противостояния, и тем более возможно заставить эти противостоящие друг другу дискурсы функционировать в качестве различных тактических систем в рамках глобальных стратегий (где речь идет не просто о дискурсе и истине, но также о власти, статусах, экономических интересах). Иначе говоря, тактическая обратимость дискурса является прямой функцией гомогенности правил его образования. Отрегулированность эпистемической области, гомогенность в способе образования дискурса может сделать его полезным в борьбе, имеющей внедискурсивный характер.

Таким образом, именно в целях обоснования метода я настаивал на разделении различных дискурсивных тактик внутри связной, упорядоченной и очень сжатой историко-политической области.[21] Я на этом настаивал также в силу другой причины — фактической, касающейся событий самого периода революции. Речь идет о следующем: если отодвинуть в сторону последнюю форму дискурса, о котором я только что говорил (дискурса Брекиньи, Шапсаля и других), то можно видеть, что в основном меньше всего интереса к тому, чтобы вписать свои политические проекты в историю, понятно, имели лица, принадлежащие к буржуазии или к третьему сословию, потому что идея вернуться к конституции, потребовать возврата к некоему равновесию сил предполагала наличие уверенности, что внутри этого соотношения сил есть место для тебя самого. Однако очевидно, что третье сословие, буржуазия вовсе не могли, во всяком случае до середины средних веков, рассматривать себя в качестве исторического субъекта во взаимодействии разных сил. Пока исследовали Меровингов, Каролингов, нашествие франков или даже еще эпоху Карла Великого, то как можно было в этой истории обнаружить нечто, относящееся к третьему сословию или к буржуазии? Этим объясняется, что буржуазия в противоположность тому, что обычно говорят, была на деле самой невосприимчивой к истории, даже самой сопротивляющейся ей силой. Именно аристократия была в высшей степени историчной. Монархия была таковой, парламентарии также. Но буржуазия долго оставалась антиисторицистской, если хотите, антиисторичной.

Антиисторичный характер буржуазии проявлялся двояким образом. Во-первых, в первой половине XVIII века буржуазия скорее склонялась к просвещенному деспотизму, то есть к некоторой форме ограничения монархической власти, которое основывалось, однако, не на истории, а диктовалось знанием, философией, техникой, управлением. А затем, во второй половине XVIII века, особенно накануне революции, она пыталась ускользнуть от общего историцизма, требуя конституции, которая не была бы поистине реконституцией, а была бы, по существу, если не антиисторичной, то, по крайней мере, аисторичной. Отсюда, как вы понимаете, обращение к естественному праву, к идее социального договора. Руссоизм буржуазии кон-

ца XVIII века до революции и в ее начале в точности был ответом на историцизм других политических субъектов, которые сражались друг с другом в области теории и анализа власти. Быть руссоистом, обращаться к дикарю, к общественному договору — значило уйти от той картины истории, в которой преобладал варвар, его история и его отношения с цивилизацией.

Конечно, буржуазный антиисторицизм не оставался неизменным; он не помешал всей перестройке истории. В период созыва Генеральных Штатов можно видеть, что «Наказы третьего сословия» полны исторических референций, но главные из них, понятно, принадлежали дворянству. И просто, чтобы ответить на множество этих референций, проведенных в связи с королевскими указами, с эдиктом, принятым в Пистс,[22] с практикой Меровингов или Каролингов, буржуазия в свою очередь восстановила всю совокупность исторических знаний именно с целью дать полемическую реплику на исторические референции, содержавшиеся в «Наказах дворянства». И затем можно видеть второй вид восстановления истории, наверное, более важный и более интересный. А именно, в ходе самой революции происходило восстановление некоторого числа исторических моментов или форм, которые выполняли роль своеобразной летописи истории, ее возвращения, выражающегося в языке, в институтах, в знаках, манифестациях, праздниках и т. д., что позволяло создать зримый образ революции, понятой как круговорот и возврат.

Итак, можно видеть две большие формы восстановления истории в процессе революции, несмотря на тот юридический руссоизм, который долго определял ее главное направление. С одной стороны, это восстановление Рима или скорее римского города, то есть восстановление как архаического, республиканского и добродетельного Рима, так и галло-римского города с его свободами и богатством: отсюда римский праздник как политическая ритуализация исторической формы, которая довольно основательно была восстановлена в ходе учреждения свобод. С другой стороны, это был образ Карла Великого, я говорил уже о роли, которую ему придавал Мабли, видя в нем фигуру, осуществившую соединение франкских и галло-римских свобод: Карл Великий был человеком, который созвал народ на Марсово поле; Карл Великий — суверен и воин,

но в то же время покровитель торговли и городов; Карл Великий — германский король и римский император. Это была мечта сторонников Каролингов, которая развивалась с начала революции, пронизывала ее, хотя о ней говорили намного меньше, чем о римском празднике. Марсово поле, праздник 14 июля 1790 г. — это праздник Каролингов; он проводится именно на Марсовом поле, предполагает определенную связь с народом, созванным своим сувереном, связь каролингского типа, которую до некоторой степени праздник позволял восстановить и оживить. Во всяком случае, этот скрытый исторический смысл обнаружился на июльском празднике 1790 г. Впрочем, лучшим доказательством может служить то, что в клубе якобинцев в июне 1790 г., за несколько недель до праздника, кто-то потребовал, чтобы в ходе этого праздника Людовик XVI вместо титула короля получил титул императора и чтобы при его появлении кричали не «Да здравствует король!», а «Людовик — император!», ибо император «imperat sed non regit» приказывает, но не управляет, он — император, а не король. Согласно этому проекту[23] Людовик XVI должен был вернуться с Марсова поля с императорской короной на голове. И понятно, почему в результате слияния этой малоизвестной каролингской мечты с римской мечтой возникает наполеоновская империя.

Другая форма обращения истории в ходе революции связана с проклятием, направленным против феодализма, против того, что благородный союзник буржуазии Антрег назвал «самым ужасающим бичом, которым небо в гневе могло поразить свободную нацию».[24] Проклятие феодализма принимало разные формы. Прежде всего, можно говорить о простом перевертывании тезиса Буленвилье о нашествии. Об этом говорят некоторые тексты, в частности аббата Пруайяра: «Господа франки, нас тысяча против одного: мы так долго были вашими вассалами, станьте нашими, нам хочется вернуться на землю наших отцов».[25] Вот что, по мнению аббата Пруайяра, третье сословие должно сказать дворянам. И Сийес в своем знаменитом тексте, к которому я скоро вернусь, говорил: «Почему бы в самом деле не препроводить обратно во Франконские леса все те семьи, которые сохраняют безумные притязания на права первоначальных завоевателей Франции?».[26] А в 1795 или 1796 г., я не припомню точно, Буле де ля Мерт говорил по

поводу усиливающейся эмиграции: «Эмигранты представляют наследников завоевания, от которого мало-помалу освобождается французская нация».[27]

Таким образом, здесь формируется нечто очень важное для начала XIX века, то есть осуществляется новая интерпретация французской революции с присущими ей социальными и политическими битвами в духе истории рас. И именно в связи с проклятием феодализма, вероятно, получает двойственную оценку готика, как она проявлялась в знаменитых романах эпохи революции о средневековье: эти готические романы были романами ужаса, страха и мистерии, но они были также политическими романами, ибо всегда содержали рассказы о злоупотреблениях власти, бесчинствах; рассказы о несправедливых суверенах, безжалостных и кровожадных сеньорах, наглых священниках и т. д. Готический роман — это фантастический научно-политический роман: политический, поскольку эти романы были, по существу, сосредоточены на злоупотреблениях власти, и научный, поскольку они стремились восстановить на уровне воображения все знание о феодализме, о готике, которое имело, по сути, вековой возраст. Но не литературе и не воображению обязаны своим появлением или, скорее, своим абсолютным обновлением в конце XVIII века темы готики и феодализма. Эти темы фактически присутствовали в области воображения в той самой мере, в какой готика и феодализм были смыслом вековой борьбы, происходившей на уровне знания и форм власти. Задолго до первого готического романа, почти веком ранее шла борьба по вопросам исторического и политического значения сеньоров, их фьефов, их власти, их форм господства. Весь XVIII век, если взять уровни права, истории и политики, был пронизан проблемой феодализма. А в период революции — значит, век спустя после огромной работы в области знания и политики — в конечном счете была только возрождена на уровне воображения эта проблема в фантастических научно-политических романах. И здесь мы сталкиваемся поэтому с готическим романом; но все это нужно вновь поместить в историю знания и соответствующих ему политических тактик. Поэтому в ближайшее время я расскажу вам об истории с точки зрения революции.

Примечания

[1]Речь здесь идет, по-видимому, о новых подходе и «генеалогической» трактовке областей знания и форм дискурсивности, «археологический» анализ которых М. Фуко развивал в «Словах и вещах» (*Фуко М.* Слова и вещи: археология гуманитарных наук. СПб., 1994).

[2]У медицинской доктрины «конституции» длинная история, но М. Фуко, по всей видимости, имеет здесь в виду анатомо-патологическую историю, сформулированную в XVIII веке при опоре на работы Сиденама, ле Брюна, Борде и развитую в первой половине XIX века Биша и Парижской школой (см.: «Рождение клиники», цит. соч.).

[3] В «Essai sur la noblesse de France contenant une dissertation sur son origine et abaissement» («Очерк о дворянстве Франции, содержащем рассуждение о его происхождении и упадке») (работа написана к 1700 г. и появилась в 1730 г. в «Continuation des mémoires de littérature...», t. IX, op. cit.), Буленвилье пишет по поводу «заката», «упадка» старого Рима, что это «общая судьба всех существующих продолжительное время государств», и добавляет: «...мир — это постоянная смена одного другим; почему дворянство и его преимущества оказались бы исключением из общего правила?». Тем не менее по поводу этой смены он думает, что «из всех наших детей один пробьется сквозь эту тьму, в которой мы живем, чтобы придать нашему имени его прежний блеск» (p. 85). Что касается идеи круговорота, ее, скорее, можно найти в ту же эпоху в «Scienza nuova» (Naples, 1725) Ж. Б. Вико. В «Мировой астрологии» (1711 г.) Буленвилье, изданной Рене Симоном в 1949 г., сформулирована, можно сказать, «предгегелевская» идея о «перемещении монархий из одной страны в другую и от одной нации к другой». Для Буленвилье речь идет о «порядке», который «не имеет ничего неподвижного, так как нет вовсе постоянно стабильных обществ и так как самые обширные и самые грозные империи предрасположены к саморазрушению при употреблении средств, подобных тем, которые их создали; другие общества часто рождаются в их недрах, используют так же силу и убеждение, одерживают победу над прежними и в свою очередь их порабощают» (p. 141—142).

[4] «Народ гордый, жестокий, без родины, без закона [...] Франки могли терпеть даже свирепое насилие со стороны своих вождей, потому что насилие соответствовало общественным нравам» (*Mably G.-B.*, de. Observations sur l'histoire de France. Paris, 1823, chap. I, p. 6; 1-е издание: Genève, 1765).

[5] *Bonneville N.*, de. Histoire de l'Europe moderne depuis l'irruption des peuples du Nord dans l'Empire romain jusqu' à la paix de 1783.

Genève, 1789, vol. I, 1re partie, chap.1, p. 20. Цитата заканчивается таким образом: «меч был их правом, и они использовали его без угрызений совести как естественное право».

[6] «Бедные, грубые, не знающие торговых связей, без искусств, без ремесел, но свободные» (*Марат Ж.-П.* Избранные произведения. М., 1956. Т. 1. С. 94).

[7] Ср.: *du Buat-Nançay L.G.*, comte. Éléments de la politique..., op. cit., vol. I, liv. I, chap. I—X: «De l'égalité des hommes». Контекст этой цитаты (если он один), которую мы не смогли найти, можно было бы найти в указанной главе.

[8] М. Фуко намекает здесь на интеллектуальную группу, которая с 1948 г. объединяется вокруг Корнелиуса Касториадиса и с 1949 г. начинает издавать журнал «Социализм или варварство». Издание прекратилось в 1965 г., когда вышел сороковой номер. По инициативе Касториадиса и Клода Лефора диссиденты из троцкистов, активисты, интеллектуалы (среди них Эдгар Морен, Жан-Франсуа Лиотар, Жан Лапланш, Жерар Женет и др.) развивали там такие, например, темы, как критика советского режима, вопрос о прямой демократии, критика реформизма и т. д.

[9] *Desnos R.* Description d'une révolte prochaine, La Révolution surréaliste, N 3, 15 avril 1925, p. 25. Rééd.: La Révolution surréaliste (1924—1929). Paris, 1975.

[10] Ср.: *Dubos J.-B.* Histoire critique de l'établissement de la monarchie française dans les Gaules. Paris, 1734.

[11] Ср.: *Moreau J.-N.* Leçons de morale, de politique et de droit public, puisées dans l'histoire de la monarchie. Versailles, 1773; Exposé historique des administrations populaires aux plus anciennes époques de notre monarchie. Paris, 1789; Exposition et Défense de notre constitution monarchique française, précédées de l'Histoire de toutes nos assemblées nationales. Paris, 1789.

[12] Старое выражение, которое означает «обращаться с кем-либо, как турки обращаются с маврами». Дюбо пишет: «Обитатели Галлии, которые никогда не были глупцами или трусами, поэтому читатель может оценить их природный юмор, не требуя других доказательств: можно хорошо видеть невозможность того, чтобы горсточка франков обращалась с миллионом римских галлов так, как турок обращается с мавром.» (Histoire critique..., vol. IV, liv. VI, p. 212—213).

[13] О критике Буленвилье у Дюбо см.: ibid, chap. 8 и 9.

[14] Единственно последняя фраза кажется цитатой: сказав об узурпации со стороны королевских должностных лиц и о превращении должностей герцогов и графов в наследственные звания, Дюбо пишет:

«Именно теперь Галлия становится завоеванной страной» (ibid, 1742, liv. IV, p. 290).

[15] *Mably G.-B.*, de. Observations sur l'histoire de France, op. cit.

[16] *Bonneville N.*, de. Histoire de l'Europe moderne depuis l'irruption des peuples du Nord..., op. cit.

[17] *Mably G.-B.*, de. Observations..., op. cit., p. 6.

[18] *Bréquigny L.G.O.F.*, de. Diplomata, chartae, epistolae et alia monumenta ad res franciscas spectantia. Parisiis, 1779—1783; Ordonnances des rois de France de la troisième race. Paris, 1769. T. XI; 1776. T. XII.

[19] *Chapsal J.-F.* Discours sur la féodalité et l'allodialité, suivi de Dissertations sur le franc-alleu des coutumes d'Auvergne, du Bourbonnais, du Nivernois, de Champagne. Paris, 1791.

[20] *Turgot R.-J.* Mémoire sur les Municipalités. Paris, 1776.

[21] Этот отрывок — многозначительная деталь к досье о дебатах и спорах, возбужденных понятием *эпистемы*, разработанным Фуко в «Словах и вещах» и снова подвергшемся рассмотрению в «Археологии знания», гл. IV, § VI.

[22] На церковном соборе, состоявшемся в Писте (или Питре) в 864 г., решения которого известны как Пистский эдикт, под влиянием архиепископа Хинкмара было решено заняться организацией монетарной системы, предписано разрушить замки, выстроенные сеньорами, и нескольким городам было дано право чеканить монету. Собрание также рассмотрело дело Пепина II, короля Аквитании, и объявило о лишении его всех званий.

[23] Речь идет о предложении, выдвинутом на заседании 17 июня 1790 г. (ср.: *Aulard F.-A.* La Société des jacobins. Paris, 1889—1897. T. 1. P. 153).

[24] *d'Antraigues E.L.H.L.*, comte. Mémoire sur la constitution des États provinciaux. Imprimé en Vivarois, 1788. P. 61.

[25] *Proyart L.-B.* Vie du Dauphin pere de Louis XV. Paris; Lyon, 1782. Vol. I. P. 357—358. Цит. по : *Devyver A.* Le Sang épuré..., op. cit., p. 370.

[26] *Sieyès E.-J.* Qu'est-ce que le Tiers-État? Éd. citée, chap. II, p. 10—11. В тексте фраза начинается так: «Почему не увидит снова [Третье сословие] ...» (русское издание: *Аббат Сийес.* Что такое третье сословие? СПб., б/г., с. 11).

[27] Ср.: *A.-J.Boulay de la Meurthe.* Rapport présénte le 25 Vendémiaire an VI au Conseil des Cinq-Cents sur les mesures d'ostracisme, d'exil, d'expulsion les plus convenables aux principes de justice et de liberté, et les plus propres à consolider la république. Цит. по: *Devyver A.* Le Sang épuré..., op. cit., p. 415.

Лекция от 10 марта 1976 г.

Политическая переработка идеи нации в период революции: Сийес. — Теоретические последствия и воздействие на исторический дискурс. — Два подхода к пониманию новой истории: господство и тотализация. — Монтлозье и Огюстен Тьерри. — Рождение диалектики.

По моему мнению, в XVIII веке именно исторический дискурс был тем главным и почти единственным, которым сделал из войны основной и преобладающий принцип анализа политических отношений; значит, дискурс истории, а не дискурс права, и не дискурс политической теории (с ее договорами, дикарями, людьми степей или лесов, с ее естественным состоянием, борьбой всех против всех и т. д.). В таком случае, теперь я хотел бы показать, как, несколько парадоксально, начиная с эпохи революции война как понятие принципа, определяющее значение для исторического понимания в XVIII веке, оказывается если не исключенным из исторического дискурса, то, по крайней мере, уменьшенным, ограниченным в своей роли, захваченным и внедренным в другие темы, разделенным, если хотите цивилизованным и до некоторой степени усмиренным. В конечном счете история (неважно, изложена ли она Буленвилье или дю Бюа-Нансэ) выявила большую опасность: опасность в виде бесконечной войны; опасность, в силу которой все наши отношения, какими бы они не были, всегда включены в систему господства. И именно этой двойной опасности — бесконечной войны как основы истории и отношений господства как главного элемента политики — суждено в историческом дискурсе XIX века снизиться,

разделиться на более мелкие опасности в той или иной области, на временные эпизоды, преобразоваться в кризисы и в насильственные меры. Но еще более существенно, я думаю, то, что на смену этой опасности должно будет прийти некоторое успокоение, но оно не может быть истолковано в смысле хорошего и правильного равновесия, какого искали историки XVIII века, а только в смысле примирения.

Я не думаю, что это изменение значимости проблемы войны в историческом дискурсе было результатом трансплантации ее в область диалектической философии или контроля над ней со стороны последней. Я думаю, что существовала как бы внутренняя диалектизация, самодиалектизация исторического дискурса, которая, понятно, соответствует его обуржуазиванию. Теперь проблема состояла бы в том, чтобы понять, как, отталкиваясь от этого изменения (если не исчезновения) роли войны в историческом дискурсе, война, подавленная таким образом внутри исторического дискурса, появится вновь, но роль ее теперь будет негативной и в некотором роде внешней: это не роль созидания истории, а защиты и сохранения общества; война не будет больше условием существования общества и политических отношений, а будет условием его выживания в системе политических отношений. В этот момент появится идея внутренней войны как защиты общества от опасностей, возникающих в его собственном организме и от него же исходящих; это, если хотите, большое преобразование исторического в биологическое, исторически образующего фактора в медицинский феномен при толковании социальной войны.

Итак, сегодня я попытаюсь описать это движение самодиалектизации и, следовательно, обуржуазивания истории, исторического дискурса. В последний раз я хотел показать, как и почему в выработанной в XVIII веке историко-политической области именно буржуазия, позиция которой была в конечном счете очень сложной, испытывала самые большие затруднения в использовании исторического дискурса в качестве оружия в политической борьбе. Теперь я хотел бы вам показать, как произошла разблокировка, причем, вовсе не в тот момент, когда буржуазия обратила внимание на историю или признала ее, а когда она начала очень своеобразный политический, а не исторический, пересмотр знаменитого понятия «нации»,

из которого аристократия в XVIII веке сделала субъект и объект истории. В результате этого пересмотра идеи нации осуществилась трансформация, сделавшая возможным новый тип исторического дискурса. Я рассмотрю, если не совсем в качестве отправного пункта, то по крайней мере в качестве примера указанной трансформации, конечно, текст Сийеса о третьем сословии, текст, который, как вы знаете, ставит три вопроса: «Что такое третье сословие? Все. Чем оно было до сих пор в политической системе? Ничем. Чем оно хочет быть? Чем-нибудь».[1] Текст известный и затасканный, но я думаю, что при немного более внимательном прочтении он позволяет сделать несколько существенных уточнений.

Относительно нации вы знаете (я возвращаюсь к уже сказанному, чтобы резюмировать его), что, если говорить схематично, в условиях абсолютной монархии существование нации отрицалось, а если, в крайнем случае, оно признавалось, то только в той мере, в какой нация имела в личности короля условие своей возможности и субстанциального единства. Нация есть не потому, что есть группа, толпа, множество индивидов, живущих на одной земле, имеющих один язык, одни и те же обычаи и законы. Не это образует нацию. Ее образует то, что существующие индивиды, которые, находясь рядом друг с другом, являются просто индивидами, не образуют даже совокупности, тем не менее все и каждый в отдельности имеют определенное, одновременно юридическое и физическое, отношение к реальной, живой, телесной личности короля. Именно тело короля в его физическо-юридической связи с каждым из его подданных образует материальность нации. Юрист конца XVII века говорил: «...каждое частное лицо представляет только одного индивида по отношению к королю».* Сама нация не образует единого организма. Она вся целиком заключается в личности короля. И именно из этой нации — своего рода простого юридического проявления физической единицы короля, имеющей свою реальность только в единственной и индивидуальной реальности короля, — аристократическая реакция

---

* В рукописи перед словами «каждое частное лицо» значится: «Король представляет нацию в целом и». Это место дано как цитата из: *Lemontey P.E.* Œeuvres. Paris, 1829. T. V. P. 15.

извлекла множество «наций» (самое меньшее две) и установила между нациями отношения войны и господства; она превратила короля в инструмент войны и господства одной нации над другой. Теперь не король конституирует нацию; нация создает себе короля, для того чтобы бороться с другими нациями. В истории, написанной представителями аристократической реакции, эти отношения стали основой исторического подхода.

Сийес дал совсем другое определение нации или, скорее, двойное ее определение. С одной стороны, он выдвинул юридическое положение. Сийес говорит, что для существования нации нужны две вещи: общий закон и легислатура.[2] Вот юридическое положение. Это первое определение нации (или, скорее, первая совокупность условий, необходимых для существования нации) требует, таким образом, гораздо меньшего, чтобы начать разговор о нации, чем требовало определение, свойственное абсолютной монархии. То есть для существования нации нет необходимости в короле. Не нужно даже, чтобы существовало управление. Нация существует до образования какого-либо правления, до рождения суверена, до делегирования власти, лишь бы только она дала себе общий закон с помощью инстанции, которую она сама определила для выработки законов, а это и есть легислатура. Значит, нация суть гораздо меньше того, чего требовало представление о ней, свойственное абсолютной монархии. Но, с другой стороны, она гораздо больше того, чем этого требовало определение нации, данное представителями благородной реакции. Для этой последней, для истории, какой ее представил Буленвилье, достаточным условием существования нации считалось наличие групп людей с общими интересами и с общими обычаями, привычками, в известной степени, общим языком.

По Сийесу, для существования нации нужно, чтобы были ясные законы и формулирующие их инстанции. Пара закон—легислатура составляет формальное условие для существования нации. Но это только первый уровень определения. Для того, чтобы нация существовала, чтобы ее закон применялся, чтобы ее легислатура была признана (и не только извне, другими нациями, но и внутри нее самой), чтобы она была и процветала, нужно не формальное условие ее юридического

существования, а реальное условие ее бытия *в* истории, нужно нечто другое, другие условия. И именно на этих условиях Сийес останавливается. Это в какой-то степени субстанциальные условия нации, Сийес выделяет две их группы. Прежде всего, ту, которую он определяет как «работы», то есть прежде всего агрокультура, во-вторых, ремесло и промышленность, в-третьих, торговля, в-четвертых, свободные профессии. Но более этих «работ» нужно то, что он называет «функциями»: это армия, юстиция, церковь и администрация.[3] «Работы» и «функции»; мы бы сказали, вероятно, «функции» и «механизмы», чтобы обозначить две совокупности обязательных исторических составляющих феномен нации. Но важно, чтобы именно на уровне функций и механизмов были определены условия исторического существования нации. И поступая таким образом, добавляя к юридическо-формальным условиям нации историко-функциональные, Сийес, я думаю, перевернул (это первое, что можно подчеркнуть) направленность всех делавшихся до того анализов нации, основывались ли они на монархистском или на руссоистском тезисе.

Поставим вопрос: пока преобладало юридическое определение нации, как интерпретировались те элементы, которые Сийес выделяет в качестве субстанциальных условий нации — агрокультура, торговля, промышленность и т. д.? Они не считались условием существования нации; напротив, они рассматривались как следствие ее существования. Именно когда люди, жившие до того изолированно на определенной территории, на границе лесов или в лугах, захотели заняться земледелием, торговать, установить между собой отношения экономического типа, они создали закон, государство или правление. То есть функции были в действительности только следствиями или, во всяком случае, принадлежали к области конечных результатов юридического устройства нации; они могли развиться только тогда, когда юридическая организация нации оформилась. Что касается механизмов — таких как армия, юстиция, администрация и т. д., — они тоже не были условием для существования нации; они были если не следствиями, то, по крайней мере, инструментами и гарантами ее существования. Только когда нация образовывалась, можно было создавать институты вроде армии и юстиции.

Итак, можно заметить, что Сийес переворачивает анализ. Он относит «работы» и «функции», или «функции» и «механизмы», к феноменам, существующим до нации — если не исторически, то, по крайней мере, в системе условий существования. Нация может существовать как таковая, она может войти в историю и существовать в ней, только если она способна к торговле, агрокультуре, ремеслам; только если она имеет индивидов, способных создать армию, суд, церковь, администрацию. Это значит, что группа индивидов всегда может объединиться, всегда может установить для себя законы и легислатуру; она может выработать конституцию. Но если нет способности торговать, создавать ремесла, агрокультуру, формировать армию, суд и т. д., то исторически нация никогда не возникнет. Она, может быть, будет существовать юридически, но не исторически. Реальными факторами создания нации никогда не являются ни договор, ни закон, ни консенсус. Но верно и обратное, вполне может случиться, что у группы индивидов есть на что жить, имеется историческая способность осуществлять свои работы, выполнять функции, но, однако, она никогда не сможет обрести общий закон и легислатуру. Такие люди в некотором роде будут обладать субстанциальными и функциональными элементами нации; но не будут обладать ее формальными элементами. Они будут способны к созданию нации; но они не будут нацией.

Исходя из этого можно проанализировать — как это и делает Сийес, — что происходило, с его точки зрения, во Франции в конце XVIII века. Существовали фактически сельское хозяйство, торговля, ремесла, свободные искусства. Кто выполнял эти различные функции? Третье сословие, и только оно. Кто выполнял функции в армии, церкви, администрации, юстиции? Конечно, некоторые важные посты занимали люди, принадлежавшие к аристократии, но девять из десяти мест в этих аппаратах занимали, по Сийесу, выходцы из третьего сословия. Однако третье сословие, которое на деле обеспечивало субстанциальные условия жизни нации, не имело в итоге формального статуса. Во Франции не было общих для всех законов, а была совокупность законов, из которых одни применялись к дворянству, другие — к третьему сословию, третьи — к духовенству и т. д. Не было общих для всех зако-

нов. Не было также легислатуры, потому что законы или королевские указы принадлежали к системе, которую Сийес называет «придворной»[4], к системе двора, то есть королевского произвола.

Мне кажется, что из этого анализа можно извлечь определенное число следствий. Одни, конечно, имеют непосредственно политический характер. Они состоят в следующем: очевидно, что во Франции нет нации, потому что в ней отсутствуют формальные юридические условия ее существования: нет общих для всех законов, законодательного органа. И, однако, во Франции имеется «какая-то» нация, то есть группа индивидов, которые способны обеспечить субстанциальное и историческое существование нации. Эти люди — носители исторических условий существования нации и определенной нации. Отсюда вытекает центральное положение текста Сийеса, которое можно понять только в полемической, открыто полемической, связи с тезисами Буленвилье, дю Бюа-Нансэ и других и которое гласит: «Третье сословие есть вся нация».[5] Эта формула означает следующее: то понятие нации, которое аристократия применяла к группе индивидов, имеющих между собой общее только в форме обычаев и положения, недостаточно для выражения исторической реальности нации. И в то же время государственная целостность, обеспеченная королевством Франция, реально нации не представляет, поскольку не предполагает, строго говоря, необходимых и достаточных для образования нации исторических функций. Где нужно, следовательно, искать историческое ядро нации, «определенной» нации? В третьем сословии, и только в нем. Одно третье сословие является историческим условием существования нации, но такой нации, интересы которой должны по праву совпадать с интересами государства. Третье сословие — это полноценная нация. Именно она составляет нацию. Или еще, если хочется выразить иначе те же самые положения: «Все, что является национальным, принадлежит нам», говорит третье сословие, «и все, что принадлежит нам, составляет нацию».[6]

Эта политическая формулировка, которую изобрел не Сийес и которую не он один формулировал, фактически становится матрицей всего политического дискурса, не исчерпанного еще и поныне. Матрица этого политического дискурса имеет,

по-моему, две особенности. Первая особенность нового заключается в фиксации отношения партикулярности к универсальности, отношения, в точности обратного тому, которое характеризовало дискурс аристократической реакции. Что в основном делала последняя? Она извлекала из конституированного королем и его подданными социального организма, из этого монархического единства определенное особое право, замешанное на крови и подтвержденное победой: особое право благородных. И она желала, каким бы не было устройство окружающего ее общества, сохранить для дворянства абсолютную и особую привилегию на это право; значит, извлечь из целостности общества это особое право и заставить его действовать во всей его особости. Но здесь речь должна идти совсем о другом. Наоборот следует сказать (именно это скажет третье сословие): «Мы только нация среди других индивидов. Но нация, которую мы составляем, одна может действительно создать единую нацию. Мы сами по себе не представляем общественной целостности, но мы способны выполнить объединяющую функцию государства. Мы способны к государственной универсальности». И вот вторая особенность этого дискурса: происходит инверсия временной оси требования. Теперь требование выдвигается не от имени прошлого права, установленного либо через консенсус, либо в результате победы или нашествия. Требование ориентируется на возможность, выдвигается в расчете на будущее, которое неминуемо, которое уже присутствует в настоящем, так как речь идет об определенной государственной функции универсальности, уже обеспеченной «некоей» нацией в социальном организме, и во имя этого данная нация требует, чтобы ее статус исключительной нации был признан на деле, и признан юридически в форме государства.

Вот что можно сказать о политических последствиях этого типа анализа и дискурса. Но имеются также теоретические следствия, я о них сейчас скажу. Можно видеть, что нацию в этих условиях определяет не ее архаичность, древность, не ее отношение к прошлому; ее определяет отношение к чему-то другому, отношение к государству. Это включает несколько положений. Прежде всего, нация определяет себя в основном не по отношению к другим нациям. Нацию должно характеризовать

не горизонтальное отношение к другим группам (какими бы не были эти другие нации, враждебными, противостоящими данной нации или близкими ей). Напротив, нацию должно характеризовать вертикальное отношение, устанавливающееся между совокупностью индивидов, способных создать государство, и самим государством в его реальном существовании. Именно эта вертикаль нация—государство, или возможность государства—реализация государства, характеризует и определяет нацию. Это означает также, что силу нации составляет не только ее физическая мощь, не ее военные способности, не ее в некотором роде варварская сила, как хотели представить дело историки дворянства в начале XVIII века. Теперь считается, что силу нации составляют некие способности, возможности, все они упорядочиваются в системе государства; нация будет тем сильнее, чем более государственных способностей она будет иметь. Это означает также, что сущностью нации не является господство над другими. Существо функций и исторической роли нации не заключается в установлении господства над другими нациями; оно заключается в другом: в умении управлять собой, распоряжаться, руководить, обеспечить себе конституцию, функционирование государственной системы и государственной власти. Не господство, а этатизация. Таким образом, нация, по существу, больше не является участником варварских и воинственных отношений господства. Нация — это активное, конститутивное ядро государства. По крайней мере, нация представляет собой государство в наметках, это государство в той мере, в какой оно зарождается, формируется и находит исторические условия своего существования в группе индивидов.

Таковы теоретические последствия нового понимания нации. Теперь о последствиях для исторического дискурса. Дело в том, что теперь исторический дискурс снова вводит и в какой-то степени ставит в центр проблему государства. Такой исторический дискурс определенно сближается с тем историческим дискурсом, который существовал в XVII веке и относительно которого я пытался вам показать, что он был, по существу, родом дискурса государства о самом себе. Он имел оправдательные, литургические функции: через него государство рассказывало о своем собственном прошлом, то есть утверждало свою леги-

тимность и укрепляло свои основные права. Таков был исторический дискурс еще в XVII веке. Именно против него выступила аристократическая реакция, и она создала другой тип исторического дискурса, в котором роль нации сводилась к разложению государственного единства и к обнаружению того, что за формальной видимостью государства существовали другие силы, принадлежащие не государству, а особой группе, имеющей свою особую историю, свое отношение к прошлому, свои победы, кровь, свои отношения господства и т. д.

Теперь нарождается исторический дискурс, который принимает в расчет государство и по своим основным функциям не будет больше антиэтатистским. Но в этой новой истории нет места для дискурса государства о себе самом с целью самооправдания. Речь теперь должна идти об истории постоянно меняющихся отношений между нацией и государством, между этатистскими возможностями нации и действительной целостностью государства. Это позволяет написать историю, уже не замкнутую больше в круг возврата и восстановления, коренного поворота к первоначальному положению вещей, как это было характерно для XVII века. Теперь можно представить историю в виде прямой линии, решающим моментом в ней будет переход от возможности к действительности, от национальной целостности к государственной универсальности, следовательно, историю, обращенную одновременно к настоящему и к государству; историю, ориентированную на неизбежность образования государства, на всеобъемлющую, законченную и полную систему государства в настоящем. И это также позволит — второе положение — написать историю, где соотношение задействованных сил будет иметь целиком гражданский, а не военный характер.

Конечно, при анализе текстов Буленвилье я пытался вам показать, каким образом через посредство институтов (хозяйства, воспитания, языка, знания и т. д.) осуществляется столкновение наций в одном и том же социальном организме. Но использование нациями гражданских институтов было представлено у Буленвилье только в качестве инструмента ведения войны, которая так и осталась в основном войной; они только инструменты господства, которое так и осталось господством военного типа, результатом нашествия и т. д. Теперь, напротив,

появляется история, где война — война за господство — превращается в борьбу, имеющую другое содержание: не вооруженное столкновение, а напряжение, соперничество, давление, цель которых — универсальность государства. Именно государство и его универсальность становятся одновременно целью и полем борьбы; но такая борьба, которая не ставит цели господства и не выражается в господстве, а имеет в качестве цели и области своего применения государство, будет, по существу, гражданской. Она должна, по сути, развиваться через экономику, институты, производство, администрацию, быть направленной на них. Возникает гражданская борьба, по отношению к которой военная, кровавая борьба может быть только исключительным моментом, или кризисом, эпизодом. Гражданская война, далеко не будучи основой всех столкновений и разновидностей борьбы, фактически является только эпизодом, фазой кризиса по отношению к борьбе, которую теперь нужно рассматривать не в терминах войны, господства, не в военных терминах, а в гражданских.

И я думаю, что именно в этом заключается один из основных вопросов истории и политики не только XIX, но и XX века. Что значит представлять борьбу в собственно гражданских терминах? Может ли быть эффективно проанализирована экономическая, политическая борьба, борьба за государство в терминах не военных, а собственно экономико-политических? Или следует вновь отыскать за всем этим нескончаемый процесс войны и господства, который пытались очертить историки XVIII века? Во всяком случае, начиная с XIX века, с нового определения понятия нации, возникает история, которая в противовес тому, что делалось в XVIII веке, стремится обнаружить гражданскую основу борьбы в области государства, последняя и должна заменить собой ту агрессивную, военную, кровавую основу, войну, которая была в центре внимания историков XVIII века.

Я рассмотрел условия возможности нового исторического дискурса. Но какую конкретно форму принимает новая история? Я думаю, что если хотят представить ее в целом, то можно сказать, что она характеризуется взаимодействием и взаимным прилаживанием двух интеллектуальных подходов, которые существуют рядом друг с другом, до некоторой степени пересекаются

и исправляют друг друга. Первый подход представляет интеллектуальную схему, разработанную и применявшуюся в XVIII веке. То есть это история, как она писалась Гизо, Огюстеном Тьерри, Тьером, а также Мишле, отправной точкой такой истории было соотношение сил, состояние борьбы в той форме, в какой оно признавалось в XVIII веке: в форме войны, сражения, нашествия, завоевания. Историки, скажем еще аристократического типа вроде Монтлозье[7] (но также Огюстен Тьерри и Гизо), постоянно принимают эту борьбу как матрицу истории. Например, Огюстен Тьерри говорит: «Мы думаем, что мы нация, а мы представляем собой две нации, живущие на одной земле, две нации, враждебные по своим воспоминаниям, непримиримые по своим целям: одна из них некогда завоевала другую». И конечно, некоторые из господ перешли на сторону побежденных, а остальные, то есть те, кто остался господами, «так же чужды нашим чувствам и нравам, как если бы они только вчера заняли место среди нас, они так же глухи к нашим идеям свободы и мира, как если бы наш язык был им неизвестен, как язык наших предков был неизвестен их родичам, они следуют своей дорогой, не заботясь о нашей».[8] Также и Гизо говорит: «...более тринадцати веков во Франции жили два народа, победители и побежденные».[9] И сейчас, значит, еще существует та же самая отправная точка, тот же интеллектуальный подход, что и в XVIII веке.

Но к этому первому подходу добавляется другой, который одновременно дополняет и переворачивает изначальный дуализм. Теперь отправной точкой рассуждения должна быть не первая война, первое нашествие, первый национальный дуализм, напротив, рассуждение строится регрессивно, исходя из настоящего. Второй подход стал возможен именно вследствие пересмотра идеи нации. Главным моментом больше не является начало, некий архаический элемент; главным, напротив, оказывается настоящее. Самым важным является, я думаю, перевертывание ценности настоящего в историческом и политическом дискурсах. По сути, в истории и в историко-политической области XVIII века настоящее всегда было негативным моментом, это был спад, чисто внешнее спокойствие, забвение. Настоящее было моментом, когда из-за всей суммы перемещений, измен, изменений в соотношении сил первоначальное

состояние войны как бы затуманивается и становится неузнаваемым; не только неузнаваемым, но и глубоко забытым даже теми, кто, однако, мог бы извлечь из него пользу. В результате своего невежества, любви к развлечениям, лени, жадности знать забыла о первоначальном соотношении сил, которое определяло ее отношения с другими обитателями их земель. И более того, дискурс клерков, юристов, администрации королевской власти скрывал это изначальное соотношение сил, так что настоящее для историков XVIII века всегда было периодом глубокого забвения. Отсюда необходимость выйти из настоящего посредством внезапного и резкого пробуждения, которое должно прежде всего произойти в результате глубокой реактивизации на уровне знания первоначального состояния. Пробуждение сознания должно было оттолкнуться от настоящего, как от уровня крайнего забвения.

Новый подход к истории, напротив, требует исходить теперь из того момента, когда история поляризуется в ряде отношений, таких как нация—государство, возможность—действительность, функциональная целостность нации—реальная универсальность государства, при этом хорошо видно, что настоящее становится самым полным моментом, моментом наибольшей интенсивности, торжественным моментом, когда универсальное вступает в реальное. Контакт универсального и реального в настоящем (настоящем, которое только что произошло и должно утвердиться), в неизбежном настоящем придает последнему одновременно силу, интенсивность и делает из него принцип исторического мышления. Настоящее больше не момент забвения. Это, напротив, период, когда готова раскрыться истина, когда на свет выходит скрытое или виртуальное. Вообще в настоящем раскрывается прошлое, поэтому оно является основой для анализа прошлого.

Я думаю, что историки XIX века, или по крайней мере первой половины XIX века, используют оба интеллектуальных подхода: тот, который отталкивается от некой изначальной войны, охватывает все исторические процессы и анимирует все их развитие; и другой подход, который исходит из актуальности настоящего, из тотализующей деятельности государства и затем обращается к прошлому, восстанавливая его генезис. Фактически оба подхода никогда не употребляются в отрыве

друг от друга: они всегда используются почти на равных правах, всегда направлены навстречу друг другу, они более или менее накладываются друг на друга, частично пересекаются на границах. В результате история пишется, с одной стороны, на основе понятия и факта господства, имея на заднем плане войну, с другой стороны, на основе понятия и факта тотализации, с выдвижением на первый план настоящего государства и с пониманием, в любом случае, неизбежности того, что происходило и будет происходить. Итак, история пишется одновременно в терминах изначального дуализма и в терминах тотализующего завершения. И я думаю, что политическая польза исторического дискурса определяется в основном способом сочетания в нем двух подходов к истории; способом, при котором выдвигается вперед тот или иной из них.

В целом, если преимущество отдается первому подходу, требующему исходить из начального дуализма, то создается вариант истории, которую можно назвать реакционной, аристократической, правой. Если преимущество отдается другому подходу, требующему исходить из настоящего момента универсальности, то создается вариант истории либерального или буржуазного типа. Но фактически ни та ни другая из этих двух форм подходов к истории, имеющих каждая свою собственную тактическую позицию, не может отказаться от использования тем или другим способом обоих подходов. Я хотел бы в этой связи привести два примера: один заимствован из типично правой, типично аристократической формы литеритезации истории, которая до определенного момента развивается прямо в духе трактовок XVIII века, но фактически значительно переделывает их метод и использует вопреки всему интеллектуальную схему, выстроенную на основе настоящего. Другой пример имеет обратный характер: его цель показать, что в работах историка, считающегося либеральным и буржуазным, встречаются обе интеллектуальные схемы и даже та, которая основывается на феномене войны, но она не становится, однако, для него главной.

Итак, первый пример: историей правого типа, очевидно пронизанной духом аристократической реакции XVIII века, является история, написанная в начале XIX века Монтлозье. В ней изначально подчеркнуты отношения господства: на про-

тяжении всей истории обнаруживаются отношения национального дуализма, характерные для него отношения господства. Книги Монтлозье испещрены бранью, которую он адресует третьему сословию: «Раса вольноотпущенных, раса рабов, народ, платящий дань, вам была пожалована льгота быть свободными, но не благородными. Для нас все есть право, для вас все — милость. Мы не принадлежим к вашей общности, мы сами по себе.» Здесь еще можно найти известную тему, о которой я вам говорил в связи с Сийесом. В том же духе Жуфруа написал в каком-то журнале (я не помню в каком) следующую фразу: «Северная раса овладела Галлией, не искоренив побежденных; своим наследникам она завещала распоряжаться завоеванной землей и управлять завоеванными людьми.».[10]

О национальном дуализме говорили все историки, которые в целом были эмигрантами, а по возвращении во Францию, в момент наивысшей реакции, развивали идею о важности нашествия. Но при внимательном рассмотрении анализ Монтлозье сильно отличается от того, который можно было наблюдать в XVIII веке. Конечно, Монтлозье говорит о господстве, установившемся в результате войны или, скорее, многих войн, место которых он, по сути, не стремится определить. И он считает главным не то, что произошло в момент нашествия франков, потому что фактически отношения господства существовали задолго до того и были более многочисленны, чем предполагается, когда останавливаются лишь на нашествии франков. В Галлии задолго до римского нашествия уже существовало отношение господства между знатью и народом, который был обязан выплачивать дань. Это был результат древней войны. Римляне пришли, принеся с собой войну, а также отношение господства между своей аристократией и людьми, которые были зависимы от этих богатых, благородных или аристократов. И здесь также отношения господства были результатом старой войны. А затем пришли германцы с их собственными внутренними отношениями зависимости между свободными воинами и теми, кто были только подданными. Таким образом, в конечном счете то, что установилось в начале средневековья, на заре феодализма, не было просто господством какого-то одного народа-победителя над побежденным народом, а было смешением трех внутренних систем господства,

существовавших у галлов, римлян, германцев.[11] В основном феодальная знать эпохи Средневековья была только смешением трех аристократий, которые образовали новую аристократию и господствовали над людьми, представлявшими в свою очередь смешение галльских данников, римских клиентов и германских подданных. Таким образом, установилось отношение господства между знатью, которая была нацией, всей нацией, то есть феодальной знатью, и затем (вне нации, в качестве объекта, другой стороны в системе господства) всем народом, состоявшим из данников, крепостных и т.д., который в действительности был не другой частью нации, а находился вне нации. Монтлозье, значит, вводит монизм на уровне нации в пользу знати и сохраняет дуализм на уровне господства.

Однако какой была, согласно Монтлозье, роль монархии? Она состояла в создании из этой вненациональной массы, которая была результатом смешения германских подданных, римских клиентов, галльских данников, нации, другого народа. Такой была роль королевской власти. Монархия освободила данников, дала права городам, сделала их независимыми от дворянства; она также освободила крепостных и создала из разрозненных частей нечто, о чем Монтлозье говорит, что это был новый народ, равный в правах древнему народу, то есть дворянству, и гораздо более многочисленный. Королевская власть, говорит Монтлозье, создала огромный класс.[12]

В анализе такого типа, конечно, происходит воссоздание всех элементов, использовавшихся в XVIII веке, но с большим изменением. Оно, как вы видите, заключается в том, что политические процессы, всё, что происходило со средневековья вплоть до XVII и XVIII веков, состояло, согласно Монтлозье, не просто в изменении, смещении силовых отношений между двумя партнерами, существовавшими как бы с начала игры и противостоявшими якобы друг другу, начиная с нашествия. Фактически прошлое интерпретируется как создание внутри некоей мононациональной совокупности, целиком сконцентрированной вокруг знати, чего-то иного: создание новой нации, нового народа, того, что Монтлозье называет новым классом.[13] Создание, следовательно, класса, классов внутри общества. Но что должно произойти в результате создания нового класса? Да, король использует новый класс, чтобы вырвать

у дворянства его экономические и политические привилегии. Какие средства он использует? Монтлозье повторяет то, о чем говорили его предшественники: ложь, измены, противоестественные союзы и т. д. Король использует также живую силу нового класса; он использует восстания: восстания городов против сеньоров, крестьянские восстания против земельных собственников. Но что, спрашивает Монтлозье, нужно видеть за всеми этими восстаниями? Конечно, недовольство нового класса. Но особенно руку короля. Именно король воодушевлял все восстания, потому что каждое восстание ослабляло власть дворян и, следовательно, укрепляло власть короля, который мог заставить дворянство идти на уступки. Процесс имел к тому же кругообразный характер: каждая осуществленная королем мера по освобождению народа увеличивала гордыню и силу нового класса. Каждая уступка, которую делал король новому классу, влекла за собой новые восстания. Существует, значит, во всей истории Франции тесная связь между монархией и народным восстанием. Монархия и народное восстание поддерживают друг друга. И переход в руки монарха всей политической власти, которой некогда обладало дворянство, происходил в основном в результате этих восстаний, конкретных восстаний, во всех случаях поддержанных королевской властью и пользовавшихся ее покровительством.

Благодаря этому монархия присваивает себе единоличную власть. Но она может ее применять и использовать, только обращаясь за помощью к новому классу. Ему она доверит свою юстицию и администрацию, в результате он возьмет на себя все государственные функции. В итоге последним моментом процесса, конечно, может быть только последнее восстание: когда государство целиком попадает в руки этого нового класса, в руки народа, оно ускользает от королевской власти. Друг против друга остаются только король, не имеющий в действительности другой власти, кроме данной ему в результате народных восстаний, и народный класс, который держит в своих руках все инструменты государственной власти. Каков же будет последний эпизод, против кого будет направлено последнее восстание? Да, против того, кто забыл, что он был последним аристократом, еще обладающим властью: то есть против короля.

Итак, французская революция предстает в анализе Монтлозье последним эпизодом в процессе перемещения власти, начатом королевским абсолютизмом.[14] Революция — это завершение конституирования монархической власти. Революция свергла короля? Вовсе нет. Революция завершила дело королей, она в буквальном смысле выразила его истину. Революция должна рассматриваться как завершение монархии; завершение, может быть, трагическое, но политически верное. 21 января 1793 г., возможно, обезглавили короля; обезглавили короля, но короновали монархию. Конвент — это голая истина монархии, а суверенитет, вырванный королем у дворянства, теперь с абсолютной неизбежностью оказывается в руках народа, который предстает, по словам Монтлозье, законным наследником королей. Монтлозье, аристократ, эмигрант, ярый противник малейшей попытки либерализации в период реставрации, может писать следующее: «Народ — суверен: пусть не порицают его со слишком большой горечью. Он только осуществил дело суверенов, своих предшественников.». Народ — наследник, и законный наследник, королей. Он исправно следовал по дороге, намеченной для него королями, парламентами, законниками и учеными. По этой причине встречаем у Монтлозье мысль, пронизывающую в некотором роде его исторический анализ, согласно которой все исходит из состояния войны и отношения господства. В политических требованиях эпохи Реставрации звучит уверенность, что дворяне должны вернуть свои права, возвратить обратно национализированное имущество, восстановить господство, которое оно некогда осуществляло в отношении целого народа. Конечно, такая уверенность звучит, но содержащий ее исторический дискурс в своей основе, в своем центральном направлении ориентирован на настоящее, как на момент полноты, свершения, момент тотализации, момент, исходя из которого все исторические процессы, захватывавшие отношения между аристократией и монархией, пришли в конечном счете к высшей, последней точке, к моменту полноты, когда конституируется государственная целостность как принадлежность национального коллектива. И потому можно сказать, что этот дискурс — каковы бы не были политические темы или аналитические элементы, которые соотносятся с историей Буленвилье и дю Бюа-Нансэ или были

прямо в нее вписаны, — в действительности функционируст в соответствии с другой моделью.

Теперь, чтобы закончить, я хотел бы рассмотреть другой, прямо противоположный тип интерпретации истории. Это история Огюстена Тьерри, открытого противника Монтлозье. С его точки зрения, постижение истории должно прежде всего отталкиваться от настоящего. Очевидно, это вторая схема, в соответствии с которой нужно исходить из настоящего во всей его полноте, чтобы обнаружить элементы и процессы прошлого, она то и используется Тьерри. Соответственно государственная целостность должна быть спроецирована на прошлое; нужно осуществить генезис этой целостности. Революция для Огюстена Тьерри представляет такой «полный момент»: в определенном смысле — считает он — в ней представлен момент примирения. Он связывает это примирение, создание государственной целостности со знаменитой сценой, когда Байи, собрав представителей дворянства и духовенства в том же месте, где находились представители третьего сословия, сказал: «Семья в полном сборе.».[15]

Итак, надо отталкиваться от настоящего. Современный момент характеризуется национальным единством в форме государства. Но тем не менее оно могло осуществиться только посредством насильственной революции, так что примирение несет еще в себе образ войны, ее отметину. И Огюстен Тьерри говорит, что, по сути, французская революция является просто последним эпизодом борьбы, которая длилась более тринадцати веков и была войной между победителями и побежденными.[16] Таким образом, для Огюстена Тьерри вся проблема исторического анализа заключается в том, чтобы показать, как пронизавшая всю историю война между победителями и побежденными могла привести к настоящему, сущностью которого не является больше война и асимметричное господство, не является новая форма господства, просто повернутого в другом направлении; показать, как эта война смогла привести к генезису универсальности, где борьба, или во всяком случае война, может только исчезнуть.

Как случилось, что из двух частей общества только одна смогла стать носителем универсальности? Такова проблема истории для Огюстена Тьерри. В таком случае анализ должен

состоять в обнаружении начала процесса, который является дуальным в исходной точке, но в конце станет сразу монистическим и универсалистским. Согласно Огюстену Тьерри, суть столкновения сводится к тому, что все происходившее, конечно, имеет свое начало в таком явлении, как нашествие. Но если на протяжении всего средневековья и вплоть до настоящего момента существовали борьба и столкновения, это происходило в основном не потому, что победители и побежденные сталкивались в рамках институтов; в действительности существовали два законченных экономико-юридических типа общества, которые вступали в соперничество друг с другом в борьбе за управление и государственные функции. Существовало, даже до образования средневекового общества, сельское общество, создавшееся в результате завоевания и в соответствии с формой, которая очень скоро должна была стать формой феодализма; а затем параллельно с ним городское общество, которое строилось по римской и галльской моделям. И столкновение было, с одной стороны, результатом нашествия и завоевания, но, с другой стороны, в своем существе, в субстанциальном смысле это была борьба между двумя обществами, конфликты между которыми иногда приобретали вооруженный характер, но в основном являлись столкновениями политического и экономического порядка. Это можно назвать и войной, но она велась за права и свободы, с одной стороны, против задолженности и богатства — с другой.

Столкновения между двумя типами общества за конституирование государства становятся главными двигателями истории. Вплоть до IX—X веков города терпели поражение в этих столкновениях, в борьбе за государство и за государственную универсальность. А затем, начиная с X—XI веков, напротив, происходит возрождение городов, которые строились по итальянской модели на юге и по скандинавской модели на севере. Во всяком случае, это была новая форма юридической и экономической организации. Но если городское общество в конечном счете побеждает, то не потому, что оно одержало как бы военную победу, а просто потому, что имело в своем распоряжении больше богатства, а также административную способность, новую мораль, определенный образ жизни, способ существования, волю, новаторские инстинкты, считает Огюстен

Тьерри, и активность, что дает ему достаточно сил, чтобы превратить однажды свои локальные институты в институты политического и гражданского права всей страны. Итак, универсализация, но не в силу господства, которое бы целиком оказалось на стороне городского общества, а в силу того, что все основополагающие функции государства оказываются в руках его представителей, даже рождаются по их инициативе или переходят к ним в руки. И эту силу, силу государства, а не силу войны, буржуазия не станет использовать для целей войны, или она будет ее использовать как военную силу, только если в этом действительно будет необходимость.

Упомяну два большие эпизода, две больших фазы в истории буржуазии и третьего сословия. Когда третье сословие почувствовало, что держит в своих руках все механизмы государства, оно прежде всего предложило нечто вроде социального пакта дворянству и духовенству. Именно таким образом создаются одновременно теория и институты трех сословий. Но это искусственное единство по-настоящему не соответствует ни действительному соотношению сил, ни стремлениям враждебной партии. По сути, третье сословие уже держит в руках все государство, а враждебная партия, то есть дворянство, не хочет за ним признать хоть какое-то право. Именно в этот момент в XVIII веке начинается новый процесс, который примет форму более резкого столкновения. Революция станет поистине последним эпизодом жестокой войны, которая, конечно, оживила старые конфликты, но при этом была только военным инструментом столкновений и борьбы, не имевших военного характера, а относящихся, по существу, к области гражданских отношений, причем, целью и местом указанной борьбы было государство. Исчезновение системы трех сословий, резкие революционные потрясения — все это свидетельствует об одном: третье сословие, ставшее нацией, ставшее *единой* нацией вследствие овладения всеми государственными функциями, на деле берет на себя ответственность за нацию и государство. Конституировать самому всю нацию и взять на себя ответственность за государство на деле означает выполнение функций, универсализаций, которые ведут к исчезновению и прежнего дуализма, и всех существовавших до того отношений господства. Итак, буржуазия, третье сословие, становится

народом, становится государством. Она осуществляет универсализацию. Настоящий момент, то есть тот, о котором пишет Огюстен Тьерри, является именно моментом исчезновения всех форм дуализма, исчезновения наций, а также классов. «Происходят, — говорит Огюстен Тьерри, — огромные изменения, которые ведут к постепенному исчезновению почвы, на которой процветали все формы насильственного или незаконного неравенства, неравенство между господином и рабом, победителем и побежденным, сеньором и крепостным, и к появлению, наконец, на их месте единого народа, закона, равного для всех, свободной и независимой нации».[17]

Вы видите, что в ходе такого анализа, во-первых, устраняется или, во всяком случае, ограничивается использование войны как отправной точки трактовки историко-политических процессов. Война имеет только временное и инструментальное значение для столкновений, лишенных воинского характера. Во-вторых, существенный момент состоит в том, что теперь не господство определяет отношение одних к другим, одной нации к другой, одной группы к другой, фундаментальной основой отношений становится государство. И, наконец, можно видеть, как в рамках подобных анализов вырисовывается нечто, что, я бы сказал, может быть непосредственно ассимилировано, перенесено в философский дискурс диалектического типа.

Возможность философии истории, то есть появление в начале XIX века философии, которая обретет в истории, в полноте настоящего тот момент, когда универсальное высказывается в своей истине, была, не скажу, подготовлена новым историческим дискурсом, она уже содержалась внутри него. Произошла самодиалектизация исторического дискурса, которая осуществилась независимо от всякого явного переноса или явного использования диалектической философии в историческом дискурсе. Употребление исторического дискурса буржуазией, модификация ею основных элементов исторического мышления, которые она собирала с XVIII века, и составили в то же время самодиалектизацию исторического дискурса. Понятно, как исходя из этого могли завязаться отношения между историческим дискурсом и философским. По сути, в XVIII веке философия истории существовала только как спекуляция о все-

общем законе истории. С XIX века начинается нечто новое и, я думаю, фундаментальное. История и философия поставят общий вопрос: кто в настоящем является носителем универсального? Кто в настоящем олицетворяет истину универсального? Это вопрос истории, но также и философии. Диалектика рождена.

Примечания

[1] *Аббат Сийес.* Что такое третье сословие? Спб., б/г.

[2] «Только общее право и общее представительство составляет одну нацию». — Там же.

[3] «Что требуется для существования и процветания нации? *Частные* работы и *общественные* функции.» (Там же: см. гл. I, с. 6—11).

[4] Там же. С. 14.

[5] Там же. С. 9.

[6] «Третье сословие обнимает все, что относится к нации; и все, что не заключается в третьем сословии, не может считаться частью нации. Что же такое третье сословие? Все.» (Там же. С. 10—11).

[7] *F. de Reynaud, comte de Montlosier.* De la monarchie française depuis son établissement jusqu'à nos jours. Paris, 1814, vol. 1—111.

[8] *Тьерри О.* О расовой вражде, которая разделяет французскую нацию. Le Censeur européen. 2 avril 1820. Включено в: Dix ans d'etudes historiques. Paris, 1835. P. 292.

[9] См.: *Guizot F.* Du gouvernement de la France depuis la Restauration et du ministère actuel. Paris, 1820. P. 1.

[10] М. Фуко делает здесь намек на Ахилла Жуфруа д'Аббан (1790—1859). Сторонник Бурбонов он публиковал в «L'Observateur» статьи в защиту божественного права, абсолютной власти и ультрамонтанизма. После падения Карла X он издавал журнал «La Légitimité», распространение которого было запрещено во Франции. Он автор ряда брошюр , в частности носящей название «Des idees liberales du Fraçais» («Либеральные идеи француза») (1815 г.), повествования о революции «Les Eastes de l'anarchie» («Летопись революции») (1820 г.) и исторической работы о Галлии «Les Siècles de la monarchie française» («Века французской монархии») (1823 г.). Цитату из Жуфруа можно найти в «L'Observateur des colonies, de la marine, de la politique, de la littérature et des arts. IX livraison, 1820, p.299. Ср.: О. Тьерри «О расовой вражде...», цит. статья.

[11] *F. de Reynaud, comte de Montlosier.* De la monarchie française..., op. cit., liv. I, chap. I, p. 150.

[12] Ср.: ibid, liv. III, chap. II, p. 152 sq.

[13] Ср.: ibid, loc. cit.

[14] Ibid, liv. II, chap. II, p. 209.

[15] *Тьерри О.* История возникновения и развития третьего сословия. Киев; Харьков, 1901. Тьерри пишет «Полная семья».

[16] См. в особенности О. Тьерри «О расовой вражде...», цит. ст., и «Настоящую историю Жака Простака». Le Censeur européen, mai 1820. Статья также помещена в: Dix ans d'etudes historiques, op. cit.

[17] *Thierry A.* Essai sur l'histoire de la formation et des progres du Tiers-État. B: Œeuvres completes. Paris, 1868. T. V. P. 10. Цитата неточная и исправлена в соответствии с текстом оригинала.

Лекция от 17 марта 1976 г.

От суверенной власти к власти над жизнью. — Заставить жить и позволить умереть. — От человека-тела к человеку-роду: рождение биовласти. — Области применения биовласти. — Население. — О смерти, и особенно о смерти Франко. — Сочетание дисциплины и регуляции: рабочий город, сексуальность, норма. — Биовласть и расизм. — Функции расизма и области его применения. — Нацизм. — Социализм.

Итак, нужно попытаться закончить, подытожить то, о чем я говорил в этом году. Я затронул проблему войны, рассматривая ее как особый подход к трактовке исторических процессов. Мне казалось, что война изначально и практически на всем протяжении XVIII века рассматривалась как война рас. Именно историю борьбы рас я хотел немного воспроизвести. В последний раз я рассказывал, как само понятие войны было вытеснено из исторического анализа принципом национальной универсальности*. Теперь я хотел бы показать, что тема расы не исчезает, а воспроизводится в форме государственного расизма. И поэтому сегодня я расскажу о рождении государственного расизма, по крайней мере введу вас в суть дела.

Мне кажется, что одним из основных феноменов XIX века было и остается то, что можно бы назвать контролем жизни со стороны власти: это, если хотите, обретение власти над человеком как живым существом, своего рода этатизация биологического или, по меньшей мере, некоторая склонность к такой

---

*В рукописи после слов «национальной универсальности» идет «в эпоху революции».

этатизации. Чтобы понять произошедшее, следует, я думаю, обратиться к классической теории суверенитета, которая в конечном счете и служила нам основой, таблицей для всех этих анализов о войне, расах и т. д. Вы знаете, что в ней право суверена в отношении жизни и смерти подданных было одним из его основных атрибутов. Однако это странное право, странное уже на теоретическом уровне; действительно, что значит обладать правом в отношении жизни и смерти? В некотором смысле это значит, что суверен, по существу, может заставить умереть и позволить жить; во всяком случае, это значит, что жизнь и смерть не являются естественными, непосредственными феноменами, в некотором роде первичными или коренными, которые находились бы вне области политической жизни. Если это положение развить до парадокса, то придем к утверждению, что на деле подданный перед лицом власти не имеет полного права ни на жизнь, ни на смерть. Он нейтрален с точки зрения жизни и смерти и именно от суверена получает право жить или, при случае, умереть. Таким образом, жизнь и смерть подданных становятся правами только по решению суверенной воли. Вот, если хотите, теоретический парадокс. Он, очевидно, должен сопровождаться определенной практической неуравновешенностью. Что фактически означает право на жизнь и смерть? Понятно, не то, что суверен может заставить жить, как он может заставить умереть. Право на жизнь и смерть реализуется только в неравновесии и всегда с перевесом смерти. Право суверенной власти на жизнь начинается с момента, когда у суверена появляется право убить. В конечном счете именно это право действительно содержит в себе саму сущность права на жизнь и смерть: именно в момент, когда суверен может убить, он подтверждает свое право подданного. Это, по существу, право меча. Нет, значит, реальной симметрии в праве на жизнь и смерть. Это не право заставить умереть или заставить жить. Это и не право позволить жить и позволить умереть. Это право заставить умереть или позволить жить. Это, понятно, вводит явную асимметрию.

И я думаю, что действительно одно из самых крупных изменений в области политического права в XIX веке состояло не в замене, а в дополнении этого старого права верховной власти — заставить умереть или позволить жить — другим,

новым правом, которое не уничтожает первое, но проникает в него, пронизывает его, модифицирует и создает в точности противоположное право или, скорее, власть: власть «заставить» жить и «позволить» умереть. Значит, право суверена — заставить умерсть или позволить жить. Затем появляется новое право: право заставить жить и позволить умереть.

Конечно, трансформация осуществилась не сразу. Это можно проследить в теории права (но здесь я буду очень краток). Уже юристы XVII, но особенно XVIII века, поставили вопрос о праве на жизнь и на смерть. Они, например, спрашивали, почему индивиды заключают общественный договор, почему они объединяются, чтобы создать суверена и делегировать ему абсолютную власть над ними? Они делают это, потому что их подталкивает опасность или нужда. Следовательно, они делают это, чтобы защитить свою жизнь. Они создают суверена, чтобы иметь возможность жить. И в силу этого, может ли действительно жизнь войти в число прав суверена? Но если не жизнь служит основанием права суверена, то может ли суверен реально потребовать от своих подданных права на власть над их жизнью и смертью, то есть просто на власть их убивать? Должна ли жизнь остаться вне договора, если именно она была первым, изначальным и основным мотивом к заключению договора? Все это вызывает в политической философии дискуссию, которую можно оставить в стороне, но которая хорошо показывает, как факт жизни начинает проблематизироваться в области политической мысли, в области анализа политической власти. Я хотел бы здесь проследить указанную трансформацию не на уровне политической теории, а скорее на уровне механизмов, техник, технологий власти. В таком случае мы попадаем в круг знакомых вещей: а именно, как в XVII, так и в XVIII веке возникают техники власти, которые в основном были ориентированы на тело, индивидуальное тело. Имеются в виду все процедуры, с помощью которых обеспечивалось пространственное распределение индивидуальных тел (их разделение, выравнивание, установление их серийности и контроля над ними) и всей системы наблюдения за ними. Это также были техники, с помощью которых власть брала на себя ответственность за эти тела, пыталась увеличить их полезную силу посредством упражнений, дрессировки и т. д.

Сюда относятся также техники рационализации и строгой экономии власти, которая должна была возможно дешевле организовать систему наблюдения, иерархии, инспекций, документов, докладов: всю ту технологию, которую можно назвать дисциплинарной технологией труда. Она утверждается с конца XVII и в течение XVIII века.[1]

Однако во второй половине XVIII века появляется, по-моему, нечто новое, другая технология власти, на этот раз не дисциплинарная. Но она не исключает первую технологию, не исключает дисциплинарную технику, а соединяется с ней, интегрирует ее, частично модифицирует и особенно стремится ее использовать, укореняясь в ней и эффективно внедряясь благодаря этой предварительной дисциплинарной технике. Новая техника не уничтожает дисциплинарной техники просто потому, что находится на другом уровне, на другой ступени, у нее другая основа и она пользуется совсем другими инструментами.

Новая, не дисциплинарная техника власти — в отличие от дисциплины, которая обращена к телу, — применяется к жизни людей или, можно еще сказать, она обращена не к человеку-телу, а к живому человеку, к человеку как живому существу; в крайнем случае, можно сказать, к человеку-роду. Точнее, я сказал бы так: дисциплина способна управлять множественностью людей, поскольку эта множественность может и должна превратиться в индивидуальные тела, подлежащие надзору, дрессировке, использованию, при случае, наказанию. А затем утверждается новая технология, обращающаяся к множественности людей, но не поскольку они сводятся к телам, а поскольку эта множественность, напротив, составляет глобальную массу, подверженную общим процессам жизни, каковы рождение, смерть, воспроизводство, болезнь и т. д. Таким образом, кроме первого проявления власти в отношении тела, которое осуществляется способом индивидуализации, есть второе проявление власти, не индивидуализующее, а массофицирующее, оно, если угодно, реализуется не в отношении человека-тела, а в отношении человека-рода. После анатомо-политики человеческого тела, утвердившейся в ходе XVIII века, в конце этого же века можно отметить нечто другое, что уже не является анатомо-политикой человеческого тела и что я бы назвал «биополитикой» человеческого рода.

На что направлена новая технология власти, биополитика, биовласть, находящаяся на пути к установлению? Я вам об этом только что сказал в двух словах: имеется в виду совокупность процессов, включающих в себя пропорцию рождений и смертей, уровень воспроизводства, рост населения и т. д. Именно эти процессы рождаемости, смертности, продолжительности жизни в связи со всем комплексом экономических и политических проблем (о которых я сейчас не буду говорить) составляли во второй половине XVIII века первые объекты знания и первые объекты контроля со стороны биополитики. Во всяком случае, именно в этот момент начинает действовать статистика этих феноменов вместе с появлением первых форм демографии. Становится обычным соблюдение более или менее спонтанных, более или менее конкретных правил, которые эффективно применялись к исчислению рождаемости населения; короче, вырабатываются приемы контроля рождаемости, как они практиковались в XVIII веке. Появляется также проект политики рождаемости или, во всяком случае, схемы вмешательства в глобальные процессы рождаемости. Но биополитика решает не просто проблему воспроизводства. Она обращена также на проблемы заболеваемости, но иначе, чем это было до сих пор в условиях известных эпидемий, опасность которых так заботила политические власти с начала средневековья (этих знаменитых эпидемий, временных драм многочисленных смертей, смерти, от которой никому не было спасения). Теперь, в конце XVIII века, речь идет не об эпидемиях, а о чем-то другом: в целом, это можно бы назвать эндемиями, если рассматривать форму, природу, широту, продолжительность болезней, распространенных среди населения. Это болезни, более или менее трудные для искоренения, но они не рассматриваются в качестве эпидемии, в качестве причины более частых случаев смерти, а как постоянные факторы — и так их интерпретируют — убавления сил, уменьшения рабочего времени, снижения энергии, экономических издержек, причиной которых являются как потери в производстве, так и стоимость ухода за больными. Короче, болезнь как феномен населения: не как смерть, грубо обрушивающаяся на жизнь — это эпидемия, — а как всегда присутствующая смерть, которая внедряется в жизнь, постоянно ее грызет, уменьшает ее и ослабляет.

Именно эти феномены начинают приниматься в расчет в конце XVIII века и ведут к утверждению медицины, главной функцией которой теперь становится служение общественной гигиене, что осуществляется с помощью координации медицинских забот, централизации информации, нормализации знания и включает также кампанию по обучению гигиене и охват населения медицинскими услугами. Итак, проблемы воспроизводства, рождаемости, а также заболеваемости. Другой областью вмешательства биополитики становится вся совокупность феноменов, одни из которых универсальны, а другие случайны, но даже если они случайны, то никогда не могут быть целиком исключены и влекут за собой последствия, аналогичные неспособности индивидов к делам, отстранению от них, нейтрализации индивидов и т.д. Очень важной проблемой с начала XIX века (с момента индустриализации) станет старость, положение индивида, который выпадает из сферы трудовой активности. А с другой стороны, несчастные случаи, увечья, различные аномалии. Именно по причине таких явлений биополитика создаст не только институты призрения (которые существовали издавна), а гораздо более тонкие механизмы, экономически более рациональные, чем грубая, массовая, но имеющая большие проблемы благотворительность, которая, по существу, была связана с церковью. Возникнут механизмы более тонкие, более рациональные: страхование, индивидуальное и коллективное накопление, обеспечение и т. д.[2]

Наконец, последняя область биополитики (я перечисляю главные, во всяком случае те, какие появились в конце XVIII и в начале XIX века, впоследствии их стало много): она была связана с отношениями между человеческим родом, человеческими существами в качестве рода, в качестве живых существ, и средой их обитания — это неотрегулированные воздействия географической, климатической, гидрографической среды: например, на протяжении всей первой половины XIX века стояли проблемы болот, эпидемий, связанных с существованием болот. А также возникала проблема среды, но не естественной среды, а искусственной, которая оказывала дурное влияние на население, среды, им самим созданной. В основном это проблема города. Я отмечаю здесь просто некоторые из явлений, послуживших основой для возникновения биополитики,

некоторые формы ее практики и первые области ее вмешательства, что предполагает одновременно определенные знания и власть: именно на рождаемость, заболеваемость, на различные формы биологической ущербности, на воздействие среды, на все это биополитика начнет распространять свое знание и определять соответственно область вмешательства своей власти.

Итак, я думаю, что во всем этом было немало очень важных моментов. Первое: появление нового элемента — я хотел сказать персонажа, — которого, по сути, не знали ни теория права, ни дисциплинарная практика. Теория права в основном знала только индивида и общество: индивида, заключающего контракт, и общество, созданное на основе реально состоявшегося или подразумеваемого договора индивидов. Что касается дисциплинарных форм, то они практически имели дело с индивидом и его телом. Новая технология власти имеет дело не с обществом в точном смысле слова (или, во всяком случае, не с обществом в понимании юристов); и не с индивидом-телом. Оно ориентируется на новое тело: тело сложное, тело со множеством голов, если не бесконечным, то по меньшей мере нуждающимся в перечислении. Оно выражается понятием «население». Биополитика имеет дело с населением, и население как проблема политическая, вернее научная и политическая, как проблема биологическая и проблема власти в этот момент и появляется.

Второе: также важна — помимо самого появления населения — природа принятых к рассмотрению феноменов. Можно видеть, что это коллективные феномены, которые появляются вместе со своими экономическими и политическими последствиями и обретают значимость только на уровне массы. Подобные феномены, если их рассматривать на уровне индивидов, кажутся случайными и непредвидимыми, но на коллективном уровне они представляют постоянные величины, которые легко или, во всяком случае, возможно вычислить. И наконец, это феномены, которые происходят на большом отрезке времени, времени, взятого в более или менее значительных границах; это серийные феномены. Биополитика в итоге ориентируется на случайные события, которые рассматриваются ею на уровне всего населения и на протяжении определенного времени.

Поэтому — третий важный момент — технология власти, биополитика, порождает механизмы, имеющие некоторое число функций, весьма отличных от тех, которые выполняли дисциплинарные механизмы. Биополитические механизмы вырабатывают, конечно, прежде всего предвидения, осуществляют статистические подсчеты, глобальные измерения; перед ними стоит задача модификации не какого-то отдельного явления, не индивида, взятого в его единичности, а модификации, которая осуществляется, по сути, на уровне детерминации общих феноменов, обретающих свой смысл в глобальном измерении. Нужно изменить, снизить уровень заболеваемости; нужно увеличить продолжительность жизни; нужно стимулировать рождаемость. И особенно важна задача установления регулирующих механизмов, которые в проблематичной области глобального населения смогут установить равновесие, поддержать его, установить род гомеостаза, обеспечить компенсации; короче, внедрить механизмы безопасности в ту область случайного, где проживает население, состоящее из живых существ, оптимизировать, если угодно, состояние жизни: такие механизмы, как и дисциплинарные механизмы, предназначены в целом максимизировать силы и извлекать их, но они действуют совершенно другими способами. В отличие от дисциплины здесь не стоит вопрос об индивидуальной дрессировке, которая бы осуществлялась воздействием на тело. Абсолютно не стоит вопрос о том, чтобы направить усилия на индивидуальное тело, как это делает дисциплина. Следовательно, речь не о том, чтобы детально рассматривать индивида, а наоборот, о том, чтобы поместить его в рамки глобальных механизмов, действовать так, чтобы достигались равновесие, упорядоченность на глобальных уровнях; короче, следует сосредоточить внимание на жизни, на биологических процессах человека-рода и в отношении их обеспечить не дисциплину, а регулирование.[3]

Таким образом, там, где существовала драматичная, мрачная власть суверена, обладающая способностью заставить умереть, появляется теперь вместе с технологией биовласти, технологией власти, ориентированной «на» население как таковое, на человека в качестве живого существа, постоянная, ученая власть, функция которой «заставить жить». Суверенная власть заставляла умереть и позволяла жить. А теперь появляется

власть с функцией регуляции, она, напротив, состоит в том, чтобы заставить жить и позволить умереть.

Я думаю, что конкретным проявлением этой власти может служить известная прогрессирующая дисквалификация смерти, к этой теме часто возвращаются социологи и историки. Все знают, особенно после появления недавних исследований, что величественная общественная ритуализация смерти исчезла или, во всяком случае, постепенно исчезает, начиная с конца XVIII века и до сегодняшнего дня. Исчезает до такой степени, что теперь смерть — переставшая быть одной из впечатляющих церемоний, в которой участвовали индивиды, семья, группа, общество почти целиком, — становится, напротив, тем, что скрывают; она стала явлением в высшей степени частным и постыдным (в конечном счете не столько секс, сколько смерть оказывается сегодня объектом табу). Однако я думаю, что причина, в силу которой действительно смерть становится чем-то скрываемым, не заключается в исчезновении страха смерти или изменении карательных механизмов. Причина заключается в изменении технологий власти. То, что прежде (вплоть до конца XVIII века) придавало смерти ее значительность, диктовало ее столь высокую ритуализацию, было переходом от одной власти к другой. Смерть была переходом от власти суверена нижнего, земного мира к власти суверена другого мира, находящегося по ту сторону земного. Происходил переход от суда одной инстанции к суду другой инстанции, от гражданского или государственного права, от жизни и смерти к праву вечной жизни или вечного проклятия. Переход от одной власти к другой. Смерть была также передачей власти со стороны умирающего тем, кто оставался жить: последние слова, последние наставления, последняя воля, завещание и т. д. Именно все подобные феномены власти были ритуализованы.

Однако теперь, когда власть все менее и менее олицетворяет право заставить умереть, а все более и более оказывается вмешательством с целью заставить жить, определить способ жизни, то, «как» нужно жить начиная с момента, когда власть вмешивается на глобальном уровне с целью улучшить жизнь, контролировать ее случайности, риски, недостатки, смерть как граница жизни становится пределом, границей, концом власти. Она находится вне власти, выпадает из поля ее действия и ста-

новится тем, на что власть могла бы воздействовать только в целом, глобально, статистически. Влияние власти распространяется не на смерть, а на смертность. И поэтому нормально, что смерть теперь попадает в сферу не просто частного, а самого частного в этой частной сфере. Тогда как в условиях суверенного права смерть была тем феноменом, в котором проявлялась самым очевидным образом абсолютная власть суверена, теперь смерть, напротив, олицетворяет момент, когда индивид ускользает от всякой власти, обращается к самому себе и отступает в некотором роде в самую частную область. Власть больше не имеет отношения к смерти. Строго говоря, власть позволяет смерти исчезнуть.

В качестве символа всех этих перемен возьмем смерть Франко, которая представляет событие, все же очень интересное в силу задействованных в ней символических ценностей, так как умирал тот, кто обладал суверенной властью над жизнью и смертью и пользовался ею с известной всем жестокостью самого кровавого из всех диктаторов, кто в течение сорока лет установил абсолютное господство права суверена в отношении жизни и смерти и кто в тот момент, когда приближалась его собственная смерть, обрел некую новую область власти над жизнью, которая представляла не только возможность устроить жизнь, заставить жить, но и в конечном счете заставить индивида жить вне самой смерти. И с помощью власти, которая демонстрирует не просто научную смелость, а выступает, по существу, как политическая биовласть, развившаяся в XIX веке: так успешно заставляли людей жить, что они были вынуждены жить даже тогда, когда биологически они давно уже должны были быть мертвы. Именно таким образом тот, кто обладал абсолютной властью над жизнью и смертью сотен тысяч людей, сам оказался в руках власти, которая так хорошо устраивала жизнь, так мало заботилась о смерти, что даже не заметила, что он был уже мертв и что его заставляли жить после смерти. Я думаю, что столкновение этих двух систем власти, верховной власти над смертью и властью регулирования жизни, символизируется в этом маленьком и веселом событии.

Теперь я бы хотел заняться сравнением между технологией, регулирующей жизнь, и технологией, дисциплинирующей тело, о чем я вам недавно говорил. Итак, с XVIII века

(или, точнее, с конца XVIII века) существуют две технологии власти, которые появились с некоторым временны́м разрывом и взаимно наложились друг на друга. Техника дициплинирования сосредоточена на теле, оказывает воздействие на индивидов, манипулирует телом как центром сил, стремясь сделать тела одновременно полезными и послушными. И в то же время есть технология, которая ориентирована не на тело, а на жизнь; она заново группирует присущие населению массовые действия, стремится контролировать серию случайных событий, могущих произойти в живой массе; стремится контролировать (при случае модифицировать) вероятность, во всяком случае, компенсировать ее последствия. Такая технология стремится не к индивидуальной дрессировке, а к глобальному равновесию, к чему-то вроде гомеостаза: к сохранности целого по отношению к внутренним опасностям. Таким образом, технология дрессировки противоположна технологии безопасности или отлична от нее; дисциплинарная технология отличается от технологии страхования или регулирования; в обоих случаях проявляется технология тела, но в одном используется технология, где тело индивидуализировано как организм, наделенный страстями, а в другом технология имеет дело с телами, помещенными в массовые биологические процессы.

Можно было бы сказать следующее: все происходит так, как если бы власть, для которой суверенитет является модальностью, организующим принципом, оказалась недостаточной для управления экономикой и политическими процессами в обществе, переживающем демографический взрыв и индустриализацию. От старой механики суверенной власти слишком многое ускользало одновременно снизу и сверху, на уровне деталей и на уровне массы. С целью уловить детали осуществилось первое преобразование: приспособление механизмов власти к индивидуальному телу, что сопровождалось надзором и дрессировкой, — это была дисциплина. Конечно, это было приспособление более легкое, самое удобное для реализации. Вот почему оно осуществляется очень рано — с XVII века до начала XVIII века — на локальном уровне, в интуитивных, эмпирических, частичных формах и в ограниченных рамках институтов, таких как школа, госпиталь, казарма, мастерская и т. д. А затем, в конце XVIII века, осуществляется другое преоб-

разование, относящееся к глобальным феноменам, к населению, к биологическим или биосоциологическим процессам, касающимся человеческих масс. Это преобразование, понятно, гораздо более трудное, так как оно требовало создания сложных органов координации и централизации.

Есть, значит, два ряда: ряд тело — организм — дисциплина — институты; и ряд население — биологические процессы — регулирующие* механизмы государства. Один относится к органическому институциональному целому: институциональная органодисциплина, а другой — к биологическому и государственному целому: биорегуляция с помощью государства. Я не хочу доводить до абсолюта противоположность между государством и институтом, потому что формы дисциплины имеют тенденцию выходить за институциональные и локальные рамки, с которыми они первоначально связаны. И они легко принимают государственные масштабы в таких институтах, как полиция например, которая представляет собой одновременно дисциплинарный и государственный аппарат (это доказывает, что дисциплина не всегда институциональна). И точно так же крупные формы глобальной регуляции, которые множились на протяжении XIX века, можно найти как на государственном уровне, так и на более низком уровне негосударственных институтов, вроде медицинских институтов, касс взаимопомощи, страхования. Таково первое замечание, которое я бы хотел сделать.

И эти два типа механизмов, дисциплинарных и регулятивных, принадлежат все же не к одному уровню. Это как раз и позволяет им не исключать друг друга и сочетаться друг с другом. Можно даже сказать, что в большинстве случаев дисциплинарные механизмы власти и ее регулятивные механизмы, направленные на население, сочетаются друг с другом. Один или два примера: возьмите, если угодно, проблему города, или, точнее, этого обдуманного, согласованного пространственного расположения, которое представляет город-модель, искусственный город, город утопической реальности, о нем не только мечтали, но и действительно создавали его в XIX веке. Возьмите рабочий город. Что такое рабочий город, каким он существовал в XIX веке? Очень хорошо видно, что он соединяет, в некотором роде

---

*В рукописи вместо «регулирующие» написано «страхующие».

перпендикулярно друг к другу, дисциплинарные механизмы контроля над телом, над телами с помощью расположения, самого разделения города, с помощью локализации семей (каждая в одном доме) и индивидов (каждый в одной комнате). Весь ряд дисциплинарных механизмов легко обнаружить в рабочем городе: разделение, возможность наблюдения за индивидами, нормализация форм поведения, род спонтанного полицейского контроля, который осуществляется в силу самого пространственного расположения города. А затем можно видеть весь ряд механизмов, которые, напротив, являются регулятивными, направленными на население как таковое и насаждающими формы экономного поведения, связанного, например, с жилищем, с его арендой, а при случае с его покупкой. К регулятивным механизмам принадлежат системы страхования болезни или старости; правила гигиены, которые обеспечивают оптимальную продолжительность жизни населения; давление, оказываемое самой организацией города на сексуальность, а следовательно, на потомство; влияние на гигиену семей; забота о детях; школа; и т. д. Таковы, значит, дисциплинарные и регулятивные механизмы.

Возьмем совсем другую область — или, вернее, отчасти другую; возьмем феномен сексуальности. Почему, сексуальность становится в XIX веке областью столь большого стратегического значения? Я думаю, что если сексуальность стала важна, то это произошло в силу многих причин, но особенно следующей: с одной стороны, сексуальность в качестве телесного поведения подчиняется дисциплинарному контролю над индивидами в форме постоянного надзора (известный, например, контроль за мастурбацией, осуществлявшийся в отношении детей с конца XVIII и вплоть до XX века в семейной, школьной среде и т. д., представляет именно дисциплинарный контроль за сексуальностью); с другой стороны, сексуальность вписывается в масштабные биологические процессы и оказывает на них влияние в силу производительных функций, поскольку указанные биологические процессы соотносятся не с телом индивида, а с множественной единичностью, которая составляет население. Сексуальность — это именно пересечение тел и населения. Поэтому она зависит и от дисциплины, и от регуляции.

Чрезвычайное значение, придаваемое сексуальности медициной в XIX веке, — имеет, я думаю, причину в особом положении сексуальности между организмом и населением, между телом и глобальными феноменами. Отсюда медицинская идея, согласно которой сексуальность, когда она недисциплинирована и нерегулярна, всегда имеет два ряда следствий: одни относятся к телу, к недисциплинированному телу, которое сразу оказывается наказано всеми индивидуальными болезнями, навлекаемыми на него сексуальным развратом. Мастурбирующий ребенок будет болен всю жизнь: это дисциплинарная санкция на уровне тела. Но в то же время развратная, извращенная и т. п. сексуальность влияет на население, так как сексуально развратный человек имеет и искаженную наследственность, передающуюся потомству в течение поколений и поколений, до седьмого поколения, и еще дальше. Такова теория вырождения:[4] сексуальность как средоточие индивидуальных болезней и как причина вырождения представляет именно точку пересечения дисциплины и регуляции, тела и населения. Теперь становится понятно, почему и как техническое знание в виде медицины или, скорее, целостность, состоящая из медицины и гигиены, становится в XIX веке элементом, хотя и не самым важным, но таким, значение которого будет возрастать из-за связи между научными изысканиями в области биологических и органических процессов (то есть как в области населения в целом, так и в области здоровья отдельных индивидов) и действиями самой власти, в результате медицина в определенной мере превращается в политическую технику интервенции. Медицина — это знание-власть, которая соотносится одновременно с телом и с населением, с организмом и с биологическими процессами, и поэтому должна оказывать как дисциплинирующее, так и регулирующие воздействия.

Если перейти на более высший уровень обобщения, то можно сказать, что элементом, который передвигается из области дисциплины в область регулирования, одинаково применяется и к телу, и к населению, позволяет одновременно контролировать дисциплинарный уровень тела и случайные события биологической множественности, этим элементом, переходящим из одной области в другую, является «норма». Норму можно одинаково удачно применять и к телу, желая его дисципли-

нировать, и к населению, желая его регулировать. При таких обстоятельствах общество нормализации нельзя представлять как разрастание дисциплинированного общества, дисциплинарные институты которого умножались бы и в конечном счете покрыли бы все пространство — это только первая и недостаточная интерпретация идеи о нормализующемся обществе. Последнее представляет собой общество, в котором под прямым углом пересекаются дисциплинарная норма и норма регулятивная. Сказать, что в XIX веке власть овладела жизнью, или сказать, что в XIX веке власть взяла на себя ответственность за жизнь, значит именно сказать, что власть начала охватывать все пространство, которое тянется от органического к биологическому, от тела к населению, с помощью двойной технологии, с одной стороны, дисциплины, с другой — регулирования.

Итак, мы существуем в условиях власти, которая берет на себя ответственность и за тело, и за жизнь, или, если угодно, берст в целом ответственность за жизнь с обоими ее полюсами — телом и населением. Можно тотчас отметить парадоксы, проявляющиеся на самом рубеже существования биовласти. Парадоксы обнаруживаются, например, на уровне власти, обладающей атомной бомбой, поскольку такая власть заключается не просто в возможности убивать в соответствии с правом, данным всякому суверену, миллионы и сотни миллионов людей (в конечном счете это традиция). Но власть, в ведении которой есть атомная бомба, в современных политических условиях представляет род парадокса, который трудно, если не совершенно невозможно обойти, он состоит в том, что создание и использование такой бомбы приводит в действие суверенную власть, которая убивает, при этом власть убивает саму жизнь, то есть власть осуществляется таким образом, что она способна уничтожить жизнь. И, следовательно, уничтожить себя как власть, обеспечивающую жизнь. Или она суверенна и использует атомную бомбу, но таким путем она сразу перестает быть биовластью, властью, обеспечивающей жизнь, какой она стала начиная с XIX века. Или возникает другая, противоположная крайность, преобладание не права суверена над биовластью, а преобладание биовласти над правом суверена. Преобладание биовласти проявляется, когда существует технически

и политически данная человеку возможность не только упорядочивать жизнь, но заставить жизнь множиться, создавать живое, создавать монстров, создавать — в крайнем случае — неконтролируемые и чрезвычайно разрушительные вирусы. Чудовищное увеличение биовласти, в противоположность тому, что я только что говорил об опирающейся на атомную мощь власти, выходит за рамки всей человеческой суверенности.

Извините меня за эти длинные рассуждения относительно биовласти, но я думаю, что именно на этой основе вновь можно обрести проблему, которую я пытался поставить.

Итак, возникает вопрос, как при такой технологии власти, которая имеет жизнь своим объектом и целью (что, как мне кажется, является одной из фундаментальных особенностей технологии власти с XIX века), может осуществляться право убивать и функция убийства, если правда, что суверенная власть все более и более отступает, а вперед, напротив, все более и более выдвигается дисциплинирующая или регулирующая биовласть? Как такая власть может убивать, если правда, что вопрос, по существу, состоит в том, чтобы повысить значимость жизни, увеличить ее продолжительность, умножить возможности, предотвратить несчастные случаи или компенсировать их ущерб? Как в этих условиях возможно для политической власти убивать, требовать смерти, нуждаться в смерти, заставлять убивать, отдавать приказ об убийстве, подвергать смерти не только врагов, но и собственных граждан? Как эта власть может позволить умереть, если ее цель, по сути дела, заставить жить? Как осуществлять власть смерти, исполнять функцию смерти в рамках политической системы, ориентированной на биовласть?

Тут, я думаю, вмешивается расизм. Я вовсе не хочу сказать, что расизм был изобретен в эту эпоху. Он существовал с давних времен. Но я думаю, что тогда он функционировал в другой области. Расизм оказался вписан в государственные механизмы с появлением биовласти. Именно с этого момента расизм становится основным механизмом власти, какой она предстает в современных государствах, что приводит к невозможности функционирования современного государства без обращения в определенный момент, в определенных пределах и в определенных условиях к расизму.

Действительно, что такое расизм? Прежде всего способ ввести наконец в ту область жизни, за которую власть взяла на себя ответственность, некую купюру: купюру между тем, что́ должно жить, и тем, что́ должно умереть. В биологическом *континууме* человеческого рода появление рас, их различение и иерархия, оценка одних рас как высших, а других как низших становится средством фрагментации биологической области, ответственность за которую взяла на себя власть; средством сместить внутри населения одни группы по отношению к другим. Короче, средством установить разрывы биологического типа внутри области, которая представляется именно биологической областью. Это должно позволить власти воспринимать население как смесь рас или, точнее, разделить род, за который оно взяло на себя ответственность, на подгруппы, которые именно и будут расами. Такова первая функция расизма, функция фрагментации, осуществление разрывов внутри того биологического *континуума*, к которому обращается биовласть.

Вторая функция расизма заключается в том, чтобы установить точное соотношение такого типа: «чем больше ты будешь убивать, тем больше ты заставишь жить» или «чем большему количеству людей ты позволишь умереть, тем больше, в силу самого этого факта, ты будешь жить». Я сказал бы, что это соотношение («если ты хочешь жить, нужно, чтобы ты заставлял умирать, нужно, чтобы ты мог убивать») в конечном счете изобрел не расизм и не современное государство. Это тезис военных: «чтобы выжить, нужно убивать своих врагов». Но расизм действительно заставляет функционировать, реализовать в жизни этот тезис — «если ты хочешь жить, нужно, чтобы другой умер» — совершенно новым и в точности совместимым с функционированием биовласти способом. С одной стороны, действительно, расизм может позволить установить между моей жизнью и смертью другого соотношение, которое не является соотношением военного типа, но соотношением биологического типа: «чем больше низшие породы будут исчезать, чем больше анормальных индивидов будет исключено, тем меньше вырожденцев будет существовать в роду, тем больше я — не в качестве индивида, а в качестве рода, — буду жить, буду сильным, буду бодрым, смогу размножаться». Смерть

другого это не просто моя жизнь в смысле моей личной безопасности; смерть другого, смерть дурной, низшей (или выродившейся, или анормальной) расы должна сделать жизнь вообще более здоровой; более здоровой и более чистой.

Итак, соотношение не милитаризованное, военное, или политическое, а биологическое. И если механизм может действовать, то происходит это потому, что враги, которых нужно уничтожить, не являются противниками в политическом смысле слова; это внешние или внутренние опасности, грозящие существованию населения. Иначе говоря, умерщвление, императив смерти в системе биовласти приемлем лишь постольку, поскольку он ориентирован не на победу над политическими противниками, а на исключение биологической опасности и непосредственно с этим связанным укреплением самого рода или расы. Раса, расизм — это условие приемлемости умерщвления в обществе, в котором осуществляется нормализация. Там, где существует подобное общество, где имеется власть, которая, хотя бы на поверхности, в первой степени является биовластью, там расизм неизбежен как условие для того, чтобы предать кого-то смерти, чтобы предать смерти других. Умерщвляющая функция государства может быть обеспечена только тогда, когда государство функционирует по способу биовласти, через расизм.

Понятна вследствие этого важность — я хотел бы сказать жизненная важность — расизма для такой власти: это условие, при котором можно реализовать право на убийство. Если нормализующая власть хочет иметь старое право суверена на убийство, нужно, чтобы она прошла через расизм. А если, наоборот, суверенная власть, то есть власть, обладающая правом распоряжаться жизнью и смертью, хочет функционировать с помощью инструментов, механизмов, технологии нормализации, нужно, чтобы она также прошла через расизм. Понятно, под умерщвлением я не имею в виду просто прямое убийство, но все, что может убить косвенно: факт приговорения к смерти, увеличение для некоторых риска смерти или просто политическая смерть, изгнание, неприятие и т. д.

Исходя из этого можно, я думаю, понять некоторые феномены. Прежде всего, связь, которая быстро — я бы сказал мгновенно — устанавливается между биологической

теорией XIX века и дискурсом власти. По сути, эволюционизм, понятый в широком смысле — то есть не только сама теория Дарвина, а целостность, связь его понятий (таких как иерархия видов на общем древе эволюции, борьба между видами за выживание, отбор, который исключает наименее приспособленных) естественным образом в XIX веке становится за несколько лет не просто способом пересказа в биологических терминах политического дискурса, не просто способом скрыть политический дискурс за научным облачением, но действительным способом осмысления отношений колонизации, необходимости войн, преступности, феноменов безумия и болезни разума, истории обществ с их различными классами и т. д. Иначе говоря, каждый раз, когда происходило умерщвление, шла борьба, появлялся риск смерти, осмысление всего этого вынуждено было облекаться в форму эволюционизма.

Теперь понятно, почему расизм развивается в современных обществах, где царит биовласть; понятно, почему расизм развивается в некоторых особенных точках, где с необходимостью оказывается затребовано право на смерть. Расизм начинает развиваться *primo* вместе с колонизацией, то есть с колонизаторским геноцидом. Когда нужно убивать людей, убивать населе-

нис, цивилизации, то как можно бы было это сделать, если используется биовласть? Только через темы эволюционизма, через расизм.

Война. Как можно не только навязать войну своим противникам, но и подвергнуть войне собственных граждан, заставить их убивать миллионами (как это действительно происходило начиная с XIX века, со второй его половины), если не использовать как раз тему расизма? Отныне война ставит две цели: не просто разрушить политического противника, но уничтожить противоположную расу, тот род биологической опасности, который представляют для нашей расы те, кто находится рядом с ней. Конечно, это в некотором роде только биологическая экстраполяция темы политического врага. Но кроме того война — и это абсолютно новое — появляется в конце XIX века не просто как способ укрепить собственную расу за счет уничтожения враждебной расы (в соответствии с темами отбора и борьбы за жизнь), но также как способ возродить свою собственную расу. Чем более многочисленны будут те из нас, кто умрет, тем чище будет наша раса.

Во всяком случае, с конца XIX века мы имеем новый военный расизм, который стал, я думаю, необходимым в силу того, что у биовласти не было другой возможности, начиная войну, сочетать и волю к разрушению противника, и риск убийства именно тех, жизнь которых она должна была, по определению, оберегать, устраивать, численно умножать. Можно было бы сказать то же самое в отношении преступности. Если преступность стала осмысливаться в терминах расизма, то это произошло начиная с момента, когда нужно было с помощью механизма биовласти умертвить преступника или выслать его. То же относится к безумию, к различным аномалиям.

Вообще расизм, как я думаю, обеспечивает функцию смерти в системе биовласти в соответствии с принципом, что смерть других означает биологическое усиление себя самого в качестве члена расы или населения, в качестве элемента в унитарном и живом множестве. Можно видеть, что здесь мы оказываемся в основном очень далеко от простого традиционного расизма, который основывается на презрении или ненависти одних рас в отношении других. Мы также очень далеки от расизма, сводящегося к типу идеологической манипуляции, с помощью которой государство или класс пытались бы обернуть против мифического противника направленную на них самих или деформирующую общество враждебность. Я думаю, что современный расизм имеет гораздо более глубокие корни, чем старый традиционный расизм, гораздо более глубокие, чем новая идеология, — это совсем другое. Специфичность современного расизма не связана с ментальностями, с идеологиями, с ложью власти. Она связана с техникой, с технологией власти. Поэтому мы оказываемся гораздо дальше войны рас и соответствующего понимания истории, мы оказываемся внутри механизма, который позволяет биовласти осуществляться. Таким образом, расизм связан с функционированием государства, вынужденного использовать феномен расы, политику устранения рас и очищения расы с целью реализации своей суверенной власти. Существование рядом или, скорее, функционирование через биовласть старой суверенной власти, обладающей правом приговора к смерти, означает функционирование, утверждение и активизацию расизма. Именно здесь он эффективно укореняется.

В таком случае понятно, как и почему в этих условиях те государства, которые в самой большой степени способны убивать, оказываются в то же время неизбежно расистскими. Конечно, здесь нужно рассмотреть пример нацизма. В конечном счете нацизм на деле демонстрирует развитие вплоть до пароксизма новых механизмов власти, которые утверждались начиная с XVIII века. Нет, конечно, государства, использовавшего дисциплинарные механизмы более, чем нацистский режим; и также нет государства, в котором биологические регуляции осуществлялись бы более жестко и настойчиво. Дисциплинарная власть, биовласть: все это пройдено нацистским обществом, поддержано им (обществом, принявшим на себя ответственность за биологическое, рождение, наследственность; принявшим также ответственность за болезни, несчастные случаи). Нет общества одновременно более охваченного дисциплиной и более охранительного, чем общество, которое создали или во всяком случае спроектировали нацисты. Контроль над случайностями, присущими биологическому процессу, был одной из непосредственных целей режима.

Но сквозь это в высшей степени охранительное, успокаивающее, в высшей степени регулирующее и дисциплинирующее общество проступал полный разгул власти, способной убивать, то есть старой суверенной власти убивать. Власть убивать, пронизывающая весь организм нацистского общества, проявляется прежде всего потому, что она, власть над жизнью и смертью, дана не просто государству, а определенному ряду индивидов, значительному количеству людей (будь то СА, СС и т. д.). В конечном счете в нацистском государстве все имеют право на жизнь и смерть соседа, хотя бы посредством доноса, который позволяет действительно уничтожить или заставить уничтожить того, кто рядом с вами.

Итак, весь общественный организм испытывал разгул власти, суверенной и несущей убийство. Равным образом в силу того факта, что война явно выдвинута как политическая цель — и в основном не просто как политическая цель для достижения определенного числа возможностей, а как род высшей и решающей фазы всех политических процессов, — политика должна привести к войне и война должна стать конечной и решающей фазой, увенчивающей целое. Следовательно, целью нацистского

режима не было простое уничтожение других рас. Уничтожение других рас представляет одну из сторон проекта, другая сторона заключалась в том, чтобы поставить собственную расу в ситуацию абсолютной опасности и всеобщей смерти. Риск смерти, открытость для полного уничтожения составляет одну из основных обязанностей нацистской дисциплины и одну из существенных политических целей. Нужно дойти до ситуации, когда население все целиком будет подвергнуто смерти. Единственно всеобщая подставленность населения смерти помогла бы эффективно его образовать в качестве высшей расы и определенно возродить ее в противовес расам, которые будут полностью уничтожены или окончательно порабощены.

Нацистское общество представляет собой явление все же экстраординарное: это общество, в котором биовласть утвердилась в высшей степени, и в то же время прочно существовало право суверена убивать. В нем в точности совпадали два механизма, классический, архаический механизм, который дал государству право на жизнь и смерть его граждан, и новый механизм, образовавшийся в связи с дисциплиной, регуляцией, короче, новый механизм биовласти. Так что можно сказать следующее: в нацистском государстве сосуществуют рядом область жизни, которую оно устраивает, поддерживает, гарантирует, биологически культивирует, и в то же время суверенное право убивать каждого — не только других, но и своих. Нацисты реализовали единство развитой биовласти и одновременно абсолютной и пронизывающей все общество диктатуры, предполагающей чудовищное увеличение права убивать и предавать смерти. Это государство абсолютно расистское, абсолютно смертоносное и абсолютно самоубийственное. Государство расизма, государство-убийца, государство-самоубийца. Все это накладывается друг на друга и завершается, конечно, с одной стороны, «окончательным решением» 1942—1943 гг. (в силу которого захотели уничтожить, через евреев, все другие расы, символом и проявлением которых стали евреи) и, с другой — телеграммой за № 71 в апреле 1945 г., в которой Гитлер отдал приказ разрушить условия жизни самого немецкого народа.[5]

Окончательное решение для всех рас абсолютное самоубийство немецкой расы. Именно к этому ведет механика,

встроенная в функционирование современного государства. Конечно, один нацизм развил до пароксизма связь между суверенным правом убивать и механизмами биовласти. Но такая же связь на самом деле существует в деятельности всех государств. Только во всех современных капиталистических государствах? Нет, конечно. Я думаю, что на самом деле — но для этого требовалось бы другое доказательство — социалистическое государство, социализм совершенно так же отмечен расизмом, как и капиталистическое государство. Наряду с государственным расизмом, сформировавшимся в условиях, о которых я вам говорил, конституировался социал-расизм, появление которого произошло даже до образования социалистических государств. Социализм с момента своего возникновения в XIX веке был расизмом. И будь это Фурье[6] в начале века или анархисты в конце века, или другие формы социализма, в них всегда можно увидеть составляющую в виде расизма.

Здесь мне очень трудно об этом говорить, поскольку я выдвигаю ошеломляющее утверждение. Чтобы доказать его, нужен был бы (что я и хотел сделать) другой цикл лекций в конце. Во всяком случае, я хотел бы просто сказать следующее: мне вообще кажется — здесь это звучит немного дерзко, — что социализм, если он не выдвигает вперед экономические или юридические проблемы о типе собственности или о способе производства, если соответственно проблема механики власти, механизмов власти им не ставится и не анализируется, — социализм, значит, не может избежать того, чтобы в свою очередь не использовать, не применять те же самые механизмы власти, которые создавались капиталистическим или индустриальным государством. Во всяком случае, достоверно одно: тема биовласти, развитая в конце XVIII и в течение XIX века, не только не критиковалась социализмом, но фактически была перенята им, развита, заново истолкована, изменена в некоторых пунктах, но она абсолютно им не пересматривалась в ее основах и способах функционирования. В конечном счете идея, что общество или государство, или то, что должно заменить собой государство, имеют, по существу, функцию взять жизнь под свою ответственность, обустроить ее, умножить, компенсировать случайности, обозревать ее и определять биологические шансы и возможности, мне кажется, была воспринята социа-

лизмом такой, какая она есть. С теми вытекающими последствиями, по которым социалистическое государство должно практиковать право убивать или устранять, или право позорить. И совершенно естественно, что именно таким образом вновь обнаруживается расизм — не собственно этнический расизм, а расизм эволюционистского типа, расизм биологический, — полностью проявляющийся в социалистических государствах (типа Советского Союза) по отношению к психически больным, преступникам, политическим противникам и т. д. Вот то, что относится к государству.

Не менее интересным (эта проблема давно меня занимала) мне кажется, повторю еще раз, что такое же функционирование расизма обнаруживается не просто на уровне социалистического государства, но и в различных формах социалистического анализа или социалистического проекта на протяжении всего XIX века, и это, по-моему, связано со следующим: всякий раз, когда социализм, по существу, настаивал особенно на изменении экономических условий как принципе изменения и перехода от капиталистического государства к социалистическому (иначе говоря, каждый раз, когда он искал принцип изменения на уровне экономических процессов), он не нуждался, во всяком случае непосредственно, в расизме. Зато во всех случаях, когда социализм был вынужден проводить идею борьбы, борьбы против врага, уничтожения противника внутри самого капиталистического общества; когда речь шла, следовательно, об осмыслении физического столкновения с враждебным классом в капиталистическом обществе, расизм снова возникал, потому что это был единственный способ для социалистической мысли, которая была все же тесно связана с темами биовласти, указать причину для уничтожения противника. Когда речь идет просто о том, чтобы уничтожить его экономически, отнять у него его привилегии, нет потребности в расизме. Но когда речь заходит о том, чтобы оказаться с ним один на один и биться с ним физически, рисковать своей собственной жизнью и стремиться его убить, тогда есть нужда в расизме.

Следовательно, каждый раз, когда встает вопрос о социализме, о его формах и тех его моментах, в которых акцентируется проблема борьбы, проявляется его расизм. Именно поэтому наиболее расистскими формами социализма были, конечно,

бланкизм, [Парижская] коммуна, анархизм, они были расистскими в гораздо большей степени, чем социал-демократия, чем Второй Интернационал и сам марксизм. Социалистический расизм в Европе исчез только в конце XIX века, с одной стороны, в силу господства социал-демократии (и, нужно четко это сказать, в силу связанного с этой социал-демократией реформизма), а с другой — в результате некоторых процессов, вроде дела Дрейфуса во Франции. Но до дела Дрейфуса все социалисты, в конце концов социалисты в подавляющем большинстве, были основательными расистами. И я думаю, что они были расистами в той мере, в какой (и я на этом закончу) они не пересмотрели — или, если угодно, приняли как само собой разумеющееся — механизмы биовласти, которые установились в результате развития общества и государства начиная с XVIII века. Как можно заставить функционировать биовласть и в то же время реализовать право на войну, на убийство и на предание смерти, если не использовать расизм? Такой была проблема, и я думаю, что она всегда будет существовать.

Примечания

[1] По вопросу о дисциплинарной технологии см.: Надзирать и наказывать. М., 1999.

[2] По всем этим вопросам см. Курс в Коллеж де Франс, 1973—1974 гг.: будет издан под названием «Le Pouvoir psychiatrique».

[3] М. Фуко вернется к вопросу о всех этих механизмах особенно в Курсе в Коллеж де Франс, 1977—1978 гг. «Sécurité, Territoire et Population» в курсе 1978—1979 гг.: «Naissauce de la biopolitique».

[4] М. Фуко имеет здесь в виду теорию, разработанную во Франции в середине XIX века психиатрами, и особенно Б.-А. Морелем (*Morel B.-A.* Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humaine. Paris, 1857; Traité des maladies mentales. Paris, 1870), В. Маньяном (*Magnan V.* Leçons cliniques sur les maladies mentales. Paris, 1893) и М. Легре и В. Маньяном (*Legrain M., Magnan V.* Les Dégénérés, etat mental et syndromes épisodiques. Paris, 1895). Это теория вырождения, в основе которой лежит идея о так называемых «наследственных» дефектах, была ядром медицинского знания о безумии и анормальности во второй половине XIX века. Очень скоро, взятая на вооружение легальной медициной, она имела значительное

влияние на доктрины и практику евгеники и оказывала влияние на всю литературу по криминологии и антропологии.

[5] 19 марта Гитлер отдал распоряжения о разрушении материально-технической инфраструктуры и индустриальных объектов в Германии. Эти распоряжения были выражены в двух декретах от 30 марта и от 7 апреля. Об этих декретах см.: *Speer A.* Erinnerungen. Berlin. Propyläen-Verlag, 1969 (французский перевод: Au cœur du Troisième Reich. Paris: Fayard, 1971). Фуко, несомненно, читал работу *Fest J.* Hitler. Frankfurt / M.; Berlin; Wien: Verlag Ullstein, 1973 (французский перевод: Paris: Gallimard, 1973).

[6] Из работ Ш. Фурье особенно в этом отношении см.: Theorie des quatre mouvementset des distenees générales. Zyou, 1808 (русское издание: Теория четырех движений и общих судеб. М., 1939); Le nouveaen moude industriel et sociétaire. Paris, 1829 (русское издание: Новый индустриальный и общественный мир. М., 1939); La Fausse Industrie morcelée, répugnante, mensongère. Paris, 1836, 2 vol.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА*

*Опубликовано в «Ежегоднике Коллеж де Франс», 76-й год, под названием «Histoire des systèmes de pensée 1975—1976, 1976», с. 361—366. Вновь опубликовано в: Dits et Écrits, 1954—1988, изд. Д. Дефером и Ф. Эвальдом, в сотрудничестве с Ж. Лагранжем, Париж: Галлимар (Библиотека гуманитарных наук). 1994, 4 т.; см. III, № 187, с. 124—130.

Для того чтобы провести конкретный анализ отношений власти, нужно отказаться от юридической теории суверенитета. Последняя фактически рассматривает индивида в качестве субъекта естественных прав или первоначальной власти; ее целью является познание идеальной формы генезиса государства; наконец, она видит в законе основное проявление власти. Нужно попытаться изучить власть, исходя не из первичных носителей отношения, а из самого отношения, поскольку именно оно определяет элементы, к которым относится: вместо того чтобы спрашивать у предполагаемых субъектов, от чего в себе самих или в своей власти они могли бы отказаться, чтобы позволить себя поработить, нужно исследовать, каким образом отношения порабощения могут фабриковать субъектов. Точно так же нужно прежде всего исследовать не единственную форму, не какой-то центральный пункт, из которого произошли бы, как его следствие или результат развития, все формы власти, а, скорее, нужно оценить их многообразие, различия, их специфичность и обратимость: нужно, значит, их изучить как проявления сил, которые взаимоперекрещиваются, отсылают друг к другу, совпадают друг с другом или, наоборот, противостоят друг другу и стремятся друг друга нейтрализовать. Наконец, вместо того чтобы усматривать в законе единственно

проявление власти, нужно скорее попытаться выявить приводимые ею в действие различные формы техники принуждения.

Если нужно избежать проведения анализа власти по схеме, предложенной юридической трактовкой суверенитета, если нужно мыслить власть в терминах силовых отношений, то нужно ли при этом ее истолковывать как общую форму войны? Может ли война служить точкой отсчета при анализе властных отношений?

Этот вопрос предполагает и другие:

— должна ли война рассматриваться как первичное и основное состояние, от которого производны все феномены господства, социальной дифференциации и иерархизации?

— заключают ли в себе в конечном счете отношения антагонизма процессы столкновения и борьбы между индивидами, группами или классами, закономерности, характерные для войны?

— можно ли для анализа отношений власти создать необходимый и удовлетворительный метод с помощью понятий, производных от стратегии или тактики?

— воздействуют ли в какой-то степени, прямо или косвенно, на ядро политических институтов военные институты, вообще методы ведения войны?

— но прежде всего нужно бы поставить следующий вопрос: с какого времени и каким образом пришли к выводу, что именно война действует внутри властных отношений, что непрерывная борьба скрывается за миром и что гражданская область является в основном областью сражений?

Именно последний вопрос рассматривался в курсе лекций этого года. Каким образом увидели войну в феномене мира? Кто искал в грохоте и сумятице войны, в грязи сражений принцип понимания порядка, институтов и истории? Кто первый пришел к выводу, что политика это война, продолженная другими средствами?

*

Парадокс обнаруживается с первого взгляда. Кажется, что подобно развитию государств с начала средневековья практика и институты войны претерпевают видимые изменения. С одной стороны, они сосредоточивались в руках центральной власти, которая одна имела право на войну и обладала средствами войны; в силу того же факта они постепенно отходили на второй план в отношениях человека к человеку, группы к группе и становились в ходе эволюции все более принадлежностью государства. С другой стороны, война вследствие этого становится в профессиональном и техническом отношениях уделом военного аппарата, тщательно подобранного и контролируемого. Одним словом, насквозь пронизанное военными отношениями общество мало-помалу заменяется государством и его военными институтами.

Однако едва закончилась эта трансформация, как появился определенный тип дискурса об отношениях общества и войны. Сформировался дискурс об отношениях общества и войны. Историко-политический дискурс — весьма отличный от философско-юридического дискурса, ориентированного на проблему суверенитета, — делает из войны стабильную основу всех властных институтов. Этот дискурс появился несколько позже окончания религиозных войн и в начале английских великих политических битв XVII века. В соответствии с этим дискурсом, который в Англии был выражен Коуком, Лилберном, во Франции Буленвилье и позже дю Бюа-Нансэ, именно война предшествует рождению государств: но не идеальная война — которую философы находят в естественном состоянии, — а реальные войны и настоящие сражения; законы рождаются из экспедиций, завоеваний и объятых пламенем городов; но война также продолжает бушевать внутри механизмов власти, или по меньшей мере представляет собой скрытый двигатель институтов, законов и порядка. Позади забвения, иллюзий и лжи, которые заставляют нас верить в естественную необходимость или в функциональную неизбежность порядка,

нужно вновь обнаружить войну: она зашифрована в мире. Она постоянно и полностью разделяет общество; она помещаст каждого из нас в тот или другой лагерь. И недостаточно обнаружить в войне принцип объяснения; нужно ее оживить, заставить ее сбросить маскирующие и скрывающие ее формы, в которых она незаметно для нас продолжастся, и привести ее к решающему сражению, к которому мы должны подготовиться, если хотим быть победителями.

Через эту тематику, охарактеризованную еще очень смутно, можно понять значение рассматриваемой формы анализа.

1. В этом дискурсе высказывается субъект, который не может занять позицию юриста или философа, то есть позицию универсального субъекта. В той всеобщей борьбе, о которой он говорит, он принужден находиться с той или с другой стороны; он присутствует в сражении, имеет противников, борется за победу. Конечно, он стремится заставить ценить право; но это его право — особое право, отмеченное печатью завоевания, господства, это право, освященное древностью: право расы, право победоносных нашествий или захватов, закрепившихся на тысячелетия. И если он говорит об истине, то это перспективная и стратегическая истина, которая позволяет ему одержать победу. Значит, существует здесь историко-политический дискурс, претендующий на истину и право, но сам явно исключающий философско-юридическую универсальность. Его роль не та, о какой мечтали законодатели и философы от Солона до Канта: встать между противниками, в центре схватки или над ней, принудить к перемирию, основать примиряющий порядок. Речь идет о том, чтобы установить право, зараженное асимметрией и функционирующее как привилегия, которую нужно удержать или заново установить; речь идет о том, чтобы заставить ценить истину, действующую в качестве оружия. Для субъекта подобного дискурса универсальная истина и всеобщее право представляют собой иллюзии или ловушки.

2. Вместе с тем речь идет о дискурсе, в котором разрушаются традиционные схемы мышления. Он предполагает объяснение снизу, объяснение не с помощью самого простого, элементарного и ясного, а, наоборот, объяснение через самое смутное, темное, неупорядоченное, наиболее подверженное случайности. Понимание общественных отношений следует искать в смеси насилия, страстей, ненависти, реванша, а также в мелких обстоятельствах, которые приводят к поражениям и победам. Немногословный и темный бог сражений должен осветить долгие дни порядка, труда и мира. Ярость должна объяснить гармонию. Именно таким образом в качестве основы истории и права будут рассматривать грубые факты (физическую мощь, силу, черты характера), случайности (поражения, победы, успех или неуспех заговоров, восстания или союзы). И именно только над этим переплетением может утвердиться и вырасти рациональность, рациональность расчетов и стратегий — рациональность, которая, по мере того как она развивается, становится все более и более хрупкой, все более ничтожной, все более связанной с иллюзией, химерой, мистификацией. Здесь, значит, имеется нечто совершенно противоположное традиционным анализам, которые стремятся обнаружить за областью поверхностных и случайных явлений, за явной силой тел и страстей постоянную фундаментальную рациональность, сущностно связанную со справедливостью и благом.

3. Этот тип дискурса развивается целиком в историческом измерении. Он не трактует историю, несправедливые формы правления, злоупотребления и насилия с помощью идеального принципа разума или закона; напротив, он стремится обнаружить скрытое за институтами и законодательствами забытое прошлое реальных форм борьбы, побед или замаскированных поражений, обнаружить спёкшуюся кровь в кодексах законов. Он соотносится с бесконечным движением истории. Но он в то же время может опереться на традиционные мифические формы (утраченная эпоха великих предков, неизбежность но-

вых времен и тысячелетнего реванша, появление нового королевства, которое сотрет следы прежних поражений): такой дискурс способен одинаково хорошо выразить и ностальгию уходящей аристократии, и горячность народного реваншизма.

В целом, вследствие противоположности философско-юридическому дискурсу, основанному на проблеме суверенитета и закона, этот дискурс, раскрывающий постоянство войны в обществе, является по существу историко-политическим дискурсом, истина в нем фигурирует в качестве оружия для победы определенной стороны, это дискурс мрачно критический и одновременно в большой степени мифический.

*

Курс этого года был посвящен появлению отмеченной формы анализа: вопросу о том, как же война (и ее различные аспекты: нашествие, сражение, завоевание, отношение победителей к побежденным, грабеж и узурпация, восстания) использовалась в качестве отправной точки анализа истории и вообще социальных отношений?

1) Нужно прежде всего устранить некоторые ошибочные аналогии. Это относится прежде всего к Гоббсу. То, что Гоббс называет войной всех против всех, ни в коем случае не является реальной и исторической войной, а представляет игру воображения, с помощью которой каждый взвешивает опасность, грозящую ему со стороны другого, оценивает волю другого к борьбе и измеряет, каким может быть для него риск в случае, если он обратится к силе. Суверенитет — идет ли речь об «установленном государстве» или о «приобретенном государстве» — устанавливается вовсе не в силу господства военного происхождения, а, напротив, в силу расчета, который позволяет каждому избежать войны. У Гоббса именно не-война основывает государство и придает ему его форму.

2) История войн стала рассматриваться в качестве матрицы государства, вероятно, в XVI веке, в конце религиозных войн

(во Франции, например, Хотманом). Но указанный тип анализа особенно стал развиваться в XVII веке. Прежде всего в Англии, в среде парламентской оппозиции и у пуритан возникает идея, что в XI веке английское общество было завоевано: монархия и аристократия с их собственными институтами происходили от нормандцев, тогда как саксы сохраняли якобы, не без труда, некоторую часть своих первоначальных свобод. Основываясь на идее военного господства, английские историки типа Коука или Селдена восстанавливают главные эпизоды истории Англии; каждый из эпизодов был проанализирован то ли как следствие, то ли как оживление исторически первого состояния войны между двумя враждебными расами, отличающимися друг от друга своими институтами и интересами. Эти историки были современниками, свидетелями и иногда главными действующими лицами революции, которая, с их точки зрения, оказывалась последним сражением старой войны и реваншем за поражение в ней.

Анализ такого же типа появляется во Франции, но гораздо позже, и особенно в аристократической среде конца царствования Людовика XIV. Буленвилье придает ему наиболее строгую форму; но на этот раз история рассказывается и права требуются от имени победителя; французская аристократия, приписывая себе германское происхождение, присваивает право, основанное на завоевании, а значит, верховную собственность на все земли королевства и абсолютное господство над всеми его обитателями, галлами или римлянами; но она приписывает себе также прерогативы в отношении королевской власти, которая изначально была создана только с ее согласия и должна всегда сохраняться в установленных тогда границах. Написанная таким образом история не является больше, как это было в Англии, историей постоянного столкновения побежденных и победителей, в качестве основной формы которого выступают восстание и вырванные им уступки, во Франции культивируется история узурпаций или измен короля в отношении знати, от которой он и происходит, история его противоестественного сговора с буржуазией галло-римского

происхождения. Такая схема анализа, воспринятая Фрере и особенно дю Бюа-Нансэ, была мишенью острой полемики и поводом для значительных исторических исследований вплоть до революции.

Главное заключается в том, что принцип исторического анализа искали в области дуализма рас и расовой войны. Именно исходя из этого и через посредство работ Огюстена и Амедея Тьерри в XIX веке развились два типа расшифровки истории: один из них исходит из классовой борьбы, другой — из столкновения биологического характера.

КОНТЕКСТ КУРСА

Данный курс Фуко, прочитанный им с 7 января до 17 марта 1976 г., то есть между выходом в свет «Surveiller et Punir»* (февраль 1975 г.) и «La Volonté de savoir»** (октябрь 1976 г.), занимает в мысли и исследованиях Фуко особое, можно бы даже сказать стратегическое, положение: это своего рода пауза, момент остановки и, конечно, поворота, когда он оценивает пройденный путь и намечает пути будущих исслсдований.

В начале курса «Нужно защищать общество» Фуко в форме подведения итога и разъяснения дает общий набросок «дисциплинарной» власти — власти, которая применяется особенно к телам с помощью техники надзора, нормализующих санкций, паноптической организации карательных институтов, и в конце курса очерчивает контур того, что он называет «биовластью» — властью, которая применяется к населению в целом, к жизни и к живым. Именно в попытке установить генеалогию этой власти Фуко задается затем вопросом о «системе правления», о власти, которая реализуется с конца XVI века через механизмы и технологии государства и «полиции». Вопросу о дисциплине Фуко посвятил лекции 1972—1973 гг. («La Société punitive»), 1973—1974 гг. («Le pouvoir psychiatrique»), 1974—1975 гг. («Les anormaux») и, наконец, работу «Surveiller et Punir»; правительственной власти и биовласти он посвятил первый том «Истории сексуальности» («La Volonté de savoir», декабрь 1976 г.) и затем лекции 1977—1978 гг. («Securité Territoire et Population»), 1978—1979 гг. («Naissance de la biopolitique») и начало курса 1979—1980 гг. («Du gouvernement des vivants»).

---

* В русском издании «Надзирать и показывать». М., 1999 (*прим. перев.*).

** В русском издании «Воля к знанию». В книге «Воля к истине». М., 1996 (*прим. перев.*).

Вопрос о двух типах власти, об их специфичности и связи, будучи центральным в данном курсе — вместе с вопросом о войне как отправной точке анализа властных отношений и с вопросом о рождении историко-политического дискурса борьбы рас, — оказался удобным для того, чтобы попытаться осветить условия его возникновения, напомнить о некоторых положениях, которые, как нам кажется, дали место недоразумениям, ошибкам, ложным интерпретациям, иногда даже фальсификациям. Это требует рассмотрения вопросов, с одной стороны, о рождении проблематики власти у Фуко; а с другой — о его трактовке функционирования механизмов и технологий власти в либеральных обществах и при тоталитаризме, о его «диалоге» с Марксом и Фрейдом по поводу процессов производства и сексуальности и, наконец, о формах сопротивления. Мы будем использовать прямые свидетельства, особенно извлеченные из текстов, собранных в «Dits et Écrits».[1] Тем не менее нужно подчеркнуть, что полного материала по вопросу о власти не будет до конца публикации курсов и что, значит, нужно будет подождать, прежде чем пытаться подвести определенный итог.

Фуко никогда не посвящал книгу власти. В нескольких местах он наметил ее основные очертания; он неутомимо высказывался; он не скупился на предупреждения и уточнения. В многочисленных исторических анализах, которые он сумел проделать в отношении приютов, безумия, медицины, тюрем, сексуальности, «полиции», он изучал, скорее, ее функционирование, ее воздействия, то, «как» она реализуется. Вопрос о власти раскрывается во всех упомянутых анализах, он составляет с ними единое целое, он имманентен им, и вследствие этого он от них неотделим. Поскольку проблематика обогащалась под давлением обстоятельств и в ходе внутреннего ее развития, то тщетно было бы стремиться ее любой ценой упорядочить, представить как безупречную линейную непрерывность. Скорее, каждый раз речь идет о новом рассмотрении: в силу свойственной ему манеры Фуко до конца жизни не переставал «перечитывать», заново пересматривать и интерпретировать свои старые работы в свете последних, осуществляя своего рода непрерыв-

---

[1] Аббревиатура ссылок на «Dits et Écrits» = DE, том, номер статьи: страница(ы).

ную реактулизацию. Вот почему он всегда остерегался желания представить «общую теорию» власти, которую ему старались приписать, например, в связи с «паноптизмом». Об отношениях истина—власть, знание—власть он говорил в 1977 г.: «...этот слой объектов или, скорее, отношений трудно ухватить; и так как для их изучения нет общей теории, то я являюсь, если угодно, слепым эмпириком, то есть нахожусь в худшей из ситуаций. У меня нет общей теории, и нет и надежного метода.» (DE, III, 216 : 404). Еще он говорил в 1977 г., что вопрос о власти «начал возникать в своей обнаженности» в 1955 г. на основе «двух гигантских теней», «двух черных наследий», какими были для него и для его поколения фашизм и сталинизм. «Отсутствие анализа фашизма является одним из важных политических фактов последних тридцати лет» (DE, III, 218 : 422). Если вопросом XIX века была бедность — говорил он, — то фашизм и сталинизм выдвинули вопрос о власти: «слишком мало богатств», с одной стороны, «слишком много власти» — с другой (см.: DE, III, 232 : 536). Начиная с тридцатых годов в троцкистских кружках анализировали феномен бюрократии, бюрократизации партии. Вопрос о власти был заново поднят в пятидесятые годы в связи с «черным наследием» фашизма и сталинизма; именно в этот момент образовалась трещина между прежней теорией богатства, рожденной «скандалом» нищеты, и проблематикой власти. Это годы доклада Хрущева, начала «десталинизации», венгерского восстания, войны в Алжире.

Властные отношения, факты господства, практика порабощения присущи не только «тоталитарным режимам», они пронизывают и общества, называемые «демократическими», которые Фуко изучал в своих исторических исследованиях. Каково отношение между тоталитарным и демократическим обществами? В чем их политическая рациональность, сходны ли они или отличаются друг от друга по использованию технологий и механизмов власти? В связи с этим Фуко говорил в 1978 г.: «Западные общества, вообще индустриальные и развитые общества конца этого века пронизаны глухим беспокойством или даже совершенно открытыми движениями протеста, которые ставят под вопрос род перепроизводства власти, продемонстрированный в обнаженных и чудовищных формах

сталинизмом и фашизмом.» (DE, III, 232 : 536). Немного раньше на той же лекции он сказал: «Конечно, фашизм и сталинизм, оба соответствовали определенной и очень специфической обстановке. Конечно, они имели последствия в масштабах, до того неизвестных и относительно которых можно, если не обоснованно предполагать, то надеяться, что их не узнают снова. Следовательно, это единичные феномены, но невозможно отрицать, что во многих пунктах фашизм и сталинизм только развили те механизмы, которые уже существовали в социальных и политических системах Запада. В конечном счете организация больших партий, развитие полицейских структур, существование техники репрессий в виде трудового лагеря, все это в самом деле определенное наследие западных либеральных обществ, которое сталинизм и фашизм только подобрали» (DE, III, 232 : 535—536).

Рано или поздно следовало бы спросить себя о причинах очень странной связи между нормальным и паталогическим, даже чудовищным, которая существовала между «либеральными обществами» и тоталитарными государствами. Еще в 1982 г. Фуко писал по поводу этих двух «болезней» власти, этих двух типов «горячки», какими были фашизм и сталинизм: «Одной из многочисленных причин того, почему они так нас озадачивают, является их совершенная, вопреки их исторической единственности, неоригинальность. Фашизм и сталинизм использовали и расширили механизмы, уже присутствующие в большинстве других обществ. Но дело не только в этом, несмотря на их внутреннее безумие, они в большой мере использовали идеи и методы нашей политической рациональности.» (DE, IV, 306 : 224). Значит, перенос технологий и их продолжение вплоть до болезни, безумия, почти чудовищности. Существует также «связь» между фашизмом, сталинизмом и биополитикой, ориентированной на исключение и истребление лиц, политически опасных и нечистых в этническом отношении, — биополитикой, утвердившейся с XVIII века с помощью медицинской полиции и перенятой в XIX веке социальным дарвинизмом, евгеникой, легальными медицинскими теориями наследственности, вырождения и расы; по этому поводу следует прочесть рассуждения Фуко на последней лекции от 17 марта курса «Нужно защищать общество». В конце концов,

одной из существенных целей этого курса, конечно, является анализ употребления фашизмом (но и сталинизмом) расовой биополитики в «управлении живыми» путем использования приципа чистоты крови и идеологической ортодоксии.

Фуко поддерживал своего рода «непрерывный диалог» с Марксом по поводу отношений между властью и политической экономией. Маркс действительно рассматривал вопросы о власти и о формах дисциплины, можно в этой связи сослаться хотя бы на анализы, содержащиеся в первой книге «Капитала» (относительно «рабочего дня», «разделения труда и мануфактуры», «машин и большой индустрии») и во второй книге (относительно «процесса обращения капитала» см.: DE, IV, 297 [a.1976] : 182—201, особенно 186 и след.); Фуко со своей стороны также интересовался характером влияния экономических процессов на организацию дисциплинарных пространств. Но Маркс считал, что отношения господства на фабриках установились единственно вследствие «антагонистического» отношения между капиталом и трудом. У Фуко, наоборот, такие отношения сделались возможны только в результате порабощения, дрессировок, надзора, которые предварительно были введены и утверждены с помощью дисциплины. По этому поводу он говорил: «...когда в условиях разделения труда появилась потребность в людях, способных сделать то или другое, когда существовал также страх, что народные движения сопротивления, бойкота, восстания смогут перевернуть едва нарождающийся капиталистический порядок, тогда нужно было установить строгое и непосредственное наблюдение за всеми индивидами, и я думаю, что с этим связана медикализация, о которой я говорил» (DE, III, 212 : 374). С этой точки зрения не «капиталистическая» буржуазия XIX века изобрела и навязала отношения господства; она их унаследовала от дисциплинарных механизмов XVII и XVIII веков и только использовала их или изменила, усиливая одни из них и смягчая другие: «Не существует единственного центра, из которого вышли бы, как в результате эманации, все отношения власти, а существует переплетение властных отношений, которое в целом делает возможным господство одного класса над другим, одной группы над другой» (DE, III, 212 : 379). «В основном, — пишет еще Фуко в 1978 г., — верно, что вопрос, который я задал, я задал

марксизму, как и другим концепциям истории и политики, и он состоял в следующем: не представляют ли властные отношения, например в сопоставлении с производственными отношениями, особый уровень реальности, одновременно сложный и относительно, но только относительно, независимый?» (DE, III, 238 : 629). И можно было бы тогда спросить себя, не представлял ли со своей стороны «капитализм», способ производства, в который должны вписаться властные отношения, не представлял ли он собой большой механизм кодирования и интенсификации этих «относительно автономных» отношений с помощью распределения задач, иерархий, разделения труда, которые устанавливаются в мануфактурах, мастерских и на заводах, с помощью отношений, бесспорно «экономических», включающих конфликт между рабочей силой и капиталом, но также и прежде всего с помощью дисциплинарных регламентаций, порабощения тела, санитарной регуляции, которые адаптировали, интенсифицировали, приучали эту силу к экономическому принуждению на производстве. В таком случае не труд породил бы дисциплину, а скорее дисциплина и норма сделали бы возможным труд таким, каким он предстает в экономике, называемой капиталистической.

То же самое можно было бы сказать о «сексуальности» (диалог на этот раз, но в более живой форме, ведется с медициной XIX века, и особенно с Фрейдом). Фуко никогда не отрицал «центрального» положения сексуальности в формах медицинского дискурса и практики с начала XVIII века. Но он отвергал высказанную Фрейдом и теоретически развитую затем «фрейдо-марксизмом» идею о том, что сексуальность только отрицалась, отодвигалась, подавлялась; согласно Фуко, она, напротив, была областью умножения в высшей степени позитивных дискурсов, с помощью которых осуществлялась в действительности контролирующая и нормализующая власть в отношении индивидов, их поведения и населения, то есть биовласть. «Сексуальность» оказывалась в таком случае не средоточием тайн, которые следовало бы открыть и расшифровать, чтобы раскрылась истина индивидов; она была бы скорее областью, в которой начиная с кампании против детского онанизма, проводившейся в Англии в первой половине XVIII века, реали-

зовалась власть над жизнью в двух формах: «анатомо-политической» власти над «человеческим телом» и «биополитической» власти, ориентированной на «население». В области сексуальности соединялись бы таким образом, опираясь друг на друга и друг друга взаимно усиливая, две власти, власть дисциплины тела и власть, управляющая населением. «Дисциплина тела и регуляция населения составляют два полюса, — писал он в "Воле к знанию",* — между которыми происходит организация власти над жизнью. Формирование в течение классической эпохи двуликой громадной технологии — анатомической и биологической, индивидуальной и видовой, — обращенной на физические параметры тела и на процессы жизни, характеризует власть, важнейшая функция которой состоит теперь не в том, чтобы убивать, а в том, чтобы насквозь пронизать жизнь» (с. 183). Отсюда важность секса, но не как хранилища тайн и ключа к истине об индивидах, а скорее как мишени, как «политической цели». Действительно, «с одной стороны, секс зависит от дисциплины тела: от дрессировки, интенсификации и распределения сил, от регулирования и экономии энергий. С другой стороны, он принадлежит к области регуляции населения по причине связанных с ним глобальных эффектов [...] Его используют как матрицу дисциплины и как принцип регуляции» (DE, III, 238 : 191—192).

Итак, специфическая особенность и важность труда и сексуальности, интенсивность их использования дискурсом политической экономии, с одной стороны, и медицинским знанием — с другой, объясняются тем, что в них и через них соединяются, усиливая таким путем свои позиции и проявления, как формы дисциплинарной власти, так и техника нормализации биовласти. Эти две власти не составляют, как иногда говорят, две «теории» Фуко, из которых одна исключала бы другую, была бы от нее независимой или следовала бы за ней, они, скорее, представляют два взаимосвязанных способа функционирования знания—власти, правда, с особыми центрами, пунктами применения, конечными целями и ставками: дрессировка тел, с одной стороны, регуляция населения — с дру-

* На русском языке «Воля к знанию» опубликована в книге «Воля к истине». М., 1996.

гой. На эту тему можно прочесть рассуждения Фуко о городе, норме и сексуальности в лекции от 17 марта курса «Нужно защищать общество» и заключительную главу «Право смерти и власть над жизнью» из «Воли к знанию».

Там, где существует власть, всегда имеется сопротивление, одно связано с другим: «...с тех пор как существует власть, существует и возможность сопротивления. Власть никогда нас не поймает: всегда можно изменить, при определенных условиях и стратегии, ее воздействие.» (DE, III, 200 : 267). Значит, область развертывания власти не представляет собой «мрачного и стабильного» господства: «Повсюду идет борьба [...] и каждую минуту можно наблюдать переход от сопротивления к господству, от господства к сопротивлению, и именно это постоянное движение я и хотел бы попытаться выявить» (DE, III, 216 : 407). Для власти, в ее расчетах и маневрах, характерна, следовательно, не безграничная сила, а род определенной бездейственности: «Власть не всемогуща и не всезнающа, наоборот», — говорил Фуко в 1978 г. в связи с анализами, проведенными в работе «Воля к знанию». «Если власть проводит исследования, анализирует модели знания, то это происходит именно потому, — добавляет он, — что власть не была всевидящей, а была слепой, находилась в тупике. Если можно было наблюдать развитие стольких форм властных отношений, стольких систем контроля, стольких форм надзора, то это объясняется тем, что власть всегда была бессильной» (DE, III, 238 : 629). «Если история — это хитрость разума, то является ли власть хитростью истории в том, что всегда выигрывает?» — спрашивает он еще в «Воле к знанию». Напротив: «Так думать, значило бы не понимать строго реляционистского характера властных отношений. Они могут существовать только в связи с многочисленными очагами сопротивления: последние играют роль противника власти, ее мишени, оправдания, выступа, за который можно ухватиться. Эти пункты сопротивления в системе власти находятся повсюду» (с. 126).

Но как проявляется такое сопротивление, какие формы оно принимает, как можно их анализировать? В этой связи нужно прежде всего подчеркнуть следующее: если власть, как Фуко об этом говорит в двух первых лекциях курса, не проявляется и не практикуется в формах права и закона, если она не есть что-то, что можно взять и обменять, если она не создается,

отталкиваясь от интереса, воли, намерения, если она не имеет своего источника в государстве, если она не выводится и не мыслится, исходя из юридическо-политической категории суверенитета (даже если право, закон и суверенитет могут представлять род кодирования, даже усиления власти — см.: DE, III, 218 : 424; 239 : 654), то тогда сопротивление также не может принадлежать к области права, какого-нибудь права, и совершенно выходит за юридические рамки того, что начиная с XVII века называли «правом сопротивления»: оно не базируется на суверенности предполагаемого субъекта. Власть и сопротивление с их меняющимися, подвижными, многочисленными формами тактики сталкиваются друг с другом в области силовых отношений, логика которых состоит не столько в регулировании и кодировании, свойственных области права и суверенитета, сколько в стратегии и воинственности, присущих борьбе. Отношение между властью и сопротивлением принадлежит не столько к юридической области суверенитета, сколько к стратегической области борьбы, которую и надо бы анализировать.

Здесь раскрывается основная направленность курса, связанная с тем временем, когда Фуко близко интересовался военными институтами и армией (см. по этому поводу: DE, III, 174 : 89; 200 : 268; 229 : 515; 239 : 648, и позже, в 1981 г., IV, 297 : 182—201). Тогда поставленный им себе вопрос состоял в следующем: можно ли анализировать означенную борьбу, столкновения, стратегии в бинарной и массивной форме господства (господствующие—подчиненные) и поэтому в конечном счете в форме войны? «Нужно ли в таком случае, — писал он в “Воле к знанию”, -- перевернуть формулировку и сказать, что политика — это война, проводимая другими средствами? Или, если хочется постоянно поддерживать различие между войной и политикой, нужно бы скорее настаивать на том, что множественность силовых отношений может быть представлена — частично, а вовсе не полностью — либо в форме ‘войны’, либо в форме ‘политики’; тогда были бы две различные стратегии (но готовые перерасти одна в другую), могущие интегрировать эти неуравновешенные, гетерогенные, нестабильные, напряженные силовые отношения» (с. 123). Упрекая марксистов по поводу понятия «классовой борьбы» в том, что они скорее интересуются проблемой классовой структуры общества, а не

проблемами борьбы (см.: DE, III, 200 : 268; 206 : 310—311), он утверждал: «Я хотел бы дискутировать с Марксом не по проблеме социологии классов, а относительно стратегического метода борьбы. Тут заключен мой интерес к Марксу и, исходя из этого, я хотел бы выдвигать проблемы» (DE, III, 235 : 606).

Об отношениях между войной и господством Фуко уже говорил на лекции от 10 января курса 1973 г., посвященного «карающему обществу». Он там выступает против теории Гоббса о «войне всех против всех», анализирует отношения между гражданской войной и властью и описывает меры по защите общества от «социального врага», каким стал с XVIII века преступник. В 1967 и 1968 гг. Фуко, как вспоминает Даниэль Дефер в своей «Хронологии» (DE, I : 30—32), читал Троцкого, Гевару, Розу Люксембург и Клаузевица. По поводу текстов Черных Пантер, прочитанных им в то же время, он говорил в письме: «В них осуществляется стратегический анализ, свободный от марксистской теории общества» (DE, I : 33). В одном из писем от декабря 1972 г. он выражает намерение предпринять анализ властных отношений, исходя из «самой обесславленной из войн: не войны Гоббса, не войны Клаузевица, не классовой борьбы, а войны гражданской» (DE, I : 42). Наконец, в августе 1974 г. в другом письме он писал еще: «Мои маргиналы невероятно обыкновенны и однообразны. Я хочу заняться другими вещами: политической экономией, стратегией, политикой» (DE, I : 45).

Что касается пригодности стратегической модели для анализа отношений власти, то Фуко в этом отношении сильно колебался: «Не являются ли отношения господства более сложными, более запутанными, чем война?» — задавался он вопросом в беседе, состоявшейся в декабре 1977 г. (DE, III, 215 : 391). И в вопросах, посланных журналу «Геродот» (июль—сентябрь 1976 г.), он писал: «Понятие стратегии важно, когда хотят провести анализ знания и его отношений с властью. Означает ли оно с необходимостью, что когда ставят под вопрос знание, ведут *войну*? — Позволяет ли стратегия анализировать властные отношения как технику *господства*? — Или нужно сказать, что господство есть только непрерывная форма войны?» (DE, III, 178 : 94). Немного позже он писал: «Являются ли силовые отношения на уровне политики отношениями войны?

Лично я в данный момент не чувствую себя готовым ответить определенно да или нет» (DE, III, 195 : 206).

Этим вопросам посвящен в основном курс, который мы публикуем. Фуко анализирует здесь темы войны и господства в историко-политическом дискурсе борьбы рас у английских *левеллеров* и *диггеров* и у Буленвилье: фактически их повествования о господстве нормандцев над саксами после битвы при Гастингсе и господстве германских франков над галло-римлянами после их занятия Галлии основаны на истории завоевания, которую они противопоставляют «фикциям» естественного права и универсализму закона. Здесь, а не у Макиавелли или Гоббса, рождается, по Фуко, радикальная форма истории, которая говорит о войне, завоевании, господстве и функционирует как оружие в борьбе против королевской власти и знати в Англии, против королевской власти и третьего сословия во Франции. Фуко здесь, прямо или косвенно перенимая тезис, сформулированный в 1936 г., хотя и в ином теоретико-политическом контексте и с иными целями, Фридрихом Майнеке в его работе «Die Entstehung des Historismus», называет «историцизмом» историко-политический дискурс завоевания: дискурс борьбы, дискурс сражений, дискурс рас. «Диалектика» в XIX веке закодировала и, значит, «нейтрализовала» эту борьбу, что произошло после того, как Огюстен Тьерри использовал идею борьбы в своих работах о нормандском завоевании и о формировании третьего сословия, и до того, как нацизм использовал расовый вопрос в известной политике дискриминации и истребления. И если правда, что историко-политический дискурс вынуждает историка стать на ту или другую сторону, удаляясь от «средней» позиции — позиции «арбитра, судьи, универсального свидетеля» (DE, III, 169 : 29), какая была характерна для философов от Солона до Канта, — если правда также, что подобные дискурсы рождаются в ситуации войны, а не мира, тем не менее остается верным, что бинарное отношение, появившееся в этих дискурсах как отражение фактов господства, отношение, выражающее смысл войны, совершенно не может дать отчет ни о множественности реальной борьбы, пробужденной дисциплинирующей властью, ни, еще менее того, о последствиях управления со стороны формами поведения биовласти.

Однако именно на анализ последнего типа власти были направлены исследования Фуко после 1976 г., и это, может быть, одна из причин, если не отказа от проблематики войны, которая в лекциях курса «Нужно защищать общество» еще находится в центре, то, по крайней мере, сомнения относительно нее. В «полемичной» по сути действительности «*мы все боремся против всех*», — говорил он в 1977 г. (DE, III, 206 : 311). Но это, по-видимости гоббсовское, утверждение не должно породить иллюзии. Речь идет не о большом бинарном столкновении, то есть интенсивной и резкой форме борьбы, какую она приобретает в некоторые, но только некоторые, моменты истории: столкновении, закодированном в форме «революции». Речь идет скорее о совокупности в области власти форм точечной и рассредоточенной борьбы, о множественности локальных, непредвидимых, гетерогенных сопротивлений, которые не могут быть ухвачены в однозначной форме господства и в бинарной логике войны. В 1982 г., к концу жизни, в тексте, который можно было бы считать его философским «завещанием», он попытался, как часто это делал — это даже может считаться одной из «особенностей» его мысли, — переосмыслить и обрисовать перспективу всех этих вопросов в свете своих последних работ. Фуко здесь писал, что он не ставил перед собой цель «пронализировать феномены власти или заложить основы такого анализа», скорее она заключалась в том, чтобы представить «историю различных способов субъективизации человеческого существа в нашей культуре». Практика власти, с этой точки зрения направлена на то, чтобы «управлять формами поведения» наподобие христианского пастора и «правительственной власти». «Власть, —писал он, — по сути принадлежит не столько к уровню столкновения двух противников или договора одного с другим, сколько к уровню ‘управления’» (DE, IV, 306 : 237). И он делал (но текст нужно читать целиком) такое заключение насчет отношений между властью и различными формами борьбы: «В целом всякая стратегия столкновения стремится стать властным отношением; а всякое властное отношение, и тогда, когда оно следует собственной линии развития, и тогда, когда оно сталкивается с фронтальным сопротивлением, стремится стать выигравшей стратегией» (DE, IV, 306 : 242).

Фуко ставил вопрос о власти со времени «Истории безумия»*, о той власти, которая действует и проявляется через административную и государственную технику «большого заточения» опасных индивидов (бродяг, преступников, душевнобольных). Вопрос снова будет рассмотрен в начале семидесятых годов в курсах в Коллеж де Франс о производстве и формах истинного правления в античной Греции, о карательных механизмах в Европе начиная со средневековья, о механизмах нормализации в дисциплинарном обществе. Но на заднем плане всего этого находится политическо-миллитаристский контекст, «исторические обстоятельства», как их называл Гангийем, связанные с международными конфликтами и социальной борьбой во Франции после 1968 г.

Мы не можем здесь излагать историю этих обстоятельств. Напомним кратко для памяти, что это были годы войны во Вьетнаме, «черного сентября» (1970 г.) в Иордании, студенческих волнений (1971 г.) в Португалии, направленных против режима Салазара за три года до «революции гвоздик», террористического наступления ИРА (1972 г.) в Ирландии, усиления арабо-израильского конфликта вплоть до войны на Кипре, нормализации обстановки в Чехословакии, режима полковников в Греции, падения режима Альенде в Чили, фашистских покушений в Италии, забастовки шахтеров в Англии, свирепой агонии франкизма в Испании, взятия власти красными кхмерами в Камбодже, гражданских войн в Ливане, Перу, в Аргентине, Бразилии и во многих африканских государствах.

Интерес Фуко к власти имеет свой источник здесь — в том неусыпном внимании и интересе, с которыми он следил за тем, что Ницше называл «die grosse Politik»: распространение фашизма почти во всем мире, гражданские войны, установление военных диктатур, агрессивные геополитические цели великих держав (особенно Соединенных Штатов во Вьетнаме); интерес Фуко коренился также и прежде всего в его «политической практике» семидесятых годов, которая позволяла ему взять из жизни, изучить непосредственно на месте функционирование тюремной системы, наблюдать судьбу заключенных, материальные условия их жизни, разоблачать практику тюремной администрации поддерживать конфликты и возмущения везде, где бы они не происходили.

---

* *Фуко М.* История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997.

Что касается расизма, то эта тема появилась и начала разрабатываться на семинарах и курсах по психиатрии, наказаниям, по анормальному поведению на основе исследования всех знаний и практик, в связи с которыми в XIX веке на основе медицинской теории «вырождения», медико-юридической теории евгеники, социального дарвинизма и уголовной теории «социальной защиты» разрабатывается техника дискриминации, изоляции и нормализации «опасных» индивидов: это истоки этнических чисток и трудовых лагерей (которые Ж. Левейе, французский криминалист конца XIX века, во время Международного пенитенциарного конгресса в Санкт-Петербурге посоветовал своим русским коллегам построить в Сибири, как напоминает об этом сам Фуко; см.: DE, III, 206 : 325). Новый расизм родился, когда «теория о наследственности», которой Фуко думал посвятить свои будущие исследования, как свидетельствует его речь при выставлении его кандидатуры в Коллеж де Франс (см.: DE, I, 71 : 842—846), соединяется с психиатрической теорией вырождения. Обращаясь к своей аудитории, он в конце последней лекции (19 марта 1975 г.) курса «Ненормальные» 1974—1975 гг. говорил: «О том, что анализ психиатрии XIX века показывает, почему психиатрия с этим ее понятием вырождения, с этим ее анализом наследственности смогла фактически сомкнуться с расизмом, а точнее представить почву расизму».* И добавлял, что нацизму оставалось только «направлять» этот новый расизм, выступавший как средство внутренней защиты общества от анормальных, в сторону этнического расизма, который в XIX веке распространился довольно широко.

Отправляясь от войны, войн, борьбы и восстаний тех лет, когда, как об этом говорили, «окружающий фон был красным», Фуко в курсе «Нужно зищищать общество» смог осуществить слияние, соединение, сочленение политической проблемы власти и исторического вопроса о расах: обрисовать генеалогию расизма, построенную на основе исторических дискурсов о борьбе рас в XVII и XVIII веках и их трансформаций в XIX и в XX веках. В связи с войной, которая пронизывает область власти, приводит в действие силы, разводит друзей и врагов, порождает господство и восстания, можно было бы упомянуть о «детском воспоминании» Фуко, как он сам о нем рассказывал в беседе 1983 г.,

---

* *Фуко М.* Ненормальные. СПб., 2004. С. 376.

воспоминании об «ужасе», который охватил его в 1934 г. во время убийства канцлера Дольфуса: «Угроза войны была фоном, рамками нашего существования. Затем война пришла. Не столько сцены семейной жизни, сколько события мирового плана составляют субстанцию нашей памяти. Я говорю "нашей памяти", потому что почти уверен, что большинство молодых французов и француженок того времени имели тот же опыт. Постоянная угроза висела над нашей частной жизнью. Это и является, быть может, причиной, по которой я зачарован историей и отношениями между личным опытом и событиями, в которые мы вписаны. Здесь, я думаю, центр моих теоретических устремлений» (DE, IV, 336 : 528).

Если поставить вопрос об «интеллектуальной конъюнктуре» предшествующих данному курсу лет, отмеченных кризисом марксизма и подъемом неолиберального дискурса, то трудно, если не невозможно, узнать, с какими работами, скрыто или явно, Фуко соотносился при разработке курса «Нужно защищать общество». С 1970 г. он перевел и опубликовал работы М. Вебера, Х. Арендт, Э. Кассирера, М. Хоркхаймера и Т.В. Адорно, А. Солженицына. С явным почтением говорится в курсе о книге «Анти-Эдип» Ж. Делёза и Ф. Гваттари. Фуко, кажется, не делал записей прочитанного и не любил спора одного автора с другим: полемике он предпочитал проблематизацию (см.: DE, IV, 342 : 591—598). Мы можем также только предположить, каким был его способ чтения книг, использования документации и источников (нужен большой труд, чтобы понять «фабрику» производства его книг). Мы не знаем достаточно хорошо и того, как он готовил свои курсы. Тот, который мы опубликовали и относительно которого могли сверяться с рукописью благодаря любезности и помощи Даниэля Дефера, почти целиком изложен письменно. Тем не менее он не соответствует тому, что произнесено на самом деле: именно «блоки мысли» служили Фуко знаком, зарубкой, руководящей нитью, и, отталкиваясь от них, он часто импровизировал, развивал и углублял тот или другой пункт, предвосхищая такой-то курс или возвращаясь к другому. Возникало также впечатление, что он действовал не в соответствии с заранее установленным планом, а скорее исходил из проблемы, проблем, и его курс разворачивался как бы «самостоятельно», через своего рода внутреннее рождение, с отклонениями, забеганиями вперед, с обрывами (например,

была обещана лекция о «репрессии», но ее не было, зато эта тема появится в «Воле к знанию»). Относительно своего способа работы Фуко писал в 1977 г.: «Я не философ и не писатель. Я не создаю произведение, я занимаюсь историко-политическими исследованиями; я часто бывал увлечен проблемами, которые вставали передо мной при написании одной книги и которые мне не удавалось в то время разрешить, тогда я пытался их решить в следующей книге. Внешние обстоятельства в определенный момент также заставляют заниматься проблемой, представляющейся политически необходимой, актуальной, и я по этой причине ею интересуюсь.» (DE, III, 212 : 376—377). Что касается «метода» и в связи с «Археологией знания», он говорил: «У меня нет метода, который бы я одинаково применял в различных областях. Напротив, я сказал бы, что есть определенная область объектов, которую я пытаюсь выделить, используя инструменты, которые нахожу или которые сам придумываю в тот самый момент, когда произвожу исследование, но я не выдвигаю вперед проблему метода.» (DE, III, 216 : 404).

С дистанции в двадцать лет публикуемый курс нисколько не утратил своей актуальности и необходимости: остаются значимыми отрицание юридических теорий и политических доктрин, не способных объяснить властных и силовых отношений при столкновении знаний и в реальной борьбе; новое прочтение эпохи Просвещения, в которой надлежало бы скорее видеть дисквалификацию «второстепенных» знаний в процессе централизации, нормализации, установления порядка в господствующих знаниях, чем прогресс Разума; критика идеи, согласно которой история была бы изобретением и наследием восходящей буржуазии в XVIII веке; обоснованное прославление «историцизма», той истории, которая говорит о завоеваниях и господстве, одним словом «истории—борьбы», основанной на борьбе рас в противоположность естественному праву; наконец, в связи с трансформацией этой борьбы в XIX веке выдвижение проблемы биополитической регуляции поведения, проблемы, при решении которой требуется память о прошлом и представление о близком будущем это, по сути, проблема рождения и развития расизма и фашизма. Читатели Фуко, привыкшие к таким переменам декораций, к модификациям перспектив по отношению к господствующим идеям и установленным знаниям, не будут удивлены. Что касается специалистов,

можно только их просить не забывать, что этот текст не книга, а курс лекций, и что его и воспринимать нужно в качестве такового: не как работу эрудита, а скорее как позицию по «неотложной» проблеме расизма, открытие стартовой дорожки, эскиз генеалогического пути, сделанный с целью попытки переосмысления проблемы. Как следует его читать? Можно было бы в этой связи в заключение напомнить, что сказал Фуко в 1977 г.: «Философский вопрос ориентируется на настоящее, каким являемся мы сами. Вот почему философия сегодня является целиком политической и целиком исторической. Она есть политика, имманентная истории, и история, необходимая для политики.» (DE, III, 200 : 266).

*

Относительно работ, которые Фуко мог использовать при подготовке этого курса, у нас есть только гипотезы. Источники упомянуты в примечаниях, но практически невозможно узнать, читал ли Фуко их в оригинале или использовал для знакомства с ними другие издания. «Научная» библиография могла бы быть установлена только исходя из примечаний, которые Фуко готовил тщательно, выписывая цитату на лист с библиографическими указаниями, включая издание, страницу; но он их затем классифицировал тематически, а не как справочный аппарат к определенному тóму или курсу. Работу по восстановлению «библиотеки» Фуко остается еще проделать, во всяком случае она выходит за рамки данного комментария.

Для начала и для ориентации читателей и будущих исследователей мы ограничиваемся здесь указанием на несколько работ, которые относятся к поднятым в данном курсе вопросам и существовали в период, когда Фуко его готовил:

«Троянский миф» и история рас:

Simar Th. Étude critique sur la formation de la doctrine des races. Bruxelles: Lamertin, 1922; *Barzun J.* The French Race. New York: Columbia University Press, 1932; *Bloch M.* Sur les grandes invasions. Quelques positions de problèmes. Revue de synthèse, 1940—1945; *Huppert G.* The Idea of Perfect History: Historical Erudition and Historical Philosophy in Renaissance France. Urbana:

University of Illinois Press, 1970 (французский перевод: L'Idée de l'histoire parfaite. Paris: Flammarion, 1973); *Poliakov L.* Histoire de l'antisémitisme. III: De Voltaire à Wagner. Paris: Calmann-Lévy, 1968, et Le Mythe aryen. Paris: Calmann-Lévy, 1971; *Dubois C.-G.* Celtes et Gaulois au XVI[e] siècle. Le développement d'un mythe littéraire. Paris: Vrin, 1972; *Devyver A.* Le Sang épuré. Les préjugés de race chez les gentilshommes français dc l'Ancien Régime, 1560—1720. Bruxelles: Éditions de l'Université, 1973; *Jouanna A.* L'Idée de race en France au XVI[e] siècle et au début du XVII[e] siècle. Диссертация, защищенная в университете Париж IV в 1975 г. и опубликованная издательством Шампьон в 1976 г.

Подчеркнем также, что проблема историографии рас была после Майнеке поставлена Г. Лукачем в VII главе работы: Die Zerstörung der Vernunft. Berlin: Aufbau Verlag, 1954 (французский перевод: La Destruction de la Raison. Paris: L'Arche, 1958—1959), и в работе: Der historische Roman. Berlin: Aufbau Verlag, 1956 (французский перевод: Le Roman historique. Paris: Payot, 1965).

Упомянем также в связи с вопросом о троянском мифе две старые немецкие работы: *Luthgen E.* Die Quellen und der historische Wert der fränkischen Trojasage. Bonn: R.Weber, 1876, и диссертацию: *Klippel M.* Die Darstellung des fränkischen Trojanersagen. Marburg: Beyer und Hans Knecht, 1936.

Левеллеры и диггеры:

Frank J. The Levellers. Cambridge Ma.: Harvard University Press, 1955; *Brailsford H.N.* The Levellers and the English Revolution (издано Ch.Hill). London: Cresset Press, 1961, и особенно *Hill Ch.* Puritanism and Revolution. London: Secker & Warburg, 1958; тот же. Intellectual Origins of the English Revolution. Oxford: Clarendon Press, 1965; тот же. The World Turned upside down. London: Temple Smith, 1972.

Римская имперская идея и «translatio imperii» («судьбы империи») от Средневековья к Ренессансу:

Yates F.A. Astraea. The Imperial Theme in the Sixteenth Century. London; Boston: Routledge and Kegan Paul, 1975 (французский перевод: Astraea, Paris: Boivin, 1989).

Буленвилье:

Simon R. Henry de Boulainvilliers, historien, politique, philosophe, astrologue. Paris: Boivin, 1942, и Un révolté du grand siècle, Henry de Boulainvilliers. Garches: Ed. du Nouvel Humanisme, 1948.

Спор между «романистами» и «германистами» по поводу французской монархии, историографии и «конституции» в XVIII веке:

Carcassonne E. Montesquieu et le problème de la constitution française au XVIII siècle. Paris: PUF, 1927 (Genève, Slatkine Reprints, 1970); *Althusser L.* Montesquieu. La politique et l'histoire. Paris: PUF, 1959.

Огюстен Тьерри и французская историография в эпоху Реставрации и Июльской монархии:

Moreau P. L'Histoire en France au XIX[e] siècle. Paris: Les Belles Lettres, 1935; *Carroll K.J.* Some Aspects of the Historical Thought of Augustin Thierry. Washington, D.C.: Catholic University of American Press, 1951; *Engel-Janosi F.* Four Studies in French Romantic Historical Writings. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1955; *Reizov B.* L'Historiographie romantique française (1815—1830). Éditions de Moscou, 1957; *Mellon S.* The Political Uses of History in the French Restoration. Stanford, Ca.: Stanford University Press, 1958; *Seliger M.* Augustin Thierry: Race-thinking during the Restoration // Journal of History of Ideas. Vol. XIX. 1958; *Smithson R.N.* Augustin Thierry: Social and Political Consciousness in the Evolution of Historical Method. Genève: Droz, 1972.

«Антисемитизм» французских левых в XIX веке:

Byrnes R.F. Antisemitism in Modern France. New York: H. Fertig, 1969 (1-е издание 1950 г.); Rabi [*Rabinovitch W.*]. Anatomie du judaïsme français. Paris: Éd. de Minuit, 1962; *Poliakov L.* Histoire de l'antisémitisme. III. Paris: Calmann-Lévy, 1968. Фуко, может быть, знал многочисленные работы Е. Зилбернера, собранные в томе: Sozialisten zur Judenfrage. Berlin: Colloquium Verlag, 1962, и работу: *Zosa Szajkowski.* Jews and the French Revolutions of 1789, 1830 and 1848. New York: Ktav Publ. House, 1970 (переиздано в 1972 г.).

Отметим, наконец, появление в издательстве Галлимар двух томов Р. Арона «Осмысление войны. Клаузевиц».

Алессандро Фонтана и Моро Бертани

Содержание

Генеалогия против истории (*Е.А. Самарская*) 5

Вместо предисловия 13

ЛЕКЦИИ 1975—1976 гг.

Лекция от 7 января 1976 г. 21

Что представляет собой данный курс? — Подчиненные знания. — Историческое знание о борьбе, генеалогии и научный дискурс. — Власть как ставка генеалогий. — Юридическая и экономическая концепции власти. — Репрессивная и военная власть. — Переформулирование афоризма Клаузевица.

Лекция от 14 января 1976 г. 42

Война и власть. — Философия и границы власти. — Право и королевская власть. — Закон, господство и подчинение. — Аналитика власти: вопросы метода. — Теория суверенитета. — Дисциплинарная власть. — Правило и норма.

Лекция от 21 января 1976 г. 60

Теория суверенитета и механизмы господства. — Война как принцип анализа властных отношений. — Бинарная структура общества. — Историко-политический дискурс, дискурс вечной войны. — Диалектика и ее кодификации. — Дискурс борьбы рас и его превращения.

Лекция от 28 января 1976 г. 81

Исторический дискурс и его сторонники. — Контристория борьбы рас. — Римская история и история библейская. — Революционный дискурс. — Зарождение и трансфор-

мации расизма. — Чистота расы и государственный расизм: нацистская и советская трансформации.

Лекция от 4 февраля 1976 г. 101

Вопрос об антисемитизме. — Война и суверенитет по Гоббсу. — Дискурс о завоевании у роялистов, парламентариев и левеллеров в Англии. — Бинарная схема и политический историцизм. — Что хотел исключить Гоббс.

Лекция от 11 февраля 1976 г. 130

Рассказ о началах. — Троянский миф. — Наследство Франции. — «Франко-Галлия». — Нашествие, история и государственное право. — Национальный дуализм. — Знание государя. — «Государство Франция» Буленвилье. — Суд, правление и знание знати. — Новый субъект истории. — История и конституция.

Лекция от 18 февраля 1976 г. 156

Нация и нации. — Римское завоевание. — Величие и падение римлян. — О свободе германцев по Буленвилье. — Суассонская ваза. — Истоки феодального строя. — Церковь, право, государственный язык. — Три вывода Буленвилье о войне: закон истории и закон природы; военные институты; подсчет сил. — Замечания о войне.

Лекция от 25 февраля 1976 г. 182

Буленвилье и установление историко-политического континуума. — Историцизм. — Трагедия и государственное право. — Центральная администрация истории. — Проблематика Просвещения и генеалогия знаний. — Четыре процедуры дисциплинирования знания и их последствия. — Философия и наука. — Установление дисциплины знаний.

Лекция от 3 марта 1976 г. 203

Тактическое обобщение исторического знания. — Конституция, Революция и циклическая история. — Дикарь и варвар. — Тройная фильтрация варвара: тактические формы исторического дискурса. — Вопросы метода: эпистемическая область и буржуазный антиисторицизм. — Возрождение исторического дискурса во время Революции. — Феодализм и готический роман.

Лекция от 10 марта 1976 г. 229

Политическая переработка идеи нации в период революции: Сийес. — Теоретические последствия и воздействие на исторический дискурс. — Два подхода к пониманию новой истории: господство и тотализация. — Монтлозье и Огюстен Тьерри. — Рождение диалектики.

Лекция от 17 марта 1976 г. 253

От суверенной власти к власти над жизнью. — Заставить жить и позволить умереть. — От человека-тела к человеку-роду: рождение биовласти. — Области применения биовласти. — Население. — О смерти, и особенно о смерти Франко. — Сочетание дисциплины и регуляции: рабочий город, сексуальность, норма. — Биовласть и расизм. — Функции расизма и области его применения. — Нацизм. — Социализм.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 279

КОНТЕКСТ КУРСА 289

Книга представляет собой публикацию лекций Мишеля Фуко, прочитанных им в Коллеж де Франс зимой 1976 года. Она знакомит читателя с интересными размышлениями Фуко о природе власти в обществе. В ней Фуко рассматривает соотношение власти и войны и анализирует формирование в Англии и Франции XVII–XVIII вв. особого типа историко-политического дискурса, согласно которому рождению государства предшествует реальная (а не идеальная, как у Гоббса) война. Фуко резко противопоставляет историко-политический и философско-юридический дискурсы. Он выражает сомнение в том, что характерное для войны бинарное отношение может служить матрицей власти, так как власть имеет многообразный характер, пронизывая все отношения в обществе.